



TARTU ÜLIKOOLI  
VENE KIRJANDUSE KATEEDER  
КАФЕДРА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И  
СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ  
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

II  
(Новая серия)

TARTU 1996

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ  
ФИЛОЛОГИИ

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

II

TARTU ÜLIKOOLI  
VENE KIRJANDUSE KATEEDER  
КАФЕДРА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И  
СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ  
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

II

(Новая серия)



TARTU ÜLIKOOLI  
KIRJASTUS

Редколлегия: И. Аврамец, Л. Киселева, Р. Лейбов,  
Ю. Пярли, П. Рейфман

Редактор тома: Л. Киселева

Набор: С. Долгорукова

© Статьи и публикации: авторы, 1996

© Составление: Кафедра русской литературы Тартуского  
университета, 1996

Tartu Ülikooli Kirjastus/Tartu University Press  
Tiigi 78, Tartu EE-2400, Eesti/Estonia  
Order no. 28. 1997

## ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Второй том Новой серии «Трудов по русской и славянской филологии. Литературоведение» выходит в преддверии пятидесятилетнего юбилея кафедры русской литературы Тартуского университета.

Начало преподавания русской литературы в Тартуском университете восходит к началу XIX века. Первыми профессорами русского языка и словесности были Григорий Глинка (1803—1810), Андрей Кайсаров (1811—1812), Александр Воейков (1814—1820); научные исследования русской литературы в Тарту были начаты профессорами Александром Котляревским (1868—1872) и Павлом Висковатовым (1874—1895).

Кафедра русской литературы как самостоятельная академическая структура возникла в Тартуском университете лишь в 1947 г., и в течение первых лет своего существования она имела в своем составе одного сотрудника — Вальмара Адамса (1947—1949), который являлся одновременно и заведующим кафедрой. Затем заведующим на короткое время стал Борис Васильевич Правдин (1949—1954), а в 1954 г. — Борис Федорович Егоров (1954—1960). Именно с этого момента начинается не просто новый период в жизни кафедры, — начинается *кафедра*.

В 1950-е годы кафедра сложилась как научный коллектив, ядро которого составили Б. Ф. Егоров, Ю. М. Лотман, З. Г. Минц, П. С. Рейфман, С. Г. Исаков, В. И. Беззубов. Тогда же выходом первого тома «Трудов по русской и славянской филологии» (1958) началась эпоха «тартуских изданий», завоевавших впоследствии мировую известность.

В 1960—1977 гг. кафедрой заведовал Юрий Михайлович Лотман, и это были годы расцвета ее деятельности:

эпоха Летних школ по вторичным моделирующим системам, многочисленных конференций и семинаров по истории русской литературы (назовем лишь знаменитые Блоковские конференции), издание трех регулярных серий Ученых записок (продолжение «Трудов по русской и славянской филологии», начало «Трудов по знаковым системам» и «Блоковских сборников»), сборников студенческих научных работ «Русская филология», а также материалов разнообразных конференций и семинаров, отдельных монографий, написанных членами кафедры. Именно в этот период кафедра стала *кафедрой Лотмана* и оставалась ею и после того, как Юрий Михайлович был вынужден покинуть пост заведующего: в годы заведования Валерия Ивановича Беззубова (1977–1980), Сергея Геннадиевича Исакова (1980–1992; в 1983–86 гг. его замещал Игорь Аполлонович Чернов) Ю. М. Лотман оставался на кафедре высшим научным и нравственным авторитетом, без его участия не принималось ни одно серьезное решение в жизни кафедры. Кафедра в своей основе (и по составу, и по направлениям деятельности) оставалась стабильной в течение почти трех десятилетий.

Свой пятидесятилетний юбилей кафедра встречает в изменившемся составе. В начале 1990-х гг. мы понесли тяжелые утраты: ушли из жизни Зара Григорьевна Минц (25.X.1990), Валерий Иванович Беззубов (9.III.1991), Юрий Михайлович Лотман (28.XI.1993). С другой стороны, в университете произошли большие и отрадные перемены, образовались новые кафедры. Из кафедры русской литературы выделилась кафедра семиотики и культурологии, на вновь возникшую кафедру славянской филологии ушел С. Г. Исаков. Однако кафедра стремится не сдавать позиций и продолжать путь, намеченный Ю. М. Лотманом.

За последние годы кафедра организовала три международные конференции: «"Свое" и "чужое" в литературе и культуре» (1993), «Русская культура XX века: метрополия и диаспора» (1994), «Культура русской диаспоры: саморефлексия и самоидентификация» (1996); ежегодно устраиваются конференции молодых филологов, с 1992 г. было выпущено семь сборников научных трудов. Члены кафедры участвовали в разнообразных научных форумах в Москве, Петербурге, Киле (Англия), Хельсинки, Стокгольме, Копенгагене, Бергамо (Италия), Варшаве, Вильнюсе, Резекне (Латвия), публиковали свои работы во многих изданиях за пределами Тарту. С участием кафедры в Моск-

ве издается «Лотмановский сборник», уже заслуживший признание в академических кругах.

Второй том новой серии «Трудов по русской и славянской филологии» отражает современный этап научной деятельности кафедры русской литературы, со всем разнообразием исследовательских интересов «кафедралов», т.е. членов кафедры и причастных к ней сотрудников Тартуского университета. В нем сочетается благодарная память о прошлом и взгляд в будущее.

Как писал когда-то Ю. М. Лотман о тартуских изданиях: «И если кончина или сложные повороты истории нашего времени, к нашему горю, уносили из томов некоторые имена, то одновременно ряды исследователей неизменно пополнялись молодыми авторами»\*

---

\* Лотман Ю. М. Заметки о Тартуских семиотических изданиях // Труды по русской литературе и семиотике кафедры русской литературы Тартуского университета: 1958–1990. Указатели содержания. Тарту, 1991. С. 90.

## СОДЕРЖАНИЕ

### *Статьи*

<b>Ю. Лотман.</b> О «реализме» Гоголя .....	11
М. Лотман. К основаниям моделирующей поэтики.	36
Е. Погосян. «Да не молчаливы будем... Радость не терпит в нас молчания» (К семантике триумфа в петровскую эпоху) .....	51
Р. Лейбов. 1812: две метафоры .....	68
Л. Вольперт. Пушкин и книга Жака Ансело «Шесть месяцев в России» .....	105
П. Рейфман. Две программы пушкинского «Современника» .....	130
В. Беспрозванный, Е. Пермяков. Из комментариев к первому тому «Мертвых душ» .....	156
Г. Пономарева. Белинский в критическом наследии Анненского .....	178
Л. Пильд. Тургенев в художественной прозе «Аполлона» .....	191
А. Данилевский. Н. Г. Чернышевский в «Приглашении на казнь» В. В. Набокова (об одном из подтекстов романа) .....	209

### *Публикации*

«О Т. П. Милютиной, ее воспоминаниях...» .....	226
Т. М и л ю т и н а . 1920-е годы в Эстонии — моими глазами .....	229
Л. К и с е л е в а . Письма А. С. Шишкова к жене (1797—1798 гг.). Часть 2 .....	258
Петр Александрович Руднев .....	298

## О «РЕАЛИЗМЕ» ГОГОЛЯ

Ю. ЛОТМАН

Гоголь был лгун. Вершиной романтического искусства считалось стремление открыть перед читателем душу и сказать «правду». Вершиной гоголевского искусства было скрыть себя, выдумать вместо себя другого человека и от его лица разыгрывать романтический водевиль ложной искренности. Принцип этот определял не только творческие установки, но и бытовое поведение Гоголя. Достаточно просмотреть его письма, чтобы убедиться, что он систематически мистифицирует своих корреспондентов: то, находясь в России, пишет как бы из-за границы, то выдумывает несуществующие детали, превращающиеся потом в мучительные загадки для его биографов. Есть своеобразный курьез в том, что писатель, ставший знаменем правдивого изображения жизни в русской литературе, и в творчестве, и в быту любил врать. Но это была не ложь по образцу героев Кукольника.

Мышление Гоголя как бы трехмерно, оно все время включает в себя модус: «а если бы произошло иначе». Вообще это «а если бы» является основой того, что в творчестве Гоголя обычно называют фантазией. Но если, например, в творчестве Гончарова событие происходило так, и только так, «как происходило» и должно было произойти, то в многомерном пространстве гоголевского искусства каждая реальность — как бы «реальность», потому что на ее месте могло бы быть бесчисленное множество столь же вероятных реальностей. Реальность для Гоголя — всегда одна из многих тысяч возможностей, случайно выхваченных жизнью из бесконечного пространства ее потенциалов.

Известен литературный анекдот, согласно которому Ричардсон, закончив свой роман, вышел заплаканный к ожидавшим его дамам со словами: «Молитесь за нее, она там», — указав перстом на небо, куда, по мнению Ричардсона, направилась душа героини. Гоголю для того, чтобы указать на пути его героев, не хватило бы пальцев двух

рук, но все пальцы указывали бы на какие-либо реально возможные «истинные» пути с маленькой поправкой на то, что наименее вероятным и истинным для Гоголя было то, что происходило на самом деле. Вероятно, исключительно интересно было бы пофантазировать на тему о том, какие другие сюжетные продолжения мог предложить своим читателям Гоголь. Количество их было бы бесчисленным, но особенно любопытно, что все бы они были, с одной стороны, «правдивыми», а, с другой, «единственно возможными».

Обычно писатель развертывает свои сюжеты на двумерном пространстве чистого листа бумаги, и это оказывается совсем не столь нейтральным для соотношения его произведения и создаваемой им реальности. Как кинорежиссер видит мир через окно экрана, писатель превращает в реальность только ту действительность, которая может быть словами записана на листе бумаги.

Только превращенная в страницы рукописей или книг действительность становится для Гоголя реальностью. Гоголевский текст — не исписанная тетрадь, а огромное число противоречащих друг другу, но в равной степени реальных вариантов. Когда Хлестаков, бесконечно варьируя, рассказывает свою жизнь (одновременно веря в каждую из своих фантазий), он непосредственно вводит нас в механику творческого процесса своего автора: все различно, но все «может быть». Я думаю, что если бы Гоголю предложили сюжет, по которому Чичиков вдруг оказался бы главным положительным героем, «государевым оком», призванным заглянуть в Россию с черного хода для того, чтобы узнать о ней подлинную правду, и носителем высочайшей истины, то Гоголь вполне серьезно мог бы обдумать и этот вариант.

Для Гоголя в жизни все реально и возможно именно потому, что все нереально; нереального и невозможно практически не существует. Когда сталкиваешься с противопоставлением так называемых реалистических и «фантастических» произведений Гоголя, невозможно отделаться от чувства, что антитеза эта мнимая. Не случайно, любимым образом Гоголя был отраженный в воде пейзаж, то есть пространство, в котором понятие верха и низа практически отменено.

Для Гоголя характерно превращение мира простого и привычного до такой степени, что он делается незаметным

(«как бы не существует»), в мир, где все неожиданно и поэтому насыщается новыми смыслами. Так, движение, которым человек во время еды направляет ложку в рот, настолько привычно, что как бы перестает существовать, делается прозрачным и незаметным. Но гоголевский герой может промахнуться и не попасть в собственный рот: незаметное и обычное — то, что человек кладет еду себе в рот, а не мимо, — становится событием и даже, более того, почти чудом.

Здесь намечается некоторая параллель между Гоголем и Свифтом. Так же как и Свифт, Гоголь смотрит на мир как на нечто совершенно чужое и исполненное удивительных происшествий. Однако героям Свифта, чтобы пережить такое восприятие мира, надо или уехать в неизвестные страны, или даже попасть на другую планету; герой Гоголя делает то же самое, не покидая Петербурга или России, он как бы впервые смотрит на мир, который ему не знаком и не понятен. Гоголь объясняет читателю действительность средствами, известными уже в европейской литературе XVIII в., — превращением всего в непонятное. Повествователь Гоголя, кажется, впервые увидел окружающий мир, поэтому для него нет ничего нейтрального: все или смешно и нелепо, или же необъяснимо и страшно.

Согласно распространенному мнению, Гоголь начинал как романтик, погруженный в необычное, в то, чего не случается в каждодневном быту. На самом деле чувство удивления никогда не покидало Гоголя, и чем менее вероятным было то, о чем он писал, тем больше он верил в правдоподобность этого. Конечно, для Гоголя самым реалистическим произведением были «Выбранные места из переписки с друзьями».

Если бы потребовалось коротко определить сущность того, что обычно называют реализмом Гоголя, то точнее всего было бы предложить формулу «неисчерпаемый запас возможностей жизни». С этой особенностью, в частности, связаны неудачи попыток переносить «Мертвые души» или другие гоголевские произведения на сцену, несмотря на кажущуюся естественность подобного превращения: сцена слишком жестко отделяет то, что произошло, от того, что не могло произойти или могло не произойти. Поэтому же самый «театральный» из русских писателей реже всего удается в сценическом воплощении. В свое время в числе театрализаций «Мертвых душ»

была постановка МХАТ'а периода его художественного расцвета. «Мертвые души» ставились с участием Москвина, Топоркова, Тарханова и были вершиной сценического мастерства. Однако опыты эти трудно назвать удачными, и причина этого лежит, как ни странно, в кажущейся легкости самой задачи.

Проза Гоголя так естественно входила в пространство сцены, что даже МХАТ не удержался от искушения создавать непосредственные сценические иллюстрации, разыгрывая в лицах текст гоголевской поэмы. Свобода таких театральных иллюстраций сковывалась классической известностью произведений Гоголя. Конечно, следует учитывать и то, что юбилейные постановки 1932 г. воспринимались зрителем и критикой на фоне безудержных импровизаций и изобретательства театра Мейерхольда, вдобавок в условиях, когда театр этот подвергся резкой и несправедливой критике, а МХАТ получил официальное одобрение как носитель классических традиций. Таким образом, момент в истории театральных воплощений Гоголя, о котором мы говорим, был далек от естественного спокойного развития и протекал в обстановке отнюдь не безопасных для его участников острых дискуссий.

В период разгрома театра Мейерхольда (используя бывшую тогда в ходу терминологию, — мейерхольдовщины) МХАТ дал сильный крен в сторону иллюстративности, и гениальность актеров не спасала от оттенка академической скуки. Вместе с режиссерским субъективизмом была выброшена и творческая фантазия. Не случайно, что в этот тяжелый для театральной сцены период такие постановки, как «Дни Турбиных», пострадали меньше, чем «Мертвые души». Свобода режиссера там не сталкивалась так непосредственно с академическим догматизмом интерпретации сценического текста. Мнимая легкость превращения классически известных текстов в театральное действие на самом деле лишь увеличивала художественные трудности<sup>1</sup>. Если бы можно было, как на многомерном экране, одновременно показать, например, все фантастические, лживые сочинения Хлестакова, разыграть их все именно *одновременно*, с одинаковой выпуклостью театральной реальности, то, вероятно, мы бы ближе всего подошли к художественному сознанию автора.

Столь же, сколь неудачны в основной массе были театральные воплощения Гоголя, малоубедительными оказываются любые попытки изложить «основной смысл» его произведений. В этих занятиях есть нечто, напоминающее стремление передать многомерное пространство на двумерном листе бумаги. Обычна также ошибка иностранного читателя, воспринимающего Гоголя по законам европейской литературы: бесконечное число фантастических «а могло бы быть еще и так или так» он принимает за двумерную картину действительности.

Творчество Гоголя менее всего можно представить себе как реализацию заданной темы, хронологический пересказ страниц его сочинений. Это — бурлящий поток, каждый раз останавливающийся перед вопросом «а если бы». С этим связана еще одна существенная черта гоголевского творчества. Гоголь верил, что он не «изображает», а творит мир. Отсюда источник одной из его важнейших трагедий. Молодой Гоголь верил, что, изображая зло, он его уничтожает. Зрелый Гоголь возложил на себя ответственность за существование зла, ибо изображение было, с его точки зрения, *созданием*. То, что в романтической литературе часто фигурировало как метафора, для Гоголя превратилось в реальность. Он возложил на свои плечи создание мира и испугался того, что сам создал. Когда же, согласно замыслу, рядом с ужасным миром должен был быть создан другой — прекрасный, Гоголь почувствовал, что волшебное свойство создавать то, чего еще не было, его покинуло. Тогда творчество превратилось в преступное умножение зла. Гоголь имел смелость принять на себя эту ответственность, но ему не хватило сил ее выдержать.

Гоголевское свойство создавать не тексты, а *возможности текстов*, явилось одной из причин столь устойчивого и определяющего влияния Гоголя на дальнейшее развитие русской литературы. Как только Гоголь в конце жизни перешел к проповедническому изложению истины, т. е. как только он представил себе истину как что-то конечное и двумерное, как только он запретил себе лгать в своих произведениях, все более и более умножая эти фантазируемые им пространства жизни, — т. е. как только он поверил своим современникам, что он должен стать проповедником истины, ему одному известной, и что, следовательно, истина — это что-то единственное, кому-то данное в своей исчерпанности (не случайно, именно в эту минуту в текстах Гоголя зазвучали кощунственные ноты

отождествления себя и Всевышнего), он перестал быть Гоголем. Из того, кто имеет власть создавать жизнь во всей ее непредсказуемости, он превратился в скучного проповедника некой единственной и только ему открытой истины. В этом не было случайности.

Одним из коренных вопросов русской литературы XIX в. был вопрос: «Кто виноват?» Ясно, что виноватым может быть только создатель. Гоголь знал только двух создателей: Господа и себя. Он был слишком хорошим христианином, чтобы допустить возможность ответственности Господа за зло мира. Значит, он взвалил ее на свои плечи. У Гейне есть стихотворение, которое многое может объяснить в субъективной позиции Гоголя. Приводим его в русском прозаическом переводе <перевод Ю. М. Лотмана. — *Рег.*>:

Я несчастливый Атлас,  
Весь мир зла я взвалил на свои плечи.  
Я поднял неподнимаемое.  
Гордое сердце, ты хотело спасти мир,  
И теперь ты несчастливо...<sup>2</sup>

Гоголь был писатель, пересекавший самые разные дороги жизни — от Киева до Парижа. Арбенин в «Маскараде» Лермонтова говорит:

Везде я видел зло и, гордый, перед ним  
Нигде не преклонился.<sup>3</sup>

Если гордость — грех, то это был главный грех Гоголя. Однако звучавшие позже обвинения Гоголя в преувеличенной гордости, как правило, раздавались из уст тех, кому нечем было гордиться. Гоголь же мерил себя величием той жертвы, на которую он добровольно обрек себя.

Организующей нитью русской литературы было стремление к обнаженной истине. Высшей похвалы, чем утверждение искренности и объективности писателя, литература не знала. На этом пафосе объективности возник потом жанр очерка и оформились дальнейшие пути литературного развития XIX в.

Реалистическая тенденция молчаливо подразумевала, что в жизни есть одна-единственная истина; и что все, что нельзя назвать истиной, следует именовать ложью. У Гоголя же привычка ко лжи была равнозначна художе-

ственному творчеству. Он был, пожалуй, единственным из так называемых реалистов, для которых «истина» перестала быть доминирующим критерием.

Писатель-«реалист» наблюдал жизнь, старался как можно точнее проникнуть в ее сущность, то есть он предполагал, что жизнь уже создана до него, и что ему надо ее правдиво описать. Жизнь создана не им, и кто бы ни был ее создателем — Господь, природа или социальные законы, — но в любом случае они предшествуют жизни, как лицо человека предшествует его фотографии. Отсюда мысль о том, что уже сотворенную жизнь надо или скопировать, или переделать. Гоголь вводил читателя в жизнь, пойманную в момент ее создания. Для него создание литературного произведения было не копированием жизни, а творением ее. Отсюда и чувство личной ответственности за царящее в мире зло.

У Андерсена есть сюжет о художнике-творце. Все, что он рисует, немедленно воссоздается в реальности. Случайно овладевший его кистью плохой художник создает образ некрасивой, с изуродованным телом девушки. Появившийся в эту минуту творец уже не может исправить рисунок. Ему остается лишь нарисовать рядом с фигурой изуродованной девушки образ влюбленного в нее юноши. Трудно найти метафору, более близкую к гоголевскому творчеству. Гоголь изображал уродливые и отталкивающие человеческие фигуры, однако отношение к этим персонажам у него было совсем не таким простым. Не случайно он говорил: «Ибо не признает современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания <...>. И долго еще определено мне чудной властью итти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы! И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подыметя из облеченной в святой ужас и в блистанье главы, и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей...»<sup>4</sup>.

Отсюда в конечном итоге гоголевское чувство греховности его собственного творчества. Сама деятельность писателя как бы разрывает Гоголя на две части. Как художник он чувствует, что правда на стороне Пушкина. Как писатель — продолжатель пушкинской школы — он

может описывать только жизненную правду (божественная сила есть сила правды, и поэтому художник должен изображать жизненную правду), но как философ-мистик он боится этой правды, видит в изображении зла его умножение и в любом случае берет на себя греховную роль: или грех лжи, или же грех увеличения дьявольской силы.

Видимо, с этим связана основная тема творчества Гоголя — тема лжи, кажимости, соотношения реально существующего и мнимо существующего. С этой точки зрения интересна его комедия «Игроки».

В «Игроках» создается обычная литературная ситуация, где участвуют обманщик, честный отец, неопытный молодой человек, которого обманывают, и традиционно сюжет завершается конечным разоблачением лжеца. Потом оказывается, что обманщик — единственный человек, который действительно является жертвой обмана. Остальные все лжецы: «Все обман, все мечта, все не то, чем кажется»<sup>5</sup>. Таким образом, на один сюжет — литературный и моралистический — накладывается второй сюжет, в котором мир предстает в своем подлинном облике. Ложь оказывается единственной истиной.

При этом перевернут и второй план, кроме сюжетного — нет ни одного женского персонажа и ни одного «типичного» героя. Одновременно все персонажи демонстративно стереотипны. Они являются перед лицом зрителя как живое воплощение прекрасно ему известных литературных масок, поэтому исходное состояние зрителя задумано как погружение в предельно знакомую ситуацию. Зритель введен автором в мир, который демонстративно задан как понятный и не содержащий в себе никаких секретов.

Александр Блок в «Балаганчике» дает ремарку: «Даль, видимая в окне, оказывается нарисованной на бумаге. Бумага лопнула. Арлекин полетел вверх ногами в пустоту. В бумажном разрыве видно одно светлеющее небо»<sup>6</sup>. Блок будто сценически дублирует ситуацию «Игроков». Нарисованная Гоголем стереотипная система распределения ролей оказывается лжереальностью. То, что зритель воспринимал как сценическое воспроизведение действительности, разоблачается как сцена в сцене, театральный дубликат. «Реальность» разыграна. Актеры, исполняющие перед зрителем гоголевский текст, — актеры в квадрате. Это актеры, которые играют актеров, пользуясь форму-

лой самого Гоголя: «все обман, все мечта, все не то, чем кажется». Таким образом, «действительность» на поверку оказывается *кажимостью*, «мечтой». Перед нами игра одним из опорных понятий романтизма — словом «мечта», которое получает два накладываемых друг на друга значения: одновременно и традиционное церковнославянское, и уже ставшее к этому времени стереотипным романтическое.

Сама действительность предстает перед гоголевской аудиторией в двойном освещении. С одной стороны, это *реальность*, которая воспроизводится автором, с другой — сам процесс воспроизведения является разоблачением. Не только *эта* правда оказывается ложью, но и сама правда в принципе, как некая внутренняя сущность, берется под сомнение. Совсем как в «Страшной мести»: «Горы те — не горы: подошвы у них нет, внизу их, как и вверху, острая вершина и под ними и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на холмах, не леса: то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею в воде моется борода, и под бороною, и над волосами высокое небо. Те луга — не луга: то зеленый пояс, перепоясавший посередине круглое небо, и в верхней половине и в нижней половине прогуливается месяц»<sup>7</sup>.

Многочисленное отражение отражения в отражении превращается в принцип прорыва за пределы любого отражения. Это ставит под сомнение самую возможность отражения, то есть основу искусства. Поэтому переход от искусства к проповеди делается для Гоголя фатальной необходимостью.

Г. А. Гуковский заканчивал свой спецкурс о Гоголе, который он читал в Ленинградском университете, эффектным образом: воспоминанием о событии, свидетелем которого ему пришлось однажды быть. Человек, пересекавший железную дорогу, оказался запертым между двумя железнодорожными составами, летящими на полной скорости навстречу друг другу по параллельным путям. Когда поезда пронеслись, фигура человека как бы застыла в вертикальном положении, но инерция двух параллельных противоположенных скоростей, по словам лектора, оторвала у человека голову. Безголовое тело несколько секунд сохраняло еще вертикальное положение. Не берусь судить, насколько точно Г. А. Гуковский пересказывал эту ситуацию. Думаю, однако, что трагедия Гоголя не предста-

вляет собой точной параллели такого события, даже если оно в действительности имело место (реальная скорость поездов тех лет делает его очень сомнительным).

Возможно, однако, что Г. А. Гуковский использовал образ Андрея Белого<sup>8</sup>, и тогда эффектное окончание спецкурса Гуковского включало в себя еще одну мистификацию: картинная метафора А. Белого была реализована им в лекторской импровизации. Г. А. Гуковский никогда не использовал заранее подготовленных текстов и не опирался ни на какие написанные предварительно опорные конспекты, а строил свои лекции, присаживаясь на краешек кафедры, как свободные импровизации. Даже цитаты, которые он всегда приводил очень точно (студенты иногда проверяли своего лектора), он приводил по памяти. Память его была совершенно поразительна.

Гуковский здесь, конечно, накладывал на Гоголя фаустовский стереотип:

Две души, увы, живут в моей груди!  
И одна хочет оторваться от другой.<sup>9</sup>

Этот эффектный образ, однако, низводил трагедию Гоголя до уровня романтического стереотипа. Несмотря на уникальность творческой трагедии Гоголя, в определенном смысле она стереотипна для искусства вообще. Искусство в принципе не может ставить перед собой реально разрешимых проблем, ибо «реально разрешимые» проблемы есть проблемы уже решенные, а искусство решенными проблемами не занимается. Оно равнодушно передает их педагогике, создавая этим другую, уже педагогическую трагедию: как превратить проблему в разрешенную, сохранив ее при этом как проблему.

Театральная традиция, сложившаяся к концу XVIII в., открывала перед драматургом одну из двух возможных дорог. Так называемая «шекспировская традиция», которая завоевала себе одно из ведущих мест на театральной сцене, особенно в драме, создавала характер как единство противоположных и взаимоисключающих психологических черт. Сопоставляя так называемые шекспировскую и мольеровскую традиции, Пушкин писал: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосто-

ронные характеры. У Мольера Скупой скуп — и только; у Шекспира Шайлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера Лицемер волочитя за женою своего благодетеля — лицемера; принимает имение под сохранение, лицемера; спрашивает стакан воды, лицемеря. У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с тщеславной строгостью, но справедливо; он оправдывает свою жестокость глубокомысленным суждением государственного человека; он обольщает невинность сильными, увлекательными софизмами, не смешною смесью набожности и волокитства. Анжело лицемер — потому что его гласные действия противуречат тайным страстям! А какая глубина в этом характере!»<sup>10</sup>

Так называемая «мольеровская традиция» легла в основу комических характеров, в то время как «шекспировская» сделалась фундаментом предромантической драмы. Первая традиция создавала типические характеры, вторая — индивидуальные образы. Первая реализовывала уже известные зрителю театральные типы, вторая — создавала эти типы, первая иллюстрировала, вторая — генерировала. Таким образом, эстетика первого типа доставляла зрителю радость узнавания, вторая — потрясала его неожиданностью. Различные жанры — драма, трагедия, комедия, водевиль — имели как бы закрепленные за ними типы характеров. Предромантизм начал с того, что смешал эти типы. Внесение комических элементов в трагедию и вообще размывание жанровых границ начало восприниматься как одна из основных «шекспировских традиций». Смещение стереотипов шло под лозунгом отказа от самого принципа стереотипности и позволяло видеть в сценическом отражении зеркало живых противоречий жизни. Между тем, сам по себе механизм такого построения образа был достаточно прост и еще очень далеко отстоял от разрывов с самим принципом сценической условности.

Бомарше еще имел возможность перевернуть принципы сцены и потрясти публику простым смешением прежде несоединимых приемов. Коцебу уже мог штамповать «на манер Шекспира» одну драму за другой, и это не шокировало зрителя, легко включавшегося в его привычный стереотип. Однако секрет подобного новаторства очень скоро был разгадан, и один из сатириков начала XIX в. имел основание жаловаться: «И коцебутина одна теперь на сцене».

Превращение предромантического новаторства в «коцебятину» было одновременно и приговором быстро ополшившимся путям театра, и требованием новых кардинальных поисков. Драма ответила на этот запрос пером Шиллера. Комедии пришлось искать других и, как всегда, более трудных путей. Опять получил свою актуальность уже неоднократно фигурировавший в истории сцены критерий «подражания жизни». Вновь наступила эпоха решительных экспериментов.

«Игроки» Гоголя были одним из самых смелых в истории сцены и вряд ли до сих пор по заслугам оцененным экспериментом в этом направлении. Можно, не боясь впасть в преувеличение, сказать, что «Игроки» — подлинная эпоха в истории европейского театра. Прежде всего, это уникальный пример пьесы, в которой эстетическое присутствие реализуется методом отсутствия. В «Игроках» Гоголь оголил сцену от всех привычных уже видов условности. Особенности произведения легче всего подчеркнуть указанием на два основных принципа: принцип отсутствия и принцип мнимого присутствия.

«Игроки» — пьеса без любви. Одновременно отпали сценические приемы и традиции, связанные с переодеваниями, еще игравшие такую существенную роль в традициях Мольера и Бомарше. Теряя актуальность, они увлекли за собой огромный пласт сценических резервов, в ту пору настолько привычных зрителю, что их можно было даже не воспроизводить еще и еще раз, а ограничиться намеками на традиционные формы театрально-сценического жеста.

Таким образом, одна из основных пружин комического сюжета была Гоголем добровольно отброшена. Зато преувеличено и положено во главу угла то, что сам Гоголь назвал «основой петербургской жизни», распространив здесь ее, правда, не только на Петербург, а на самый фундамент русской действительности: «все обман, все мечта...» (уже привычное в ту пору для словаря романтизма значение слова «мечта» придает частному, по сути, сюжету общефилософский характер<sup>11</sup>).

Первый пласт сюжета создается хорошо известными зрителю театральными стереотипами. Главный персонаж — профессиональный шулер, обманщик, превративший жульнические приемы не только в цельную научную теорию, но и осуществивший эту теорию с гениальностью

художника<sup>12</sup>. Ихарев — как бы Гамлет нового времени: создатель культуры эпохи обмана, гений, реализующий основной принцип новой жизни. Безнравственный ум, соединение фаустовской изобретательности и буржуазной жажды наживы, полностью свободный от этических ограничений, гений бальзаковской эпохи, который должен выйти на сцену блистательным победителем, отвоевав власть над миром у невежд и тупиц (схема, в дальнейшем воспроизведенная в образе Остапа Бендера)<sup>13</sup> — таков центральный образ пьесы. Ум, доходящий до гениальности, талант, упорство и полная безнравственность — таково вооружение созданного Гоголем нового Германа. Параллель между пушкинским и гоголевским героями очевидна и сознательно подчеркнута, параллелен и конечный итог: глупость, случайность, непредсказуемость русской жизни, ее логическая недетерминированность — силы, бороться с которыми самые изощренные ум и безнравственность оказываются бессильными (нельзя забывать, что первые проецируются у Гоголя на таинственную логику русской истории, в то время как ум и безнравственность сознательно приобретают черты «западного пути»)<sup>14</sup>.

Разные эстетические системы могут с различных точек зрения рассматривать проблему театральной условности. Для одних событие на сцене — фантазия, созданная произволом автора, для других — подлинная реальность. Но когда зритель находится в зале, он забывает и то, что перед ним сцена, и все внешние признаки театра (от фойе до буфета). Представляемое на сцене превращается для него в единственную подлинную реальность: то, что к этому не относится, «как бы не существует». Он может увидеть спрятанного за кулисами режиссера, суфлеров, весь другой маскарад театральной жизни, но он ее «видя, не видит»; она — не действительность, а «мнимая реальность», не жизнь, а маскарад жизни. Эта двойная реальность театра превращается в обнаженный прием, когда на сцене разыгрывается другая сцена — театр представляет собой театр. На рубеже этих понятий возникает метафора: жизнь — не более как сцена на сцене, мнимая действительность, которая *разыгрывает роль* действительности подлинной. Поэтому изображение сцены на сцене всегда и острый, обнажающий себя прием, и насыщенный художественно-философский символ. Одним концом

упираясь в чисто эстетические проблемы, другим он неизбежно касается основных философских вопросов: что такое реальность и, более того, что есть истина, — вопрос, которым Понтий Пилат пытался смутить Христа. То есть искусство неизбежно перерастает из эстетической проблемы в проблему бытийную и этическую.

В «Игроках» зритель находится в пространстве реальности, а сцена в пространстве театральности. Затем все перевертывается. Мы уже сказали, что обманщик — единственный честный человек и жертва обмана. Честный человек оказывается обманщиком, играющим роль честного человека. Благородный отец — тот, кто *исполняет роль* благородного отца.

Таким образом, Гоголь создает проблему двойных ролей: жизнь, которая играет роль жизни, но которая на самом деле жизнью не является. Пьеса строится по принципу театра в театре, где за многослойной ложью вырисовывается основной вопрос: «Что есть истина?» Гоголь как бы вводит нас в мир Пилата, где отличить истину от лжи можно только некоторым высшим проникновением. Как религиозный мыслитель Гоголь верит в реальность истины, но как борец, вызвавший на бой самого мощного из своих противников, он не может не ощущать, насколько его враг сильнее, чем он сам.

По сути дела, «Игроки» повернуты против традиции XVIII в., где Фигаро обманывает других персонажей, но не публику. Он обращен лицом к залу и сразу открывает перед зрителем весь механизм своих разнообразных обманов, между тем, как у Гоголя сцена остается для зрителя до самого конца сферой обмана. Только в последнем акте срываются маски. Гоголь не дал критерия для того, чтобы отличить ложь от правды. Это заставляет его потом вводить критерий извне: из морали, из религии; но само действие как бы остается под маской, и если бы не было последнего акта, то пьеса вполне могла бы окончиться как торжество добродетели над плутами. Но пьеса строится как накладывание пластов на пласт. Честность — многослойный обман, поэтому Гоголь вводит истину не тем, что противопоставляет обманщику честного человека, а тем, что «накладывает» на обманщика нового обманщика, перед которым тот выглядит наивным и честным<sup>15</sup>. У Бомарше хитрый и ловкий Фигаро крутит в своих руках весь сюжет, и все совершается в соответствии с его за-

мыслими. У Гоголя, наоборот, именно наиболее ловкий и хитрый обманщик оказывается обманутым. Как позже скажет Цветаева в «Поэме горы»:

Еще говорила, что это — демон  
Крутит, что замысла нет в игре.<sup>16</sup>

Это, по сути дела, выражение мысли Гоголя. Другими словами это же высказал Горький: «Нищий вывесил портянки сушить, а другой нищий портянки украл».

Такая постановка вопроса естественно заставляла задуматься о критериях истинности. В этом смысле «Игроки» особенно важны: для того, чтобы вырваться за пределы лжи, надо «пробить дыру» в бытовом пространстве. Отсюда стремление Гоголя найти внешние для искусства критерии — этические или религиозные, но всегда противоречащие привычным для сцены категориям: выгоде, успеху, хитрости. В этом смысле «Игроки» — как бы перевернутая полемика с основными принципами XVIII в. Но по сути дела, так же построены и «Женихи»: событие внутри себя не включает критериев истины.

Однако было бы чрезвычайным упрощением забывать, что Гоголь все-таки не столь уж далек от основных идей XVIII в. — веры в естественность добра, в противоестественность лжи, в то, что простой, бесхитростный взгляд и есть основной критерий веры в конечное торжество добра. Добро для Гоголя — не чудо и не романтическая загадка, а самая простая и самая естественная жизнь. Поэтому конечное торжество добра в сюжетах Гоголя, как правило, не вызывает удивления. То, что Хлестаков оказывается демаскированным, как бы подсказано всем сюжетом. Удивление — и это прямо заявляет в конце городничий — вызывает другое: каким образом Хлестакову удалось обмануть свои жертвы при очевидной несуразности и его действий, и его слов. Но секрет заключается именно в последнем: поскольку жизнь построена на несуразностях, несуразность делается наиболее естественной реализацией действительности.

Давно уже было отмечено, что не гоголевские герои обманывают тех, кто становятся их жертвами — обман лежит в основе самой окружающей их действительности. При этом источник обмана для Гоголя — противоестественная, выдуманная человеком ложная основа жизни. Поэтому в «Игроках» Гоголю и не потребовалось любовного сюжета. На фоне мира, созданного людьми, любовь

представлялась бы чем-то слишком естественным. Даже в своем бытовом облике, расцвеченная всеми красками реальной действительности, любовь еще не разорвала своей связи с руссоистским представлением о естественных свойствах человека.

Гоголя неоднократно обвиняли в стремлении поучать, в том, что из писателя, изображающего действительность, он превратился в проповедника, который не показывает своим зрителям, как они живут на самом деле, а указывает, как им следует жить. Это обвинение и правильно, и неправильно. Оно строится на игнорировании некоторых основ гоголевской эстетики. Подобно уже упомянутому андерсеновскому художнику, Гоголь считал, что писатель не «отражает» действительности, а активно ее творит. При этом подобный взгляд, хотя и противоречит всем вариантам гегельянской по своей сути «теории отражения», на самом деле не лишен оснований.

Своим творчеством Гоголь лучше любых теорий доказал, что изображение действительности по самой своей природе не может быть отделено от активной ее трансформации. Действительность, превращенная в текст, — это уже новая действительность. В этом смысле мы можем сказать, что существование «гоголевской реальности» продолжается до тех пор, пока читают и ставят Гоголя. Она каждый раз заново возрождается и перерождается на глазах и в сознании гоголевской аудитории. Непрерывное обновление этой аудитории и повторяемость различных вариантов ее контактов с текстом Гоголя (вернее, с интерпретациями этих текстов) создает непрерывный и целостный творческий процесс. Автор фактически уже теряет свою самодержавную власть над ним, да и само понятие авторства существенно трансформируется. Мы говорим, что каждая новая постановка пьесы сталкивает нас с новой пьесой, реализуемой через бесчисленное число реализаций. Но то же можно сказать о каждом новом прочтении и вообще о каждом новом художественном контакте в динамическом треугольнике: автор — текст — аудитория. При этом предшествующие контакты в пределах этого пространства не исчезают бесследно, а сохраняются в потенциале памяти культуры. Таким образом, в динамике реальности культуры включаются законы динамики действительности. Этот поток создает активный резервуар новых порождений смыслов. Именно в этом месте Гоголь-проповедник расходился с Гоголем-художником.

Как проповедник он был носителем конечной истины, которую следовало в том виде, в каком она, подобно Афине в голове Зевса, родилась в его сознании, незамутненной донести до читателя. Художественная структура, созданная самим Гоголем, имела иную природу. Это был бесконечно репродуцируемый, повторяющийся и никогда не повторяемый процесс, всегда тот же и всегда новый, отражающийся заново в своих собственных предшествующих отражениях, всегда неожиданный по своей природе. Одновременно он был противопоставлен и любым формам окостенения, и столь же непрерывному процессу утраты равенства самому себе. Этот гоголевский принцип органически вырастал из некогда брошенной (как всегда с гениальной гибкостью) Пушкиным характеристики творчества Россини: «Он вечно тот же, вечно новый»<sup>17</sup>. Слова эти, конечно, выходят за пределы характеристики музыки итальянского композитора. Это формула отношения живого художественного текста и его аудитории.

Закон «вечно тот же, вечно новый» особенно очевиден в художественном восприятии музыкальных произведений, и не случайно Пушкин применил его к Россини. Однако он так же актуален и для живописи, где формула «я уже однажды видел эту картину» столь же неприменима, как ее вариант к музыкальному произведению. Но развитие сюжетности и внесение в искусство фактически нехудожественных критериев новизны открывает путь для изменения психологии читателя. На повторное чтение романа переносится отношение к повторному чтению газеты, то есть разрушается самая основа эстетического переживания текста. Читатель газеты уже не может естественно и без перевоспитания превратиться в читателя повести. При этом здесь активную роль играет вполне объективный критерий: объем памяти. Новеллы, занимающие половину печатной страницы, легче удержать в активной памяти, чем многотомный роман. Поэтому многотомный роман естественнее перечитывать. К нему более применима уже использованная нами пушкинская формула «он вечно тот же, вечно новый».

Сказанное заставляет задуматься о границах единства процесса. Титульный лист, на котором обозначено: «Сочинения Гоголя», обращает память читателя к некоему динамическому художественному пространству, в котором возможно активизировать очень большое число по-разному соотносенных между собой элементов. Пространство это

живет и по законам единого текста, и как различно соотношенные, порой антагонистические и несовместимые динамические единицы. Это пространство реализуется в сознании аудитории то как сумма переплетов, то как органы единого живого тела. Один взгляд не только не исключает, а подразумевает реальность другого. В целом они образуют динамическое единство «пространства Гоголя».

Сопоставление традиционного литературного обманщика (образ, варьирующий древнюю фольклорную фигуру лжеца и Фигаро Бомарше) с героем «Игроков» выявляет существенную разницу по линии деструкции/конструкции. Традиционный лжец — деструктор: он разрушает реальность и поэтому относится к тому же типу литературных персонажей, что и воры, бандиты, бунтари. Противостоящий ему гоголевский образ лжеца носит не деструктивный, а конструктивный характер: он не разрушает уже существующего мира, а создает новый актом своей лжи. Эта ложь — акт творения, поэтому она никогда не реализуется как осуществление заранее запланированного обмана, а всегда представляет собой творческую импровизацию.

Не случайно лгуний Хлестаков может сам изумиться полету своей фантазии: она может завести его в *неожиданное*. Также не случайно Гоголь подчеркнул искренность и простодушие Хлестакова: не он ведет за собой обдуманную линию лжи, а ложь несет его, как поэзия несет поэта. Каждая новая вдохновенная ложь открывает перед ним новые дальнейшие возможности лжи. Художественная ложь Хлестакова — саморазвертывание новых и новых вариантов, ведущее к беспредельности, а не к реализации обдуманного действия. Это — черта фольклора, и сюжеты этого типа создают бесконечный текст, ибо каждый новый шаг вперед — не приближение к какому-то результату, а раскрытие дальнейших путей в бесконечность. Кончатся подобные сюжеты в фольклоре обычно катастрофой. По подобной фольклорной модели Пушкин строит «Сказку о рыбаке и рыбке». Модель сюжета в принципе не имеет конца, она должна вернуться, пройдя через катастрофу, к началу.

Таким образом, литературный обманщик — хитрец Фигаро — движется по развернутой прямой к победе; фольклорный лгун, пройдя всю траекторию саморазвития беспредельной фантазии, неизбежно должен возвратиться

ся к «разбитому корыту». Такая сюжетная модель создает образ мнимого мира, мнимой динамики, мнимых успехов, мнимой победы и неизбежно завершается возвращением к исходной точке. Поэтому Фигаро у Бомарше — всегда победитель, и деятельность его всегда разворачивается в реальном мире, гоголевский обманщик действует в мнимом мире, где «все обман, все мечта». Творчество в этом мнимом мире подчинено основному закону мира дьявольского: оно не существует, а *кажется*. Таким образом, обман в этом случае — действительно творчество, но творчество дьявольское, то есть мнимое, кажущееся. Это — **псевдотворчество, создающее псевдомир**, оно может завершиться только исчезновением самого этого мира.

Такое построение подводит нас к пониманию смысла сюжета пушкинской «Сказки о золотом петушке». Сложная напряженная цепь событий завершается не чем-то, а ничем, не созданием чего-либо нового (даже злого), а просто аннигиляцией, исчезновением:

А царица вдруг пропала,  
Будто вовсе не бывало.<sup>18</sup>

Это неожиданным путем подводит нас к пушкинской характеристике современного века и современного человека «... с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом». Если романтическая модель создавала демонический характер, порождающий демоническое злое действие, то подобный образ — модель «несуществования», мнимого бытия, которое не способно создать даже зла.

Развиваясь по этим дорогам, «Игроки» Гоголя не создают определенной, пусть даже определенно новой литературной схемы. Гоголь потому и не боится сближения с самыми традиционными — по сути дела, примитивными — сюжетными моделями, что в основе его построения в целом лежит разрушение. Движение завершает свой круг: предельное усложнение художественной структуры обращает ее к примитивным истокам. Так называемая нереальность сюжетов молодого Гоголя (например, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки») обладает такой же бытовой реальностью, как и так называемые реалистические произведения писателя. То, что обычно называют гоголевским «реализмом», — фантазия, перенесенная в быт, а так называемая фантастическая проза молодого Гоголя — быт, перенесенный в фантазию. Меняются акценты, ав-

торская интонация, но основание остается все то же. В основе сюжета всегда лежит уникальное событие.

Писателей натуральной школы привлекает то, что случается всегда, Гоголя — то, что почти никогда не происходит. Вернее, следуя ироническому выражению самого писателя, «редко, но случается». Бытовая реальность сюжета для Гоголя — не закон, а исключение. Натуральная школа стремилась представить обыденное и бытовое как каждодневное и естественное. Позиция Гоголя — противоположна. Для него самое «естественное», заурядное событие — результат фантастического сплетения невероятных обстоятельств. Самые хитрые из героев Гоголя не способны были бы обмануть тех, кто уже заранее не обманул сам себя. За этим таится руссоистская стихия творчества молодого Гоголя.

Быть лгуном для Гоголя — совсем не естественное состояние человека. Втайне человек тяготеет к правде, но жизнь делает его героем противоестественных ситуаций. По сути дела не он обманывает действительность, а действительность обманывает его. Обстоятельства буквально заставляют Хлестакова плыть по морю лжи. Субъективно Хлестаков всегда убежден в том, что говорит правду: он не лжет, а разыгрывает вполне вероятную роль. Главная жертва его обмана — он сам. Как в известном сюжете Марка Твена нищий ребенок, оказавшийся в положении принца, действительно превращается в собственную роль, гоголевский герой на глазах своих собеседников превращается в предмет своего воображения.

И так называемые романтические, и столь же условно именуемые реалистическими произведения писателя изображают мир, в котором реальность приобретает фантастическую недостоверность. Так называемая «реальность» — Петербург, где «<... > сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде». Не случайно там, где Гоголь сознательно преподносит читателю истину (например, в знаменитых словах: «Я брат твой!»<sup>19</sup>), эти места как бы выпадают из общего стиля текста. По убеждениям Гоголя, человек — действительно, брат другого человека, и эта высокая истина составляет гуманистическую основу и христианства, и социального утопизма Гоголя. Но этой истине никто не верит, никто не руководствуется ею в практической жизни. Истина для Гоголя — всегда лишь потенциальная возможность,

глубинная основа жизни, которая так же реальна, как реальна христианская мораль, на которой держится жизнь. Но осуществляется она через неосуществление.

Именно то, что бытовая жизнь строится на принципиально иной основе, заставляет Гоголя постоянно колебаться в оценке таких фундаментальных для него явлений, как жизнь и правда. С одной стороны, жизнь — это то, что должно было бы происходить, но в силу дьявольского вмешательства не происходит. Между тем, правда — божественный закон жизни, однако в быту она не реализуется никогда. Таким образом, с догматической точки зрения, позиция Гоголя очень спорна: нереально то, что происходит, а подлинной реальностью обладает то, что не совершается в жизни. Понятие действительности, принятое критикой после Гоголя, представлялось самому писателю чем-то исключительно сложным. Действительность — это и то, что не должно было бы происходить, хотя всегда происходит, и то уникальное или редкое, что чаще всего не реализуется в жизни, и, наконец, тот высокий идеал, которым руководствовался Создатель мира. Положение писателя в этом лабиринте «действительности» исключительно сложно. Он сам не всегда может правильно определить, кому же он служит — Добру или Злу. Служение добру отводит от изображения реальной жизни. Но ведь именно дьявол — отец лжи, служение же добру требует правдивого изображения зла.

Таким образом, положение писателя двусмысленно по своей природе, поэтому Гоголь и пытался заменить его более прямолинейной позицией проповедника. Но и у этого решения имелось свое искушение. Писатель искал истину и нес за это личную ответственность, проповедник провозглашал уже известную истину, и это понижало опасную двусмысленность его позиции. Однако положение писателя — опасный подвиг самопожертвования, добровольная Голгофа, в то время как тот, кто проповедует уже принятые истины, — напоминает того, кого Господь угрожал «извергнуть из уст своих» за то, что он «не горяч и не холоден» (Откр. 3, 16). Отсюда общее гоголевское представление о жертвенной роли писателя. Последняя еще более усугублялась двусмысленностью того пространства между истиной и моральной проповедью, найти точку равновесия в котором Гоголь пытался в течение всей своей жизни.

У Гоголя понятие красоты почти всегда скульптурно, т.е. включено в некое трехмерное пространство. Это была попытка побороть в себе образ хаотического мира, рассыпающегося на несоединимые части. Страшное, смешное, в любом случае аномальное для Гоголя — это нечто, разрушающее границы. Именно поэтому для Гоголя антитезой уродливому были скульптура и архитектура, то есть те виды искусства, в основе которых лежит организованное пространство. Но пространство это не подчинено законам автоматизма. Постоянная игра между организованным и вариативным составляла для Гоголя основу самой жизни. Идеал этот воплощался в живом образе прекрасной женщины, которая, постоянно меняясь, все время остается сама собой. Идеал этот противостоял как бесформенной способности к непрерывным изменениям (см., например, «Вий»), так и застывшей, не способной к динамике и, следовательно, мертвой красоте.

Гоголь фактически был не писателем, а деятелем. Он ждал от своих сочинений отнюдь не только литературного успеха, но в первую очередь преобразования жизни. Здесь мы подходим к одной существенной черте русской литературы вообще. От раннего средневековья и до совсем еще недавних времен писатель молчаливо подразумевал, что единственным оправданием всей его деятельности является преобразование жизни. Сейчас, когда эта вера начинает расшатываться, литература оказывается на трагическом распутье: сохранить ли свою вековую национальную традицию или же превратиться в развлекательное чтение.\*

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Каждая новая постановка любой уже многократно ставившейся пьесы требует игры не только на сцене, но и в сознании зрителей. Зритель должен перевоплотиться в того, кто «как бы в первый раз» смотрит на воплощение этой пьесы, или же эстетски наслаждаться минимальными различиями и микроскопическим новаторством. Следует отметить, что сказанное особенно актуально для драмы, но не может

---

\*Эта статья была написана в августе — сентябре 1993 года по заказу американского слависта С. Шпикера для сборника статей о творчестве Гоголя. Продиктованная в больнице, статья стала последней работой Ю. М. Лотмана. Текст подготовлен к печати Л. Н. Киселевой и Т. Д. Кузовкиной.

быть автоматически распространено на повторное восприятие оперного и балетного искусства, в которых сама природа соотношения новотворчества и узнавания уже известного имеет иной характер, поскольку акцент переносится именно на исполнительство.

- 2 Еще вариант перевода:

О, гордое сердце, ты хотело быть  
Бесконечно счастливым или бесконечно несчастным.  
И теперь ты несчастливо.

- 3 Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч.: В 2 т. Л., 1989. Т. 1. С. 435.

- 4 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1937—1952. Т. 6. С. 134—135.

- 5 Гоголь Н. В. Т. 3. С. 45.

- 6 Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1961. Т. 4. С. 20.

- 7 Гоголь Н. В. Т. 1. С. 246.

- 8 Ср.: «Гоголь, начав с пленяющих безделушек, цельных музыкой, дав цельность стилю за счет погасшей мелодии, вдруг ужаснул узкой тенденцией, в которой завял его стиль, отчего и организм его творчества оказался ... без головы; а голова — осталась без туловища; тело без головы взял в свои руки Белинский, раскрыв в нем тенденцию огромной значимости; из неоконченной головы им извального процесса, оторванной от тела, Гоголь, выпотрошив мозг, сделал ... жандармскую каску и арестовал свое творчество; но "жандармская каска", просунутая в "Переписке" и "Исповеди", не смогла отвести тока, шедшего через Гоголя—творца в рассудочно-безголовое тело его творений, головой которых оказалась вся русская литература, продолжавшая развивать дело Гоголя: без Гоголя-проповедника» (Белый А. Мастерство Гоголя. М.; Л., 1934. С. 27.) Выражаю благодарность Т. Д. Кузовкиной за указание на это место в книге Белого.

- 9 *Zwei Seelen wohnen, ach, in meinen Brust.*

*Die eine will sich von der andern trennen.*

*Goethe J. W. Faust. Leipzig. 1982. S. 51—52.*

- 10 Пушкин. Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. 12. С. 159—160.

- 11 О том, что эта традиционная внеромантическая семантика слова «мечта» не превратилась для читателя в забытую традицию, свидетельствуют, например, такие словоупотребления:

Тогда мы видим, что пуста

Была золотая чаша,

Что в ней напиток был — мечта,

И что она — не наша!

(Лермонтов «Чаша жизни»)

- 12 Маска обманщика входила в имевший уже длительную историю и прекрасно знакомый зрителю сценический стереотип. Автору достаточно было ограничиться определенными отсылками сюжетного, жестового, интонационного характера: зритель с радостью включался в знакомую сценическую игру, тонко оценивая минимальное авторское и актерское новаторство как смелые элементы новизны. Нам сейчас трудно оценить эффект какой-нибудь совершенно незаметной для современного читателя перемены в привычных жестах или костюмах. Поэтому следует помнить, что высокая традиционность и даже сценическая стереотипность не ограничивали возможностей оригинальности и изобретательности, хотя именно эти упреки потом многократно бросались в адрес классицистической сцены. Они только требовали большей художественной памяти от зрителя, его способности к гораздо более тонкому восприятию, чем то, которое позже начал предъявлять романтизм, значительно упростив «искусство быть зрителем».
- 13 Ихарев, реализуя глубоко обдуманый и по сути дела гениальный в своем роде план обмана, срывается на совершенно неожиданном: на неприменимости его тонких расчетов и высокого искусства к утвержденному в России порядку грубого обмана. Отражением этого же хода мыслей является известный сюжет Ильфа и Петрова, в котором Великий Комбинатор смог предусмотреть все, кроме того, что пока он будет осуществлять свои гениальные расчеты, у него украдут все четыре колеса от машины. Слишком тонкий расчет оказывается неприменимым к простой и примитивной действительности. Критика эпохи Ильфа и Петрова не разгадала или не пожелала разгадать здесь метафоры построения идеального социалистического общества «в одной отдельно взятой стране». Заканчивающая роман Ильфа и Петрова идеализированная картина прибытия колонны новых блистательных легковых машин явилась почти откровенно приклеенным вполне лояльным символом, на котором критика и предпочла сосредоточить свое внимание. Прибытие спасительной техники, преображающее мир Ильфа и Петрова, происходит из некоего идеального пространства, имеющего демонстративно условный характер.
- 14 Тут невольно вспоминается толстовский образ войны 1812 г.: сравнение человека, который, сражаясь со своим противником на шпагах по всем правилам фехтовального искусства, вдруг понял, что дело идет не о светской игре, и, отбросив дуэльное оружие, схватил в руки «дубину народной войны». Несмотря на кажущуюся искусственность сопоставления Льва Толстого и Гоголя, в основе их построений лежит глубокая параллель: сопоставление европейского и русского путей исторического развития.

- 15 Отсюда, кстати, совершенно неожиданное и свойственное Гоголю понятие слова «мечта», которое восходит не к романтической традиции, а к исконному русскому словоупотреблению, обозначая выдуманное, нереальное и, следовательно, дьявольское лицо жизни. Такой взгляд в эпоху «Игроков» уже, по сути дела, глубоко архаический, появляется здесь далеко не случайно. В «Игроках» художественный архаизм и новаторство как бы обмениваются местами: для того, чтобы прорваться в мир художественного новаторства, надо погрузиться в эстетические принципы, сделавшиеся в ту пору для театра уже откровенной архаикой, надо презреть новаторство и отбросить его как внешнюю суетную заботу.
- 16 *Цветаева М.* Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 413.
- 17 *Пушкин.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 204.
- 18 *Пушкин.* Полн. собр. соч. Т. 3. С. 563.
- 19 *Гоголь Н. В.* Т. 3. С. 144.

## К ОСНОВАНИЯМ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ ПОЭТИКИ\*

М. ЛОТМАН

Я хотел бы предложить, как мне кажется, принципиально новый подход к феноменам, связанным с поэтической техникой. Хотя вся ответственность за предлагаемые ниже новации целиком ложится на меня, я считаю, что они полностью вписываются в парадигму т.н. тартуско-московской семиотической школы.

Согласно установившейся филологической традиции, существуют, с одной стороны, такие элементы структуры поэтического текста, которые характеризуют исключительно его означающее. Сюда относятся, например, ритм, аллитерация, рифма и т.п. С другой стороны, существуют элементы означаемого; это, например, метафора, метонимия и др. тропы. Я же хочу показать, что может оказаться весьма продуктивным рассматривать феномены, связанные с выражением, как содержательные и наоборот. Более того, мне представляется в высшей степени вероятным, что само разделение на выражение и содержание по крайней мере в поэтическом тексте может оказаться заблуждением. Таков мой основной тезис. Но прежде, чем перейти к его обсуждению, необходимо сделать некоторые предварительные замечания.

Первое из них касается различных подходов к осмыслению поэтических феноменов и самого феномена поэтичности, сложившихся в современной семиотически ориентированной поэтике.

В науке о литературе утвердилось восходящее еще к русскому формализму и новой критике представление о

---

\* Настоящая статья представляет собой текст доклада, зачитанного на Международной летней семиотической школе в Иматре (Финляндия) 10 июня 1995.

том, что различие между поэзией и прозой заключается не только в различных формальных параметрах, таких как метричность, рифма и т.п., но и в содержательных характеристиках: поэтический текст означает другое и иначе, нежели текст прозаический. Или — точнее говоря — формальные и содержательные особенности стихотворного текста оказываются неразрывно между собой связанными. Из этого положения с необходимостью вытекает вывод о различии семиотических механизмов поэзии и прозы.

Существуют различные точки зрения на семиотическую специфику структуры и семантики поэтического текста. Нет ни возможности, ни необходимости останавливаться здесь на характеристике хотя бы основных подходов к семиотике поэзии, укажем лишь те из них, которые понадобятся нам для дальнейшего изложения.

Р. Якобсон развивал точку зрения Пражского лингвистического кружка о том, что поэтическая речь есть речь с установкой на выражение (т.е. здесь мы имеем дело с модификацией формалистического тезиса о том, что форма поэтического текста и есть его содержание). Поэтическая функция языка проявляется в том, что целью высказывания является само это высказывание. Отсюда — по Якобсону — и структурные отличия поэзии от прозы. В поэзии происходит проекция парадигматики на синтагматику (или — по Якобсону — оси селекции на ось комбинации), в результате чего поэтический текст развертывается в двух измерениях — горизонтальном и вертикальном — одновременно, в результате чего в поэзии образуются структуры, материализующие вертикальную проекцию — метр, рифма и т.п.

Другая точка зрения развивается в рамках подхода, пытающегося синтезировать идеи пирсовской семиотики и миметической теории искусства, восходящей через посредничество немецкой философии XIX в. к эстетическим идеям Аристотеля. Мимезис истолковывается как пирсовский иконизм, поэтому, в частности, художественный текст вообще и поэтический в частности описывается как иконический *par excellence*. Одним из неудобств этого подхода представляется то, что символические и индексальные знаки оказываются в поэтическом тексте если не невозможным, то во всяком случае чужеродным образованием.

С точки зрения тартуской школы, художественный текст, хотя и включает в себя отдельные миметические компоненты, является, в первую очередь, не миметическим, а моделирующим образованием. Художественный текст не отражает, а творит свою реальность. Корректнее эту идею было бы выразить в терминах модальной логики: художественный текст создает некоторый возможный мир. Что касается поэтического текста, то основной его особенностью является представление о том, что каждый из его элементов является по крайней мере потенциально значимым. Данный тезис вовсе не означает, что в каждом поэтическом тексте все элементы актуально значимы, но лишь то, что мы заранее, априори, не можем утверждать, какие элементы поэтического текста являются знаковыми, а какие чисто вспомогательными, субзнаковыми образованиями. В поэтическом тексте знаковую функцию могут выполнять такие элементы, которые в обиходном тексте заведомо знаковыми не являются.

Если теперь сопоставить названные точки зрения, то не трудно заметить, что на противоположных полюсах оказываются те подходы, которые в дальнейшем я буду называть для простоты миметическим и моделирующим. С точки зрения миметического подхода, текст порождается внетекстовой реальностью, в то время как для моделирующего подхода текст сам порождает свою внетекстовую реальность. Что касается подхода Р. Якобсона и его последователей, то как мы увидим, в некоторых принципиально важных для нас отношениях якобсоновский подход оказывается ближе к миметическому, нежели к моделирующему.

Заслуги миметической школы общеизвестны: вся классическая риторика и поэтика сформировалась в рамках этого направления. Современная поэтика и так называемая неориторика в значительной мере есть результат воздействия идей Р. Якобсона. Ниже будет предложен очерк моделирующей поэтики.

Ключевым понятием для нас будет *сопоставление*. Сопоставление уже было основным понятием в компаративистике XIX в., для которой в методологическом и — шире — мировоззренческом плане был характерен наивный реализм. В компаративистике сравнение основывалось на сходствах, якобы объективно присущих сравниваемым феноменам. В противоположность компаративизму выросший из идей Соссюра классический структурализм

строился на базе не со-, а *противопоставления*. Это была не просто замена одной аналитической *процедуры* на другую, но и переход на принципиально иные методологические позиции: противопоставление мыслилось как метаязыковая операция, в результате которой формируются элементы более высокого уровня абстракции: фонемы, морфемы etc. Полемизируя со структурализмом, деконструктивизм в качестве базовой операции выдвигает не *противопоставление*, а *различение*: если для компаративистики первичным свойством филологического объекта было его сходство с другими (только сходство с другими — звуками, морфемами, мотивами, сюжетами и т.п. включало данный объект в систему филологического знания), то для деконструктивизма — таким первичным свойством стало *оп- и различие* (отличие — основа существования; объект, не отличающийся от других, не существует). Здесь можно было бы сделать ряд философских экспликаций, но они увели бы нас в сторону от основной темы. Ниже будет показано, что то, что я предлагаю, не является просто возвратом к идеологии компаративизма. Однако прежде всего предложим несколько тезисов, связанных с моим пониманием сопоставления.

**Во-первых**, сопоставление предшествует различению и, тем более, противопоставлению; более того, сопоставление содержится и в различении, и в противопоставлении. Этот тезис представляется достаточно очевидным и не нуждающимся в комментариях. Мой **следующий тезис** заключается в том, что сопоставление не зависит от сходств и различий сравниваемых объектов, — как это принято обычно считать, — но, напротив, сходства и различия зависят от сопоставления. Из этого положения естественным образом вытекает **третий тезис**: сопоставление, подобно структуралистскому противопоставлению, есть метаязыковая операция, означающая переход на иной уровень абстракции. Параметры, по которым осуществляется сопоставление, образуют некий комплекс, который я в дальнейшем буду называть *пилотирующей структурой*. Сопоставление является проекцией пилотирующей структуры на сопоставляемые феномены. И **последнее**. Сравнение есть не только некоторая аналитическая операция, но и троп. Далее я хочу предложить новую трактовку хорошо известных поэтических феноменов.

1. **Ритм и метр**. Обычная трактовка поэтического ритма заключается в том, что он состоит в повторе опре-

деленных элементов языковой просодии: это могут быть просто слоги, если дело идет о силлабическом стихосложении, чередование долгих и кратких слогов, если дело идет о квантитативном стихосложении, или чередование ударных и безударных слогов в стихосложении силлаботоническом. При этом неявно предполагается, что что такое слог, ударение или долгота, нам заранее известно. Это неверно. Количество слогов в тексте, равно как и распределение слогов различного типа зависит от того, с чем они сопоставляются. Например, каждый стих в силлабическом стихотворении характеризуется определенным числом слогов, квалифицированным читателем воспринимаемом непосредственно, «на слух». Если теперь тот же стих поместить в прозаический контекст или в контекст *vers libre*, то интуитивный счет слогов сразу теряется. Более того, в таких условиях простой подсчет слогов далеко не всегда оказывается возможным. Трактовка таких явлений, как дифтонги, элизии и т.п., во многом зависит от поэтических условностей, а не от норм языка. Приведу лишь один пример. В русском языке не может быть слогов без гласных, однако в поэзии XX в. такое слово как 'октябрь' может быть как двусложным (ок-тябрь), так и трехсложным (ок-тя-брь) — в последнем случае появляется слоговое 'р', обычное в чешском языке или в санскрите, но невозможное в русском. Ср. «Октябрь уж наступил» Пушкина с «Октябрь; море по утру» Бродского. Почему мы в первом случае считаем 'октябрь' двусложным словом, а во втором — трехсложным? Ответ очевиден: потому, что этого требует стихотворный метр; в *vers libre* или в прозе вопрос о том, сколько слогов в 'октябре', не вставал бы вовсе. Таким образом в стихотворном тексте, в котором релевантен силлабический принцип, слог не непосредственно соотносится с соседними слогами, но при посредничестве метра. Стихотворный метр — явление принципиально иного, по сравнению с ритмом, уровня: непосредственно в тексте он не содержится. Метр — это пилотирующая структура, проецируемая на последовательность слогов и образующая ритм в результате этой проекции.

**2. Аллитерация.** Существует три основных вида аллитерации. Первый тип заключается в факультативном повторе звуков (преимущественно согласных); аллитерации этого типа широко распространены в самых различных поэтических культурах, например, в русской, в современ-

ной английской, немецкой, финской и т.д. Другой тип аллитерации заключается в обязательном звуковом повторе, однако при этом позиции повторяющихся звуков не фиксируются. Таковы аллитерации в финской и эстонской народной поэзии. Третий вид аллитерации характеризуется как ее обязательностью, так и фиксированностью позиций аллитерирующих звуков. Такая аллитерация характерна для древнегерманской поэзии, где наиболее распространенная схема  $A + A/A$  (два аллитерирующих слова в первом полустишии и одно — во втором). В таком стихе аллитерация выполняет не только фоническую, но и метрическую функцию, поэтому его иногда прямо и называют аллитерационным.

Отвлечемся от метрики (о ней речь шла выше), сосредоточим внимание на фонике. Стандартная трактовка аллитерации заключается в том, что она является повтором одинаковых (или сходных) звуков различных слов. Т.е. существуют слова с одинаковыми или сходными звуками, которые, корреспондируя между собой, и образуют аллитерацию. Опровержение этой теории я хочу начать с рассмотрения т.н. вокалической аллитерации. Такие аллитерации встречаются как в древнегерманском, так и финно-угорском стихе. Парадоксальность таких аллитераций заключается не только в том, что в них повторяются не согласные, а гласные звуки, но и в том, что по сути дела никакого звукового повтора в них может и не быть: достаточно, чтобы в стихе встречались слова, начинающиеся с гласных. Каких именно гласных — значения не имеет (обычно к таким словам причисляются и слова, начинающиеся со звука 'h'). Уже было отмечено, что в таких случаях на самом деле речь идет вовсе не о повторе гласных, но о повторе как бы предшествующего им нулевого согласного, т.е. аллитерируют не  $V-/V-$ , а  $fflV-/fflV-$ , где  $V$  — произвольный начальный гласный. Дело в том, что так сказать нормальная модель слога как в германских, так и финно-угорских языках начинается с согласного звука, большинство слов, начинающихся с гласной, в действительности часто (но не всегда) образовались в результате утраты начального согласного. Уже Соссюр в своих записках об анаграммах указывал, что древние индоевропейские поэты были проницательными лингвистами, то же самое можно по-видимому сказать и о древних финно-угорских поэтах. По сути дела, в аллитерационной технике происходит переход от уровня непосредственно-

го звучания к фонемическому уровню (с фонологической точки зрения наибольший интерес представляет аллитерационная техника валлийской поэзии). Теперь зададимся вопросом, существует ли вокалическая аллитерация в прозе? Ответ очевиден — нет. Мы замечаем такую аллитерацию только потому, что знаем, что она должна здесь быть. И это касается не только аллитерации вокалической: в поэзии мы настроены на восприятие звуковых повторов, те же комбинации звуков в прозе останутся, как правило, за порогом восприятия. Таким образом, аллитерация не основывается на априорной эквивалентности некоторых звуков, но сама создает эту эквивалентность. Как и метр, она является пилотирующей структурой, проецирующей принцип эквивалентности, однако, не на просодический, а на фонический материал. (Ниже мы еще раз вернемся к аллитерации в прибалтийско-финской народной поэзии, однако на этот раз уже в ее связи с содержательными аспектами структуры текста).

3. **Рифма.** Стандартная трактовка рифмы заключается в том, что в языке существуют априорно рифмующиеся слова, которые и образуют рифму. Существуют даже специальные словари рифм, которые призваны помочь поэтам с истощившимся вдохновением. Между тем, в общем случае мы не можем заранее знать, рифмуются ли между собой два произвольно взятых слова или нет. Так, условия т.н. новой рифмы в русской поэзии допускают такие созвучия, которые поэзия XIX в. никак не могла бы признать за рифму. В немецких словах *Höh* и *See* нет ни одного повторяющегося звука, разумеется, не найдем мы их и в словаре рифм. Даже непосредственно примыкая друг к другу, они вроде бы не образуют звукового повтора. Но поставленные в рифменную позицию, они, по условиям немецкой поэзии, образуют вполне приемлемую рифму. Что дело здесь не в законах языка, видно из опыта эстонской поэзии, где в совершенно иной фонологической системе такие рифмы были — под влиянием опыта немецкой поэзии — широко распространены в прошлом веке. Тем не менее, с известной долей упрощения можно сказать, что в поэтических системах типа русской, немецкой, эстонской и т.п. чем богаче звуковой повтор, тем лучше рифма. Напротив, в итальянской поэзии классической поры (а итальянский язык, как известно, исключительно богат на рифмы) существовал негласный запрет на повтор опорных согласных в рифме, т.е. избе-

гались богатые рифмы. Любопытно, что это ограничение не распространялось на омонимические и тавтологические рифмы, широко распространенные в итальянской поэзии и избегаемые, например, в русской поэзии. Это важное свидетельство того, что рифма — явление не только фоническое, но и семантическое, причем фонические и семантические факторы находятся в компенсаторных взаимоотношениях. Суммируя сказанное, можно утверждать, что не рифма создается звуковым повтором, но, напротив, рифма создает этот повтор. Подобно метру и аллитерации, рифма оказывается пилютирующей структурой, проецируемой на фонический материал.

Кажется, пора задать вопрос: какое отношение все это имеет к семиотике литературы? Ведь ни ритм, ни аллитерация, ни рифма не являются знаковыми образованиями. Как известно, язык является знаковой системой, но не только ею. Согласно Мартине, язык является системой двойного членения, из которых одно является знаковым: членение на морфемы, слова и предложения, а второе — субзнаковым: членение на фонемы и слоги. Единицы, выделяемые первым членением, и их конфигурации входят в компетенцию семиотики, а единицы субзнакового уровня и их различные конфигурации — нет. Таким образом, все, чем мы до сих пор занимались, как будто лежит вне компетенции семиотики. Позже я попытаюсь показать, что в поэтическом тексте, в отличие от обиходного языка, сфера семиотического значительно расширена и все, о чем выше шла речь, имеет к семиотике текста самое прямое отношение. Пока же рассмотрим некоторые конфигурации заведомо знаковых единиц.

**4. Параллелизм.** Существует много различных его разновидностей: ритмический, синтаксический, описанный Веселовским психологический параллелизм и др. Остановимся на одном лишь виде параллелизма — т.н. тавтологическом. Это одна из самых древних и в теоретическом плане важных его разновидностей. На тавтологическом параллелизме строятся, например, финская и эстонская народная поэзия, восходящие к общему прибалтийско-финскому источнику. Будем называть такой стих руническим (по-фински *runo* означает стих, так что сам этот термин — тавтология — *стиховой стих* — для рассуждений о тавтологическом параллелизме кажется вполне уместным). Тавтологический параллелизм отражает досюжетную стадию мышления, тем более интересно проследить,

как строятся в такой системе сюжетные тексты. Руническую поэзию часто называют поэзией состояний: текст состоит из мельком упоминаемых действий и развернутых описаний возникших состояний. Состояния описываются при помощи системы тавтологических параллелизмов. Стандартная трактовка тавтологического параллелизма заключается в том, что он основывается на языковой синонимии: синонимические выражения, подставляемые в тождественные позиции, и образуют ряды тавтологического параллелизма. Однако даже самый поверхностный взгляд на материал не может не вызвать недоумения, о какой синонимии и тавтологии здесь может идти речь. Например, эстонская песня "Riias ristitud" (Крещеный в Риге) открывается такими стихами:

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Mul on rikas ristieite    | У меня богатая крестная,   |
| 2. mul on rikas ristitoati.  | у меня богатый крестный.   |
| 3. Viis mind Riiga ristimaie | Свез меня в Ригу крестить, |
| 4. Tallinna nime panema.     | в Таллинн давать имя.      |
| 5. Minu nimi Riia linnas     | Мое имя в Риге-городе      |
| 6. kuldroamatu seessa,       | внутри золотой книги,      |
| 7. vaskiroamatu vahela,      | между медной книги,        |
| 8. laia kirja keske'ella.    | посреди широкой грамоты.   |

В двух первых стихах как будто противоречий нет: если уж человеку так повезло, что у него оказалась богатая крестная, то почему бы и его крестному не быть богатым. В действительности, однако, речь здесь явно идет не о двух разных людях, а об одном и том же; третий стих развеивает в этом смысле всякие сомнения: глагол viis (вез) стоит в единственном числе. 'Крестный' и 'крестная' оказываются синонимами. Стихи 3 и 4 также можно интерпретировать таким образом, чтобы они не противоречили бы друг другу: крещение и наречение — различные обряды, так что нет ничего невозможного в том, что человека крестят в Риге, а имя ему дают в Таллинне. Однако это заведомо абсурдная интерпретация: имя дают именно при крещении, а сам обряд крещения нередко и назывался «дачей имени». Таким образом, ст. 3 и 4 обозначают именно одно и то же действие, одно и то же событие. Следовательно, остается предположить, что Таллинн и Рига — один и тот же город (или, выражаясь более точно, 'Таллинн' и 'Рига' — разные имена одного и того же города). Ст. 5 вроде бы вносит уточнение: речь

все-таки идет именно о Риге (вспомним и заглавие песни: «Крещеный в Риге»). В стихе 6 и 7 в качестве таких же «синонимов», как кресный/крестная и Рига/Таллинн выступают золото и медь. Особенно курьезными на современный слух представляются параллелизмы, где в качестве синонимов фигурируют различные числительные. Так, в финской песне о женоубийце встречаются такие стихи:

Ku oliis oma emmone antais viikos viiet armot kuukaudes kaheksat armot netelää neljät armot.	Если бы была родной матерью давала б шесть милостей в неделю восемь милостей в месяц в неделю четыре милости*
---	--

Первое впечатление от этого отрывка — здесь что-то не в порядке с математикой: количество 'милостей' не сходится. Но дело не только в математике. Неделя оказывается не тождественной неделе, и эта нетождественность зависит от слова, которое ее обозначает (слово 'viik' — германского, 'netelää' — славянского происхождения). Оказывается, что *viik* и *netelää* такие же «синонимы», как 5 и 4. Числа не обозначают здесь точного количества, а варьируют общее значение 'много'. Таким образом не языковая синонимия — основа параллелизма, но, напротив, параллелизм творит поэтическую, узуальную синонимию — класс семантической эквивалентности, зона действия которого не выходит за пределы данной группы параллелизма. В основе тавтологического параллелизма лежит пилотирующая структура, семантический инвариант, варьируемый в различных членах этого параллелизма.

Разговор о параллелизме следует закончить его связью с аллитерацией. В образовании групп тавтологического параллелизма звуковое подобие играет не меньшую роль, чем смысловое. Почему в неделю, обозначаемую словом *viik*, нужно оказывать пять милостей? Потому что *viiko* аллитерирует с *viisi*. Почему в неделю, обозначаемую словом *netelä*, нужно оказывать четыре милости? Потому что *netelä* аллитерирует с *neljä*. Почему, наконец, в месяц нужно оказывать всего восемь милостей, а не 20 ( $= 5 \times 4$ ) или, по крайней мере, 16 ( $= 4 \times 4$ )? Потому что *kuukausi* аллитерирует с *kaheksa*. Выше мы отметили наличие корреляции

---

\*Эти слова — ответ дочери отцу-женоубийце, обещавшему, что новая мать будет лучше старой, убитой.

звука и смысла в рифме; в рунической поэзии корреляция звука и смысла в параллелизме настолько тесная, что можно говорить о своего рода симбиозе параллелизма и аллитерации. В рассмотренном симбиозе параллелизма и аллитерации звуковые параметры оказываются семантическими факторами, в то время как собственно смысловые параметры выполняют чисто конструктивные, синтаксические функции. Означаемое и означающее здесь как бы поменялись местами.

5. **Анаграмма.** Здесь связь означаемого и означающего еще более очевидна. Хотя ясно, что анаграммы представляют собой двуплановые образования, при описании их этот факт, как правило, не учитывается. Если в означающем рассматривается способ представления анаграммируемого комплекса в тексте, то в означаемом рассматривается только его значение, в то время как конфигурация означающего в расчет не принимается.

Выделяются две трактовки понятия анаграммы. Первая, более строгая и более традиционная, состоит в том, что анаграмма есть разделение и перестановка звуков или букв анаграммируемого слова. Например, из вопроса, заданного Понтием Пилатом Иисусу Христу: *quid est veritas?* — что есть истина? путем перестановки букв был выведен ответ: *est vir qui adest* — муж здесь стоящий.

Иными словами, под анаграммой понимается перестановка над некоторым осмысленным кортежем, также удовлетворяющая критерию осмысленности. Возможность заведомо произвольных интерпретаций здесь очевидна. Любопытно, что на это указывал еще Свифт в своих «Путешествиях Гулливера». Более либеральная трактовка анаграмм содержится в записках Соссюра и пользуется после их публикации сравнительно широкой популярностью. В отличие от строгой трактовки, она допускает как неоднократное вхождение составляющих анаграммируемого комплекса, так и такие отрезки в тексте, которым вообще нет соответствия в анаграммируемом выражении, в результате чего одно слово может анаграммироваться в сравнительно большом тексте или отрезке текста. Очевидно, что при либеральном подходе опасность произвольной трактовки гораздо выше, чем при строгом. Поскольку, однако, анаграммы с такого рода звуковой организацией представляют наиболее интересный и важный случай, мы считаем необходимым сформулировать альтернатив-

ный подход. В основе этого подхода лежит параллельное обследование структур означаемого и означающего.

Мы исходим из того, что большинство анаграмм, не носящих нарочито искусственного характера, основаны на параллельном «распылении» анаграммируемого сигнала в означаемом и в означающем: компоненты его значения предстают в тексте в разобленном виде совершенно аналогично тому, как это происходит в означающем с компонентами звучания. Наиболее простой и наглядной является в этом смысле структура многих загадок. Как известно, в означаемом загадки могут быть приведены как будто бы иррелевантные признаки загадываемого объекта, совершенно недостаточные для однозначного ответа. В них анаграммирование является важным, если не единственным «ключом» к отгадке. Например:

Нет ни окон, ни дверей, поСРЕдине — АРХИРЕЙ.

Разгадка — ОРЕХ.

Весьма показательна в этом смысле роль имен собственных, вводимых в текст загадки. Они вообще не имеют сигнификата и поэтому с точки зрения логической структуры загадки вообще не нужны, но именно на них ложится основная анаграмматическая нагрузка:

Узелок, КуЗЬМА, развязать нельзя (ЗАМОК);

Лежит Егор под межой, покрыт зеленой фатой (ОГУРЕЦ);

Стоит Фекла, глаза мокры (ОКНА);

Смысл предлагаемого подхода заключается в том, что анаграмма определяется как пилотирующая структура, одновременно управляющая развертыванием как означаемого текста, так и его означающего. В загадке анаграммируемое слово является, одновременно, ее разгадкой. Особенно продуктивным такой метод оказывается при анализе поэтических текстов.

**6. Сравнение.** Переходим теперь на тропологический уровень структуры текста. Рассмотрение его естественно начать со сравнения, тропа, наиболее непосредственным образом связанного с нашей основной операцией — сопоставлением.

Предлагаемая ниже трактовка сравнения и других тропов полемически направлена против традиций аристотелевской риторики, которая строится на миметическом фундаменте. Эту традицию продолжает большинство риторических систем, вплоть до Р. Jakobsona и выросшей из

его учения неориторике. Согласно этой традиции, сравнение, как и метафора, основывается на сходстве главного и вспомогательного объекта. Т.е. сравнение следует объективным свойствам, априорно присущим сравниваемым объектам, лишь вербализуя уже существующее сходство. Так, когда мы говорим: «Джон хитрый, как лиса», или «упрямый, как осел» или «подлый, как свинья» etc., то мы основываемся, если не на объективных (т.е. зоологических) свойствах названных животных, то, во всяком случае, на свойствах, уже заранее зафиксированных в культуре.

Согласно же моей точке зрения, сравнение (как и метафора) не основывается на сходстве, но само творит его. Априорное сходство симметрично: если вы обнаруживаете в объектах  $A'$  и  $A''$  общее свойство  $\alpha$ , то, естественно, этим свойством будут обладать как  $A'$ , так и  $A''$ . Другое дело — апостериорное сходство, творимое сравнением — оно принципиально асимметрично: когда вы обнаруживаете у своего приятеля некоторые качества, скажем, осла и/или свиньи, то это может вовсе не означать, что у этих животных вы обнаружите те же свойства своего приятеля. Свинья здесь — вспомогательный объект, ее свойства проецируются в рамках данной конструкции на вашего приятеля, свойства которого вовсе не проецируются на свинью. Такой подход к риторическим феноменам хорошо согласуется с идеями, высказанными Максом Блеком в его знаменитой книге "Models and Metaphors" еще в 1962 г. Согласно Блеку (и вопреки Якобсону), метафору неверно было бы определить как ассоциацию по сходству, т.к. метафора не «формулирует случайно существующее подобие», а сама «создает подобие». Очевидно, что то же самое справедливо и для сравнения. Сходство с идеями Блека не случайно: как в основе подхода тартуской школы, так и подхода Блека лежит представление о моделирующем характере метафоры. Однако, согласно тартуской школе, моделирующая природа характерна не только для риторических феноменов, но и для искусства в целом. Возвращаясь теперь к нашим объектам  $A'$  и  $A''$ , предложим следующую схему в качестве общей схемы сравнительных конструкций:  $A' \rightarrow^{\alpha} A''$ , где  $\alpha$  — пилотирующая структура, проецируемая от  $A'$  к  $A''$ .

Мы рассмотрели — по необходимости самым кратким образом — некоторые феномены, встречаемые в поэтических текстах. В традиционной поэтике и риторике они

относились к совершенно различным сферам. Я же попытался показать, что в основе их всех лежит один и тот же механизм: сопоставление. При этом само сопоставление понимается нами не в миметическом, а в моделирующем смысле: оно не фиксирует априорно существующего сходства — не важно, звуков или смыслов, — но само создает соответствующее сходство. Механизм создания сходства управляется пилотирующими структурами. Пилотирующие структуры различаются как по своему содержанию (одни содержат определенный ментальный, другие — звуковой образ), так и по действию (если метр может проецироваться на каждый слог текста, то аллитерация или анаграмма действует выборочно и т.п.). Общее в них главное — они, физически не присутствуя в тексте, проецируют в него свои свойства. Разумеется, далеко не все поэтические феномены могут быть описаны лишь при помощи сравнения. Так, в метафоре, кроме сравнения, действует механизм сокращения (эллипсис), в метонимии — замены и т.п. Моей целью и не было сведение всех поэтических феноменов к одной лишь операции, но показ того, что в основе самых различных из них лежат общие механизмы. В одной своей работе я показал, что и сфера действия более сложных явлений, таких как метафоризм и метонимичность, не ограничена означаемым — аналогичные явления имеют место и в звуковой фактуре стихотворного текста.

Тот факт, что означаемое и означающее поэтического текста характеризуются единством структурных механизмов, имеет далеко идущие последствия. Единство структурных принципов приводит к стиранию границ между означающим и означаемым. На примере взаимодействия параллелизма и аллитерации мы видели, что означаемое и означающее могут как бы меняться местами: на основании звукового сближения формируются классы семантической эквивалентности, а семантические отношения выполняют синтаксическую функцию; в анаграммах означаемое и означающее вообще не могут быть дифференцированы: означающее анаграммируемого выражения становится означаемым в анаграммирующем тексте.

Какой же вывод из сказанного следует сделать? Прежде, чем ответить на этот вопрос, позволю себе сделать одно признание.

По моему убеждению, риторика призвана стать базисом, органом гуманитарного знания. Именно в этом

контексте следует рассматривать и мои упражнения с сопоставлением/сравнением. Но для ответа на поставленный вопрос прибегну к другому тропу — метафоре. В свое время Соссюр предложил метафору, призванную иллюстрировать соотношение означаемого и означающего. Это — лист бумаги, одна сторона которого невозможна без другой, означаемое невозможно без означающего и *vice versa*. Усилиями русского формализма и тартуской школы было показано, что мы заранее не можем знать, с какой, так сказать, стороной листа мы имеем дело; более того, возможно то, что Ю. Лотман называл перекодировкой — когда означаемое становится означающим и наоборот. Я хочу сделать следующий шаг. С моей точки зрения, метафорой (или моделью) поэтического текста является не простой лист бумаги, а своего рода лист Мебиуса: каждой конкретной точке этого листа может быть поставлена в соответствие точка на его противоположной стороне, однако, взятый как целое, он не имеет противоположной стороны — двигаясь от той же точки вдоль поверхности листа, мы вернемся к ней же, пройдя обе стороны листа. Так и в поэтическом тексте каждому конкретному смыслу соответствует определенное выражение и *vice versa*, однако когда мы рассматриваем его как целое, грань эта отодвигается и размывается, и то, что вначале казалось лежащим с другой стороны, оказывается лишь удаленным элементом того же ряда, а сама другая сторона — фикцией, иллюзией.

«ДА НЕ МОЛЧАЛИВИ БУДЕМ...  
РАДОСТЬ НЕ ТЕРПИТ В НАС МОЛЧАНИЯ»  
(К семантике триумфа в петровскую эпоху)

Е. ПОГОСЯН

1730-е гг. в России — время, когда придворная культура получила тот вид и статус, в которых она существовала затем вплоть до эпохи Великих реформ. Постепенно складывается годовой цикл придворных торжеств, каноны панегирика, выделяются институты, которые в условиях новой придворной культуры получают привилегию преподносить монарху такие панегирики. Среди арсенала образов и мотивов европейской панегирической литературы русские авторы отбирают те, которые, по их мнению, наиболее точно смогут представить идеологическую программу российской монархии.

В исследовательской литературе изучение топики придворной культуры (в первую очередь, похвальной оды) было традиционно ориентировано на то, чтобы восстановить круг источников, к которому обращался панегирист. Всякий регулярный элемент панегирика, как показывают исследователи, можно возвести к немецкой и французской традиции, но, одновременно, к эмблематам, известным и неизвестным русским авторам первой половины XVIII в., творениям русских силлабиков, Горацию и Пиндару, а также к Псалтири<sup>1</sup>.

Можно попытаться поставить вопрос иначе: почему из всего арсенала образов, которые предлагает традиция, например, для описания интенций и переживаний панегириста, русские авторы 1730-х гг. настойчиво выбирают тему искренней похвалы, идущей от сердца, а не, скажем, тему искусной риторики. Чаще всего автор вместо того, чтобы обратиться за помощью к музам, гонит их прочь. Так, например, в панегирике, поднесенном Анне Иоанновне от учеников «Рыцарской академии» по случаю празднования нового 1736 г., мы читаем:

А вы стихотворныя прочь идите Музы,  
 Прочь вси и ласкательства полныя союзы  
 Тщательно обыкшия славу разглашати,  
 И выше меры людем сию приставляти,  
 Равноль мните, что слава и здесь приписанна,  
 По подобию протчих будто с лишком данна <...>  
 Аще хотите веру у людей сыскати,  
 То поистинне должны славных прославляти<sup>2</sup>.

Музы, по мнению авторов стихотворения, привыкли «приписывать» чужую славу тем, кого восхваляют. Чтобы похвалить настоящего героя, риторика не только не нужна, но и вредна, так как ставит его подвиг в ряд «протчих».

Не менее настойчиво к теме искренней неискусной похвалы обращались искушенные в риторике панегиристы петровской эпохи. Можно сказать, что еще задолго до того, как культура официальной похвалы окончательно сложилась, русские авторы начинают размышлять о ее несостоятельности и пытаются доказать свою искренность, неискусность и непреднамеренность, спонтанность своих построений.

Не случайно, что основным панегирическим жанром в литературе петровской эпохи было похвальное слово. Оно произносилось в церкви, лицом духовным, и это определяло высокий авторитет жанра и было как бы залогом искренности панегириста.

Свое первое Слово, произнесенное в Петербурге, Феофан Прокопович при публикации сопроводил словами «по долженству же *проповедию* провозвещенна». То есть в «должность» Прокоповича входило произнесение проповеди, а не создание панегирического произведения для печати. Однако вслед за произнесением, как правило, похвальные слова публиковались отдельной брошюрой.

Обстоятельства первой публикации «Слова» («Слова похвального о преславной над войсками свейскими победе» в 1709 г.) описаны его автором, Феофаном Прокоповичем, в предисловии, обращенном к монарху. Феофан подчеркивает здесь нетрадиционный характер издания: «аще же и мне о том слово произнести случися, вем, яко слову моему не жити, но токмо *на время* явится, не *многokratне*, но единою токмо слышатися подобаше. Но понеже тако изволися вашему священнейшему величеству, происходит в свет народный <...>. Понеже сия вещь *всемирнаго* прославления достойная <...>, того ради си-

ежде мое слово, по твоему ж монаршему благоволению, и на язык латинский, яко всей Европе общий, преведох»<sup>3</sup>. Мы видим, что инициатива публикации слова, предназначенного автором для *однократного* исполнения, принадлежит монарху. Публикация делает бытование этого произведения, как выражается Прокопович, «многократным». Кроме того, расширяются границы его бытования — оно должно быть известно за пределами коллектива верующих, к которому Прокопович обращался в церкви, и не только подданным Петра, но и за пределами государства. Таким образом, в глазах Прокоповича, факт публикации меняет статус Слова — из проповеди оно становится панегириком.

К своему Слову Феофан в этом издании присовокупил «ритмы» — стихотворное описание победы под заглавием «Епиникион, сиест песнь победная о тойжде преславной победе». В отношении этих «ритмов» у автора были совсем иные намерения и бытование их он представлял иначе: «торжественныя ритмы <...> *тройственным гуалектом*, латинским, словенским и польским, сложенные от мене <...>, яже найпервое по победе в Киев вашего царскаго пресветлаго величества пришествие *напечатати* и *произнести тщахся*, аще бы нужнейших тогда царских дел не имела типография» (С. 460). Стихи исходно предназначались для «многократного» бытования и широкого читателя, поэтому публикация на трех языках входила в планы Прокоповича и только по занятости типографии осуществлена не была.

Мы видим, что Прокопович намеревался, ориентируясь на традицию, опубликовать панегирические стихи, но Петр видел искомую форму панегирика именно в Слове — опубликованной церковной проповеди. Среди причин такого предпочтения было, по-видимому, и то, что позиция автора панегирического стихотворения и похвального слова (проповедника) существенно отличалась, оба жанра были воплощением принципиально различной эмоции. Именно позиция проповедника как того, кто получает право от имени сограждан предстоять монарху и Всевышнему, более всего, по мнению монарха, отвечала ситуации.

Сравнение позиции повествователя-панегириста в «Епиникионе» и «Слове» Прокоповича, написанных по одному поводу и приблизительно в одно время, тем бо-

лее интересно, что автор варьирует здесь приблизительно одни и те же темы, хорошо знакомые панегирической традиции. Так, например, Прокопович начинает «Епиникион» словами:

Аще когда найпаче ныне нам желати  
 Достоит многих устен, ибо ниже златый  
 Орган рифмотворческий воспети довлеет  
 Нашей ныне радости, ниже что успеет  
 Витийских устен слово (С. 209).

Невозможность описать полтавскую победу «витийскими устами» и желание «многих устен» находим и в «Слове»: «аще бы имел тысячу устен и гортаней, ни единой бы воистинну не было возможности праздновати. Еже бо обычне притворяют велеречивыи риторы, егда, хотяще что до удивления похвалити, глаголют, яко превосходит то всякую похвалу и не обретається ему равное слово то не притворне, но истинне о твоей сей предивной победе глаголем» (С. 23).

Однако даже одни и те же темы Феофан в этих двух произведениях толкует по-разному. Уже на примере приведенных цитат можно заметить в трактовках совершенно определенную тенденцию. В «Епиникионе» автор указывает на неспособность даже украшенного рифмой или «витийством» слова передать все величие победы под Полтавой. В «Слове» же Прокопович описывает такую позицию как притворную («притворяют велеречивыи риторы») и находит необходимым подчеркнуть свою искренность («не притворне, но искренне»). К этому он возвращается и в конце Слова: «А яко же изначала слова моего рекох, тако и в конец нелицемерне и неласкательне исповедую» (С. 37). Совсем небольшой, но важный в свете общего противостояния «модальных» характеристик двух текстов, является трансформация в «Слове» темы «многих устен» по сравнению с «Епиникионом».

В «Епиникионе» автор выражает желание коллектива подданных монарха обладать «многими устами», поскольку витийство бессильно выразить их радость. Итогом рассуждения оказывается обращение к славе:

Ты рци, славо гласная! По всей же вселенной  
 Разсей велегласие вести торжественной! (С. 209) —

«песнь победительная» поется славой, а не подданными монарха. При этом вступление подчеркнуто выдержано

от имени подданных («нам желати», «нашей <...> радости», «наш <...> вопль», «нас не судиши», «супостат наш», «ко нам», «победа нам сия»). Но как только слово передано славе, «мы» исчезает и повествование получает отстраненно-документальный характер:

Уже брань десятое лето начинаше. . .

В таком тоне повествование доводится до победы:

Стелет землю трушие; мало уже люду

Зрится во полках его. И недолго бяше

Сумнительна победа (С. 212).

Торжественная концовка «Епиникиона» вновь дана от лица коллектива подданных и сопровождается поисками «языка» и «слова», которые могли бы достойно описать невиданную победу.

В «Слове» тема «многих уст» дана в другом ракурсе: их отсутствие не мотивирует передачи кому-либо миссии воспеть победу. Повествователь ведет рассказ от первого лица («аще бы имел»), и радость побуждает его к Слову: она так интенсивна, что и тысяча уст не остались бы праздными для выражения этой радости. Наряду с «я» Прокопович использует и «мы», но в «Слове» это имеет всегда совершенно определенный смысл, подчеркивая, что эмоцию, которую переживает повествователь, переживают с ним и окружающие (то есть, что проповедник возбуждает ее в своих слушателях). Индивидуализация повествователя в «Слове» делает подчеркнуто актуальной уже упоминавшуюся тему искренности похвалы.

В противовес документальности основной повествовательной части «Епиникиона», в «Слове» Прокопович выдвигает на первый план описание эмоции — переживаний подданных и своих личных переживаний. Подлинность описания достигается «повторным переживанием» событий полтавской баталии: «Не да аки неведомую вещь возвещу сия, яже всему миру известна и явна суть, но да *воспоминающе, аки вторицею терпяще*, мимошедшыя победы, множае о наставшем благополучии возрадуемся» К этому автор возвращается и в конце «Слова»: «Еже не токмо, егда первее услышахом, но и коль краты в ум приемлем, *играет сердце, воздвизаются удивлением мысли*» (С. 24 и 37).

Одна из важных черт такой эмоции — ее обязательность. Как и в «Епиникионе», в «Слове» Прокопович гово-

рит о гласящей славе. Но если там ей передавалась функция рассказывать о победе, то здесь она упоминается в прямо противоположной связи: «Аще бо и не требует словес наших твоя по всей вселенной проходящая нынешняя слава — толь многия бо имеет проповедники, коль многия слышатели вести сей обретает, — обаче от нашей части *долженство есть, да не молчаливи будем мы <...> радость не терпит в нас молчания*» (С. 23). То есть «Слово» не ставит задачу рассказать о победе и путем сравнений с другими победами оценить ее. Это способ возбудить в слушателе эмоцию, которая должна быть им пережита «по должности» патриота и гражданина («верный твой, — пишет Прокопович, — истаивают от радости» — С. 36).

Возбуждаемая церковной проповедью эмоция — обаятельная и искренняя радость — в соответствии с внутренней логикой жанра (и внутренней логикой анализируемого «Слова») должна вылиться в обращение слушателей ко Всевышнему. Когда повторное переживание события, которому посвящена проповедь, заставит «играть» сердце слушателей и «воздвигнет изумлением мысли», «не ино что на уста приходит, токмо различныя оныя духом святым иногда воспетыя гласы, торжеством вкупе и благодарением божию помощ славящия» (С. 37). Вслед за тем автор обращается к словам псалмов.

В 1717 г. Феофан вновь вернулся к прославлению победы под Полтавой; им было произнесено «Слово о баталии полтавской» в ознаменование годовщины этого события. В «Слове» он вновь подробно останавливается на теме похвалы. Здесь мы находим указание и на обязательность радости, и на то, что радость — это поведение «верных» (тогда как не принадлежащие коллективу «подданных» печалются или находятся в страхе), требование искренности панегирика с описанием эмоции, идущей от сердца, и, наконец, обращение к молитве как наиболее естественной форме выражения такой радости (См.: с. 48 — 49, 59).

Однако похвальное слово представляет лишь один полюс официальной культуры петровской эпохи, при этом более или менее традиционный. На другом полюсе располагались формы гражданского панегирика — явления совершенно нового в русской культуре. Наиболее значительной его разновидностью был триумф. Б. А. Успенский охарактеризовал культуру триумфа в петровскую эпоху следующим образом: «В петровское царствование панегирическая литература переносится из дворца, где она

была достоянием узкого придворного круга, на площадь и становится важнейшим элементом идеологического перевоспитания общества. <...> Возвеличивание монарха осуществляется при этом прежде всего за счет религиозных моментов, вознося императора над людьми, панегиристы ставят его рядом с Богом. Эти религиозные моменты могут отсылать как к христианской, так и античной традиции, которые здесь свободно сочетаются, подчиняясь законам многоплановости, присущей вообще барочной культуре. <...> Панегирические торжества, таким образом, не должны поэтому иметь никакого сходства с церковными обрядами, для которых чужда игра смыслами и которые предполагают тем самым прямое, а не метафорическое понимание. <...> Таким образом, создается особый гражданский культ монарха, вписывающийся в барочную культуру»<sup>3</sup>.

«В 1704 г. по случаю завоевания Ливонии устраивается триумфальный въезд Петра в Москву. <...> Иосиф Туробойский, — продолжает Б. А. Успенский, — составивший описание этого триумфа, специально объясняет, что данная церемония не имеет религиозного значения, а есть особое гражданское торжество»<sup>4</sup>. Иосиф Туробойский говорит об отличии мирской похвалы (триумфа) от религиозной («от божественных писаний» и в «церквех»).

Таким образом, в качестве центрального условия бытования гражданского торжества Успенский выдвигает его отграниченность от религиозного культа, что, по его мнению, зафиксировано в культуре петровской эпохи и пространственно (храм — площадь), и по способу осмысления (прямой смысл религиозной церемонии и условно-метафорический характер триумфа).

Несколько иной аспект выделяет в приведенных выше словах Иосифа Туробойского В. П. Гребенюк в статье «Панегирические произведения первой четверти XVIII в. и их связь с петровскими преобразованиями». Основную функцию пояснений Иосифа Туробойского он видит в том, чтобы доказать читателю правомерность использования языка европейской панегирической культуры. «Все эти эмблемы, аллегории оказались непонятными для большинства зрителей <...> языческие античные боги прежде всего связывались с первыми веками христианства, когда римские императоры-язычники преследовали христиан <...>. Поэтому вскоре после сооружения триум-

фальных врат 1703 г. <...> Иосиф Туробойский в своем обращении к православному читателю, <...> вынужден был дать подробное объяснение»<sup>5</sup>. Оставляя в стороне вопрос о том, в какой степени для человека кремлевской культуры эмблематика и античная мифология требовали разъяснений, подчеркнем, что при таком подходе апелляция автора описания к гражданскому характеру похвалы имеет целью опять-таки разграничить сферу религиозного и светского. Хотя, как замечает сам Гребенюк, «разделение на божественные писания и мирские через непродолжительное время стало условным: мирские античные истории стали обычными в церковных проповедях по случаю славных побед русского оружия» (Пан., с. 21).

Проследим подробнее ход рассуждения, которое Иосиф Туробойский предлагает своему читателю. «Яко мню, — пишет он, — удивилеся православный читателю, яко торжественная сия врата (якоже и в прошлых летех) не от божественных писаний, но от мирских историй, не святыми, но или от историков преданными, или от стихотворцев вымышленными лицами, и подобиями от зверей, гадов, птиц, деревьев, и прочих вещь намеренную изображаем» (Пан., с. 154). То есть автор полагает, что сомнения читателя вызовут, в первую очередь, не сами торжественные врата, а отсутствие в их оформлении параллелей «от священных писаний». Следовательно, сомнительным для зрителя было именно выделение гражданской похвалы в похвалу особую, и Иосиф Туробойский пытается этот факт смягчить. Он указывает, что «от божественных убо писаний в церквах <...> достойная честь воздается»; кроме того, «действия от божественных писаний на определенном месте действуем, якоже всем известно» (речь идет о школьной драме). И весь процесс «прочтения» триумфальных врат, как указывает автор, ведет зрителя от созерцания изображений на торжественных вратах к молитве: «благосердым оком на сие взирая, да увеси еже зриши, сию книжицу чти, слова и числа зде написанная на вратных картинах ища. Богу же с нами воздай благодарение» (Пан., с. 156). То есть автор полагает, что читатель усомнится в статусе чисто гражданского ритуала, где монарх «изобразуется» не «святыми <...> лицами»<sup>6</sup> и доказывает, что этот тип торжества ведет зрителя к традиционной форме выражения эмоции — к молитве. А значит, статус эмоции, которую переживает зритель гражданского ритуала, остается по-прежнему высоким.

В этой ситуации автору рассуждения о сущности триумфа необходимо ответить на вопрос: зачем триумф вообще нужен, если более естественно было бы хвалить монарха «от священных писаний».

Во-первых, обращение к гражданской похвале, по мнению Иосифа, связано с отношением к ней самих чествуемых. Всякое событие имеет свой высокий исторический смысл, который соположим событию библейскому («от священных писаний») — это для автора рассуждения не требует доказательств. Но для человека, который участвовал в таком событии, сопоставить себя с библейскими героями невозможно. Так, в обращении к монарху он пишет, сравнивая Петра с Давидом — победителем Голиафа: «Ты убо преславне, онаго Голиафа победителю, *достолепне глаголати можеши* оная словеса царя израильска: "Пасах аз отца своего стада <...>. Тебе *поистинне слова сия изреши погобает* <...>. Но велми яко аще и равная Давыгу сотворил еси, обаче именем Давидовым *нарещися не изволиши, възбраняюще ти царствующу в тебе смиренномудрию и всякаго тщеславия отвержению"*» (Пан., с. 151). Речь здесь идет не только о личной скромности монарха, к этой же теме автор обращается и в предисловии к «благоговейному читателю». Гражданская похвала способствует тому, пишет Иосиф, что «Растет бо всякому благодушному кавалеру к мужественным делам усердие и дерзость, егда дела и труды своя, с древних от всея вселенныя почтенных кавалеров делами зрит равночестна или тем уподобляема, *ничтоже препинающе всякаго смиренномудрию, еже бы (яко мню) от божественных писаний похваляемое многократне* в некоторых несогласовало» (Пан., с. 154). Таким образом, «от обоих писаний похвальныя венцы составлять» (Пан., с. 154) панегиристов заставляет необходимость показать высокий смысл события и придать событию масштаб, доступный переживанию его участника.

Другой аргумент, который появлялся уже в предыдущем примере, обращен к идее воспитания добродетели граждан: «гражданская похвала труждающимся о целости отечества своего <...> во всех политичных, а не варварских народах установлена, яко да похваленная и почтенная добродетель возрастает» (Пан., с. 154). Однако этот светский, на первый взгляд, аргумент («добродетель возрастает») был популярен в панегирике петровской эпохи в несколько ином повороте. Гавриил Бужинский, например,

в «Слове благодарственном богу триипостасному о полученной победе над Каролом королем шведским» (1719) формулирует его следующим образом: «ничтоже богу толь благоприятно, ничтоже толь любезно <...> яко едино благодарение»; однако такое благодарение нужно именно благодарящему: «сие же и нас творит в страсе и любви божии пребывати, умножает в нас добродетели» (Пан., с. 245–246)<sup>7</sup>.

Двойное осмысление этого аргумента отражает двойной смысл торжества петровской эпохи, будь то «Слово», произнесенное в церкви, или гражданский триумф на площади: похвала победителю (чаще всего монарху) неотделима от «благодарения» Всевышнему.

Таким образом, новый тип торжества — гражданское торжество — формировался не столько в борьбе за использование языка мифологии и эмблематики (что должно было вести к созданию светской культуры, изолированной от традиционных религиозных форм), сколько в борьбе с неискренностью эмоции, которая рождалась в отрыве от переживания религиозного. Актуальным становится вопрос о том, как должен человек переживать событие библейского масштаба и в какой форме такое переживание будет доступно и для царя, и для каждого из его подданных.

Петр I оставил обширную переписку, которая дает материал для того, чтобы сопоставить сомнения и доводы теоретика гражданского триумфа Иосифа Туробойского и реальные переживания царя-триумфатора. Особенно здесь будут интересны письма Петра I лицам, имевшим непосредственное отношение к организации триумфов.

Одной из центральных проблем, интересовавших царя, был вопрос о том, кем и кому будет адресован триумф. 23 февраля 1706 г. Петр писал Б. П. Шереметеву: «за неизреченную Божию милость Господа Бога благодарили с изрядным триумфом»<sup>8</sup> и в тот же день Ф. А. Головину: «за такую Божию милость здесь зело радостно Бога благодарили и трижды из города и флота пушек стреляли» (N 1205). Мы видим, что триумф дублирует в понимании Петра благодарственный молебен и обращен к Богу. Характерны для представлений Петра о триумфе и две другие детали: триумф должен быть выражением радости («радостно Бога благодарили») и его идеологически важным компонентом является пушечная стрельба.

Пушечная стрельба не была простым перенесением западно-европейских норм придворного торжества на русскую почву — ее количество и приуроченность почти к каждому официальному жесту монарха неизменно вызывали удивление иностранцев. «Сказать нельзя, — писал один из современников, — сколько таких празднеств состоялось <...> и на них в воздух было расстреляно невероятно много пороха»<sup>9</sup>.

С точки зрения устроителей триумфов, такая стрельба была необходима. Так, например, в ответ на инструкции Петра I о построении триумфальных ворот А. А. Виниус писал 20 августа 1696 г.: «А чтоб, государь, тот въезд был не молчалив, пристойно ль быть пушечной иль мелкого ружья стрельбы, а над вороты триумфальными трубачам с литавры, о том да будет ваше великого государя изволение»<sup>10</sup>. Предложение Виниуса тем более интересно, что речь идет об организации фактически первого триумфального шествия петровской эпохи, т.е. традиция организации подобного рода торжеств только складывается. Знаменательно и то, что личное «изволение» государя играет решающую роль в процессе формирования нового типа официального торжества.

Пушечная стрельба, сопровождающая триумф, была, таким образом, знаком радости, противостояла молчанию и адресовалась не только к чествуемым, но и Богу. Особую актуальность для Петра приобретал здесь пространственный аспект адресации торжества: он видел в нем спектакль, зрители которого находятся за пределами зримого пространства и который должен был быть увиден и услышан с некоторой максимально удаленной от места торжества позиции. Так, в письме Екатерине 18 июля 1718 г. царь пишет: «Мы в Финляндии <...> и что у вас стреляли про здоровья, все у нас слышно было при самом финском берегу, что слыша и мы не лили»<sup>11</sup>.

Представление о том, что придворное торжество должно быть увидено с большого расстояния, нашло отражение в творчестве придворного шута Петра Кардинала и принца де Вименя, короля Самоедского. Сохранилось несколько его писем к царю. Среди них — «Ведомости, которые присланы от принца и кардинала де Вименя из Санк-Петербурха». Это своеобразная пародия и на новоучрежденную газету, и на толки и отзывы, которые она породила. Содержание письма — насмешка над неко-

торым ученым обществом, в котором участвуют дамы и которое увлечено изучением небесных светил.

Располагаясь на Горе любезных, высота которой 99 миль, ученые мужи и жены «веселие имеют видети всю землю <...> но токмо стрельбу пушечную не слышать, ни бомбардирования, понеже шум толко слышен на воздухе за несколько миль. Оные же люди имеют утеху свою баталии видеть, приступы и походы разных войск и в Гишпании и в ыных государствах, идеже ныне есть война»<sup>12</sup>. Здесь происходит дискредитация символического значения пушечной стрельбы через обращение к естественно-научной аргументации, что подчеркивает несомненную значимость в официальной культуре петровской эпохи именно символических значений «немолчания».

Для Петра важно было и то, что пальба из пушек — форма выражения спонтанной радости подданных, ликования, поэтому она как бы не могла быть «запланирована». Петр отвечал Виниусу на письмо от 20 августа 1696 г.: «изволь изготовить к стрельбе все пушки с довольным порохом и приставить доброва человека, кой бы тово дни сам к нам выехал и просился о стрельбе» (N 123). Важно отметить здесь, что стрельба — «не-молчание» — это форма индивидуального поведения, выражение индивидуального чувства. Хорошо известно, что царь любил стрелять сам. Но стреляла сама и Екатерина. 21 июля 1719 г. она писала Петру: «И про здоровье ваше ели и венгерское пили, а при том сама палила из пушек»<sup>13</sup>. Пушки палили в петровской Москве на каждом боярском дворе и у многих купцов.

В то же время триумф был формой чествования победителей. «Еще о некотором деле предлагаю, — писал царь тому же А. А. Виниусу. — Понеже писано есть: достоин есть делатель мзды своея, того для мню, яко удобно к восприятию господина генералиссимуса и протчих господ, чрез два времени в толиких постах трудившихся, триумфальными портами почтити» (N 122). Интересно, что триумф здесь — не форма воздаяния за службу, не благодарность, исходящая от монарха. Петр лишь один из организаторов «триумфальных порт». Он выступает здесь как равный «генералиссимусу», и в определенных ситуациях они могут меняться ролями. В 1704 г., например, Меншиков писал царю на Олонецкую верфь в ответ на известие об успешном окончании строительства корабля:

«Благодарим тебя за труды твои на Олонце»<sup>14</sup>. В том же году к торжественному въезду Петра в Москву было построено 7 триумфальных ворот, в том числе и одни от Меншикова. Ворота возводятся благодарными согражданами в честь победителей и в похвалу Богу.

Сами по себе триумфальные *ворота* — уже знак, членящий пространство. Однако из приведенного письма царя видно, что они выступают и в качестве своеобразной временной вежи, организующей ритм придворной жизни: чередования «поста», «трудоу» и необходимо следующей за ними «мзды»; строжайших форм самоограничения на службе отечеству и обязательного и полного снятия этих ограничений «по ту сторону» триумфальных ворот.

Использование Петром слова «пост» для определения государственной службы не является метафорой, которая подчеркивает близость внешнего ритма религиозной и государственной жизни. Характер веселья, которое следует за «постом» и «трудоу», в обоих случаях совершенно одинаков — это обязательное веселье в самом широком смысле.

Так, например, в марте 1708 г. Петр во время Великого поста ведет активную переписку с теми, кто составлял «кумпанию», и старается собрать их в Петербурге. Из письма Н. М. Зотову видно, что Петр собирался отметить праздник Пасхи заседанием Всешутейшего собора (N 2297), но болезнь монарха помешала его планам. «Проклятую лихорадку достал, — писал царь, — которою всю Страшную неделю мучим был, и в самой праздник чрез превеликую мочь, толко для людей, у начала заутрени был» (N 2327). Здесь Петр — участник религиозного торжества ориентируется в своем поведении на подданных (молитва монарха не является актом государственного значения и не определяет судьбы государства).

В 1706 г. в Нарве вся программа торжеств, которые Петр планировал в связи с Пасхой, была выполнена: Петр с начала марта собирает здесь Всешутейший собор (N 1162), сохраняя при этом серьезное и вполне благочестивое настроение. 20 марта (Светлое воскресенье приходилось в 1706 г. на 24-е) он пишет Меншикову: «Но токмо еще души наши на мытарствах задерживаются, о чем сам можешь разсудить. Боже, даруй воскресением Своим радость. <...> В вашем доме все отчасти помолились» (N 1173). Резкий перелом настроения царя проис-

ходит в воскресенье, когда он пишет Меншикову: «Сего дни по обедни первое были в вашем доме и разговелись, и паки при скончании сего дня паки окончали веселие в вашем доме. Воистинно, слава Богу, веселы» (N 1179). Среди подписавших письмо были традиционные члены Всешутейшего собора, в том числе протодиакон Петр, Лизет Даниловна, собака царя, которая «лапку приложла», была челом, и «Еким, мужик матерый», верховой карла, которому, как гласила приписка, «позволено на три дня пьяницею быть». Письмо заканчивалось словами: «Боже, дай милость Свою».

Религиозное торжество меняет для Петра, как мы видели, качество времени, причем в диапазоне, значительно более широком, чем это предписывает норма. Как временная вежа триумф близок, в понимании Петра I, религиозному празднику. Так, царь писал Ф. М. Матвееву из Шлотбурга 2 мая 1703 г.: «Ничто иное не могу писать, только слава, слава, слава Богу за исправление нашего штандара, которое дело так при Его помощи легко исправлено <...> 10 часов бомбы метано; неприятель тотчас шамад ударил <...>. Я чаю, что сия ведомость вам приятна будет; не извольте нас забыть у Ивашки» (N 519). Уже из письма Петра виден диапазон эмоций, которые должны пережить подданные (и переживает сам царь): от «слава Богу» до Ивашки Хмельницкого. Но еще отчетливее это видно из ответа Матвеева: «А мы за твое государево здоровье и за таковую превеликую радость благодарили всемилостливого Бога молебным пением, потом благовестили пушечною стрельбою с немалым звоном, и веселил всякого чина при мне будущих обедом с немалым удовольствием до самого веселия и шума»<sup>15</sup>. Здесь мы находим весь список предписанных по случаю победы действий и эмоций: и молебен, и пушечную стрельбу, и обязательное для всех вверенных Матвееву граждан празднование победы с веселием, шумом и удовольствием. Наиболее же лаконично формулирует эту идею царь в письме Меншикову в 1706 г.: «принося жертву Бахусу довольную вином, а душею Бога слава» (N 1417).

Но если встречи с Ивашкой Хмельницким обязательны во время праздничного веселья, то во время «поста» государственной службы на них налагается царем строгий запрет. Показательна здесь переписка Петра с Ф. Ю. Ромадановским в декабре 1697—марте 1698 г. В письме из Амстердама царь укорял Ромадановского за пьянство:

«Перестань знатца с'Ывашкою: быть от него роже дра-ной» (N 214). Тот писал в ответ: «В твоём же письме пи-сано ко мне, будто я знаюся с'Ывашкою Хмельницким; и то, господине, неправда, некто к вам приехал прямой Мос-ковской пьяной да сказал в беспамятстве своем. Неколи мне с'Ывашкою знатца: всегда в кровях омываемся; ваше то дело на досуге стало знакомство держать с'Ывашкою, а нам недосуг»<sup>16</sup>. Главный аргумент Ромадановского в том, что ему «недосуг» — он «в трудах», служит отечеству. Тема досуга остается центральной и в следующем письме царя: «Тут же писано, что Яков Брюс с пьянства свое-го то сделал; и то правда, только на чьем дворе и при ком? А что в кровях, и от того чаю и болше пьете для страху. А нам подлинно нельзя, потому что непрестанно в ученье» (N 231).

В другом случае Петр требует у адмирала Ф. М. Апрак-сина разделять веселье и «пост»: «при чем прошу, и от меня партикулярно донеси, чтоб мернее постился, понеже зело нам и жаль и стыдно, что и так двое сею болезнью адмиралов скончалось. Сохрани Боже, третьего» (N 1844). Здесь выражение «мернее поститься» получает двойной смысл — это и ироническая реплика по поводу невоз-держенности адмирала, и требование «поста» во время служения отечеству.

Тема поста, как известно, была очень острой в связи с полным отсутствием такового как в армии, так и в реальном быту Петра.

Еще одной особенностью триумфального веселья, как уже говорилось, является его обязательный характер. Царь строго следит за участием в праздниках всех при-ближенных. Он заранее в личных письмах оповещает о подготовке торжеств, и на несколько дней столица (а потом новая столица) собирает высших государственных сановников со всех концов страны, отрывая их иногда даже от ведения военных действий. Например, он пишет Наталье Алексеевне в 1708 г.: «понеже нынешний празд-ник будет еще в зиме, того ради хочю, дабы вы зимою доехали в Санкт-Питербурх» (N 2295); Апраксину в 1703 г.: «к Москве поспеть. И еще вашей милости оную це-ремонию застать можно» (N 477); ему же в 1704 г.: «мы конечно будем за неделю до праздника; но вы извольте також поспешить, чтоб вам видеть церемонию входа; из-

вольте ж взять с собою и Склеява (на малое время), также и Англичан, мастеров одних» (N 745).

Таким образом, в представлении Петра, триумф был формой придворного торжества, обращенного, в первую очередь, ко Всевышнему. Для подданных же это — форма, предписывавшая особый тип поведения: им надлежало торжествовать перед лицом Всевышнего и своего монарха. То есть триумф был сложным сплавом элементов светской культуры и привычных религиозных форм переживания праздника.

Тема искренности именно в заданном петровской эпохой ракурсе стала одной из центральных для панегирической литературы в России 1730-х гг. и сохраняла свою актуальность на протяжении всего XVIII в., получая в каждую эпоху свои особые мотивировки и решения.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Классическим примером такого подхода являются работы Л. В. Пумпянского. См.: Пумпянский Л. В. Очерки по литературе первой половины XVIII века. II. Ломоносов в 1742—1743 гг. // XVIII век. Сб. ст. и материалов. М.; Л. 1935; Пумпянский Л. В. Ломоносов и немецкая школа разума // XVIII век. Сб. 14. Л., 1983.
- 2 Образ богу и человеком угодныя владетельницы. При благословения полном наступлении 1736 года. [СПб., 1736].
- 3 Прокопович Феофан. Соч. М.; Л., 1961. С. 459. Далее все ссылки на это издание даются в тексте с указанием в скобках страницы.
- 4 Успенский Б. А. Царь и Бог // Успенский Б. А. Избранные труды. М., 1994. Т. I. С. 174—175.
- 5 Панегирическая литература петровского времени. М., 1979. С. 20—21. Далее ссылки на это издание даются в тексте в скобках следующим образом: (Пан., с. ).
- 6 То, что в петровскую эпоху уподобление «святым лицам» для сторонника культурных реформ не означало «сакрализации» царской власти, специально подчеркивал Феофан Прокопович. Приводя в качестве примера «царской чести» «торжественный во Иерусалим вход Христов», он добавляет: «Ниже да помыслит кто, аки бы намерение наше есь земного царя сравнити небесному. Не буди нам тако безумствовати» (С.76).
- 7 В целом же слово воспроизводит весь рассмотренный нами выше тематический комплекс: «Нам, сынове Российския, празднующе православный день сей свобождения и избавле-

- ния от врага нашего силнаго, всем сердцем и всею душою, всеми силами нашими благодарственная приносить *подоба-ет*. Кто бо по достоянию <...> изрещи возможет? Зде *безчисленных устен и языков требовати* леть есть. <...> сие дарование божие всяк ум превосходит, *всяк глагол побеждает, всяко слово похвальное бесило творит*. Нелеть бы мне было о сих пред сицевыми воспоминати <...> доселе живо во умах своих обдержат тогдашнее действие, но понеже всякие трудности со *сладостью воспоминаются*, от некия в *прославление величии божиих* воспоминаем» (Пан., С. 251).
- 8 Письма и бумаги Петра Великого. СПб. 1887–1977. Т. 1–12. N 1202. Далее ссылки на письма Петра I по этому изданию в тексте с указанием номера документа.
- 9 Точное известие о <...> крепости и городе Санкт-Петербург... // *Беспярых Ю. Н.* Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991. С. 69. Ср. с. 145, 150, 155.
- 10 Письма и бумаги... Т. 1. С. 603–604 (ответ на N 122).
- 11 Письма русских государей и других особ царского семейства. Ч. 1. М., 1861. С. 36–37.
- 12 Письма и бумаги... Т. V. С. 560–562.
- 13 Письма русских государей... Ч. 1. С. 104.
- 14 Письма и бумаги... Т. 1. С. 700. Ответ на N 725.
- 15 Письма и бумаги... Т. 1. С. 532. Ответ на N 519.
- 16 Письма и бумаги... Т. 1. С. 671. Ответ на N 214.

## 1812: ДВЕ МЕТАФОРЫ\*

Р. ЛЕЙБОВ

### 1.

Предлагаемая статья является частью работы, посвященной риторике 1812 года<sup>1</sup>. Такая постановка вопроса нуждается в пояснении.

Прежде всего, объектом нашего рассмотрения будут не «исторические события», а их осознание современниками, а еще точнее — словесное оформление этого осознания в текстах разных жанров (дневники, переписка, воспоминания, официальные документы, церковное красноречие, журналистика, художественная литература).

Мы не претендуем здесь на исчерпывающий анализ обозначенных вопросов. В центре нашего внимания будут преимущественно явления дворянской культуры, конкретнее — ее московского пласта. В дальнейшем мы намерены расширить поле анализа.

Наш подход при этом значительно отличается от «метаисторического» взгляда на источники, как он представлен, например, в книге Х. Уайта “Metahistory” [White]. Уайт справедливо обращает внимание на литературный, риторический характер исторических описаний и пытается обнаружить соответствия между жанрами, типами идеологий и риторическими стратегиями в работах крупнейших историков XIX в.

Основное различие между нашим подходом и «метаисторией» Уайта состоит в материале. Уайт анализирует сложившиеся идеологии, зафиксированные в профессиональных текстах. Мы не отказываемся от рассмотрения

---

\* Статья была написана благодаря поддержке Шведской Королевской Академии. Автор выражает глубокую признательность коллегам, ознакомившимся с работой до ее публикации и высказавшим ряд ценных замечаний.

исторических/историософских текстов, но берем их под интересующим нас углом зрения — как следствия смыслов, выработанных в 1812 г. В центре нашего внимания — непосредственная рефлексия происходящего участниками и ее отражение в текстах, не «язык», а «речь» (в сосюрловском понимании), не идеологии, а «имагологии», образы истории в сознании современников, неотрефлексированные еще «профессионально», но выраженные в текстах и скрывающие богатейший смысловой потенциал. Это следует иметь в виду в дальнейшем — когда мы будем говорить об «историческом» дискурсе, мы будем употреблять это определение именно в таком — довольно специфическом — значении.

## 2.

События 1812 г. были беспрецедентны в русской истории имперского периода. Для того, чтобы лучше понять трансформации дискурса, вызванные ими, необходимо учитывать следующие факторы. Во-первых, впервые враг не просто угрожал империи, но вторгся в ее внутренние области. Кульминацией этого «невозможного», с имперской точки зрения, вторжения в сознании русских 1812 г. стала оккупация Москвы (заметим, что для военных и политиков с обеих сторон было ясно, что это — кульминация русской кампании Наполеона, только завершение ее виделось сторонам по-разному). В сознании современников актуализировалась аналогия с 1612 г., подкрепленная «хронологической рифмой»:

«Эта древняя столица двести лет жила в совершенном спокойствии, и вот теперь она взята ненасытным Наполеоном» (Из дневника Н. Д. Дурново. 7—19. 09. 1812) [1812 год. . . , 92].

Имперское сознание предполагает расширяющееся пространство Империи, которому предстоит вобрать в себя «хаотическое» «периферийное» «варварское» пространство. Выработанный за 100 лет язык не знал способов описания того, что произошло в 1812 г. Когда коллежский асессор Сокольский, оставшийся в оккупированной Москве, начинает свое письмо, содержащее размышления о случившемся с Россией, словами:

«Возвратясь, так сказать, из изгнания, из постыдного, неожиданного плену <...>», [Щукин, 1, 1],— мы склонны видеть в этом странном неразличении внутреннего и

внешнего, изгнания и плена, не только следствие психологической травмы коллежского асессора, но и травмы языка, не имеющего ресурсов для описания происходящего. Другая современница событий, М. А. Волкова, прямо сформулировала это (письмо от 17-го сентября 1812):

«Что сказать тебе, с чего начать? Надо придумать новые выражения, чтобы изобразить, что мы выстрадали в последние две недели» [Волкова, 596].

Этой «травматизации» языка 1812 г., несомненно, способствовала и стремительность событий. Война разворачивалась с исключительной скоростью. Продвижение Наполеона едва ли не обгоняло осознание совершающегося. Столь же кратковременной была и оккупация Москвы (с начала сентября до начала октября). Именно это время было временем наиболее активного *непонимания* современниками происходящих событий и, следовательно, наиболее активного смыслопорождения, поисков языка описания. Это определяет 1812 г. как центр нашего интереса (но не отменяет необходимости обращения к более поздним или ранним источникам).

Еще одним важным моментом, отличающим Отечественную войну (и предшествующие ей антинаполеоновские войны) от войн XVIII в. с Турцией или Пруссией, было окончательно сложившееся к началу XIX в. в России русско-французское культурное двуязычие. Это — помимо упоминавшейся неготовности «имперского» дискурса к описанию вторжения извне, — еще один источник смысловых напряжений между «внешним» и «внутренним». Галлофобия, захватившая дворянское общество в начале войны, несколько не мешала продолжать использовать французский язык в письмах и в устном общении. Это напряжение было глубоко осознано Толстым в процессе работы на «Войной и миром»; для нас важно, что оно осознавалось и современниками эпохи антинаполеоновских войн.

### 3. Нижегородские эмигранты

Историки русской эмиграции, кажется, не задавались вопросом, когда именно русские впервые применили к себе сам термин «эмигранты»? Между тем, это произошло при достаточно необычных обстоятельствах, когда никто из этих «эмигрантов» родину не покидал — во время бегства из Москвы летом 1812 г. М. О. Гершен-

зон в книге «Грибоедовская Москва» обратил внимание на это курьезное словоупотребление [Гершензон, 34] — как и само заглавие книги, он обнаружил его в публикации писем М. А. Волковой (заглавие публикации — «Грибоедовская Москва» — принадлежит переводчице писем М. Свистуновой или редакции «Вестника Европы»). Говоря о москвичах, обосновавшихся в Тамбове, Волкова замечает: «Здесь есть один дорогой в этом отношении <серьезный, несветский — Р. Л.> человек; как и мы, он несчастный эмигрант. Это г. Мертваго <...>» [Волкова, 600].

Разумеется, Волкова употребляет французское слово, по-русски чаще использовали кальку — «изгнанники». Не менее важно и другое — русское слово «изгнанники» было именно идеологической калькой французского термина и сохраняло часть его коннотаций.

Однако и в русском языковом контексте можно встретить слово «эмигранты». В письме к М. С. Воронцову из Петербурга от 5 августа 1812 г. Н. М. Лонгинов сообщает: «Город наполнен нашими эмигрантами из Курляндии и Польши, так что уже в трактирах нет ни угла порожнего. <...> В числе прочих эмигрантов г-жа Бениксен занимает не последнее место» [Самойлова, 156–157].

Мы уже говорили о том, что середина 1812 г. характеризуется в России интенсивными поисками нового языка для описания событий новейшей истории. Как обычно, эти поиски обратились к французскому источнику — таким источником стал язык самоописания французских эмигрантов-роялистов, значительное число которых обосновалось в России и давно уже стало частью московского общества. Мало того, «роялистский дискурс» стал к 1812 г. частью «щегольского дискурса» московских салонов. «Галлороссы», не отказавшись от французских пристрастий, отождествили их со старым режимом, а себя — с жертвами революции, продолжением которой для роялистов была наполеоновская империя. В исключительно колоритных воспоминаниях А. Г. Хомутовой мы находим описание московского светского общества лета 1812 г.: «В ту пору мы с М. Н. Дурновой часто езжали обедать к ее брату <...> Н. Н. Демидов, желтый, измятый, сгорбленный, убитый воздухом родины <...>, жиденьким голосом изливал свои патриотические чувства и бранил Французов за то, что по их милости он вынужден был покинуть любезную ему Францию. Е. А. Демидова

спрашивала: что станется с эмигрантами, если они все возьмутся за оружие? «Они будут расстреляны», холодно отвечал Д. Н. Дурнов, понюхивая табак из своей прекрасной табакерки с эмалью. Она бледнела, а другие улыбались или поглядывали на малахитовые часы, которые она, как рассказывали, остановила в минуту своего прощанья с графом Полиньком, командиром Апшеронского полка <... ><sup>2</sup>» [Хомутова, 313].

Характерно, что москвичи, симпатизировавшие некогда первому консулу Бонапарте, то есть не ориентировавшиеся на «старый режим», занимали к 1812 совершенно противоположную позицию — это объединяет столь несхожих людей, как С. Глинка и Карамзин. Знаменателен эпизод их встречи в 1812 г.: Глинка, заметив экипаж уезжающего из Москвы Карамзина, крикнул ему: «Куда же вы бежите от своих французов?» (в обстановке, сопутствовавшей оставлению Москвы, эти слова могли спровоцировать толпу). Глинка в запальчивости отождествил Карамзина 1812 года с «путешественником-галлороссом». Но Карамзин, переживший, как и Глинка, в начале столетия период увлечения Наполеоном, стоял в это время на совершенно других позициях. Летом 1812 г. он близок к Ростопчину, живет в его доме и пишет И. И. Дмитриеву: «<... > Готов умереть за Москву, если так угодно Богу <... > Хорошо, что имеем градоначальника умного и бодрого, которого люблю искренно как Патриот Патриота» [Письма Карамзина, 164].

Таким образом, еще до бегства из Москвы сложился образ «французского русского эмигранта», и еще до бегства этот образ мог оцениваться по-разному. С одной стороны, московский дворянин мог отождествлять себя с эмигрантом-роялистом, противником Наполеона, бегущим от «сына Революции» или сражающегося с ним, как граф Полиньк и многие другие. С другой стороны, Революция могла рассматриваться как следствие старого режима и «французского духа» вообще (сходные мысли высказывались и французскими публицистами, в частности, Шатобрианом). При таком взгляде уподобление русских дворян, оставляющих Москву вместо того, чтобы умереть у ее стен, французам-эмигрантам сопровождалось осуждением. Глинка отводил эту роль Карамзину, а Карамзин — В. А. Пушкину. В том же письме к Дмитриеву Карамзин, противопоставляет Василия Львовича «воину»-Жуковскому: «<... > отправил жену и детей в Ярославль

<...>; сам живу у графа Ф. В. Ростопчина <...>. Наши стены ежедневно более и более пустеют: уезжает множество <...> Я благословил Жуковского на брань: он вчера выступил отсюда на встречу к неприятелю. Увы! Василий Пушкин убрался в Нижний!<sup>3</sup>» [Письма Карамзина, 164—165]

Как известно, ростопчинская патриотическая риторика не совпала с планами командования, и всенародная оборона Москвы не состоялась. Состоялся массовый исход из Москвы. Согласно подсчетам А. Г. Тартаковского, всего 5,7% дворян остались в столице [Тартаковский — 73]. Остальные бежали в имения или представлявшие безопасными города: в первую очередь, Владимир (здесь сосредоточилось московское городское и губернское начальство и значительная часть чиновников), Ярославль, Тамбов, Казань и Нижний Новгород. Два последних центра были наиболее привлекательны по близости к волжским имениям многих московских дворян и отдаленности от боевых действий. Описание типичных маршрутов московских дворян летом — осенью 1812 г. см. в анонимном дневнике, опубликованном В. В. Каллашем [Каллаш, 54].

«В Нижнем и в Казани, куда удалилось большинство Москвичей, уже стали веселиться и давать балы», — замечает Хомутова [Хомутова, 327] (речь идет о времени после оставления Москвы неприятелем).

Уже сложившийся стереотип «эмигранта» получил с бегством из Москвы новый импульс. Русские изгнанники продолжали активно пользоваться языком изгнанников французских. В тех же воспоминаниях мы находим образцы надписей, оставляемых московскими дворянами на стенах постоялых дворов по пути бегства:

“Le mot adieu, ce mot terrible!”

“Distinguez-vous et ne m’oubliez pas!” [Хомутова, 322]

Кажется, сами «эмигранты» не замечали парадоксальности своего положения изгнанников на родине: описывая гуляния в Рыбинске, Хомутова замечает: «<...> но Волга утратила для нас свою прелесть и поэзию: ее волны отражали в себе небо изгнания» [Хомутова, 323] (эта формулировка тем более примечательна, что представление о Волге как о «матери русских рек» сформировалось не только к 1830-м гг., когда были написаны воспоминания Хомутовой, но уже к началу XIX в.).

Нижний Новгород и Казань стали центрами сосредоточения московских дворян не только по названным причинам — сюда переводились московские канцелярии, перевозились архивы, в Нижний были высланы проживавшие в Москве иностранцы (см. переписку нижегородского губернатора А. М. Руновского с Ростопчиным [Щукин, 1, 148]). В первую очередь внимание следует обратить на Нижний Новгород. Как писал С. Глинка: «<...> Носился слух, будто бы он <Нижний — Р. Л.> заменит сгоревшую Москву» [С. Глинка, 97].

Нижний и был в некотором смысле заменой Москвы — здесь собралась большая часть московского общества. Приведем несколько свидетельств:

«Все наши московские знакомые в Нижнем, исключая Пушкиных и г-жи Лобковой с матерью. В начале волнения все бросились в Нижний, считая его безопасным убежищем, а теперь, поуспокоившись, стараются забраться в отдаленные места <...> На прошлой неделе меня забросали письмами из Нижнего» [Волкова, 269].

«Здесь я нашел всю Москву <...>» [Батюшков, 2, 232] (письмо Вяземскому от 3 октября).

«Нижний заступает пока место Москвы: видим людей, которых там видали <...>» [РА, 233] (Карамзин, письмо Вяземскому от 14 ноября).

В Нижнем находились в течение более или менее длительного времени Карамзин, А. Ф. Малиновский, Бантыш-Каменский, С. Глинка, Батюшков, В. Л. Пушкин, то есть значительная и авторитетная часть московских литераторов (следует учитывать, что в это время Москва имела репутацию центра русской литературы). Такая концентрация литературных сил в одном месте делала Нижний своеобразным центром русской интеллектуальной жизни 1812 г. — на это 30 лет спустя обратил внимание автор статьи в «Северной Пчеле» «Общество литераторов в Нижнем Новгороде, в 1812 году» [СП]. Для нас значимо, однако, не только пребывание в Нижнем большого количества литераторов, но и то, что Нижний в это время представлял именно всю Москву, «грибодовскую», светско-салонную, щегольскую, являясь в этом смысле (если помнить об «эмигрантском дискурсе») предшественником «русского Парижа» и «русского Берлина» ХХ века: «У Архаровых собирается вся Москва или, лучше сказать, все бедняки <...>, и я хожу к ним учиться физиономиям и терпению.

Везде слышу вздохи, вижу слезы — и везде глупость. Все жалуются и бранят французов по-французски, а патриотизм заключается в словах: *point de paix!*» [Батюшков, 2, 232] (письмо Вяземскому от 3 октября).

Позднее, вспоминая в занятом русскими войсками Париже это время, Батюшков напишет Е. Г. Пушкиной: «<...> все забываю и мысленно переносюсь в Нижний, то на площадь, где между телег и колясок толпились московские франты и красавицы, со слезами вспоминая о бульваре, то на патриотический обед Архаровых, где от псовой травли до подвигов Кутузова все дышало любовью к отечеству, где Василий Львович, забыв утрату книг, стихов и белья, забыв о *Наполеоне, гордящемся на стенах гревного Кремля*, отпускал каламбуры, достойные лучших времен французской монархии, и спорил до слез с Муравьевым о преимуществах французской словесности, то на балы и маскарады, где наши красавицы <...> прыгали до первого обморока в кадриях французских, во французских платьях, болтая по-французски Бог знает как, и проклиная врагов наших» [Батюшков, 2, 281—282].

При этом значимым является и то, что в перспективе аналогии с 1612 г. Нижний был далеко не нейтральным местом. Отсюда началась освободительная война в 1612 г. Сопоставление с современностью, иронически изображенной в письмах Батюшкова, вызывало у С. Глинки гораздо более горькие чувства: «Нижний 1812 года обширною отмежевался полосой от того Нижняго 1612 года, когда на стогнах его гремел голос мясного продавца Космы Минина Сухорукова: "Продадим дома наши! заложим жен и детей!" На берегах Волги, при слиянии с нею Оки, в стенах Нижняго большой Московский свет соединялся с большим Нижегородским светом. Были визиты, был бастон, были званые обеды. Представьте картину 1612 и картину нынешнего 1812 года, и вы увидите в исполинской России две России, различные внешним видом, нравами, обычаями и образом мыслей. Как это и отчего? Сочинитель записок замечает, Историк дополняет» [С. Глинка, 119—120].

Характерным образом и здесь С. Глинка оказывается дословно близок к Карамзину, писавшему И. И. Дмитриеву из Нижнего: «Кто на Тверской или Никитской играл в Вист или Бостон, для того мало разницы: он играет и в Нижнем» [Письма Карамзина, 168].

Эта линия обличения «смешения французского с нижегородским», отразившись в «Письмах...» Муравьева, дошла до Грибоедова и Загоскина. Смешные черты нижегородского «эмигранта»-галломана сконцентрировались для современников в лице В. А. Пушкина. Выработанная еще до 1812 г. пародийная маска щеголя-галломана, несомненно, служившая в «карамзинистском» кругу — прежде всего у И. И. Дмитриева — цели отвести от Карамзина обвинения в «обезьянничании» (как маска князя Шаликова вобрала в себя пародийные черты «Ахалкина»), успешно сочеталась с новым статусом «эмигранта». Характерно, что Василий Львович стал автором своеобразного гимна нижегородской и шире — московской — «эмиграции» 1812 года. Его послание «К жителям Нижнего Новгорода» (процитированное и в приведенном выше письме Батюшкова) было настолько популярно, что его даже положили на музыку. Как вспоминает А. Ф. Кологривова, «Нам Москвичам казалось, что мы лишились своей родины, дорогой нашей Москвы <...> Я помню, как однажды в это время мы были у <...> Федора Григорьевича Сухотина, тоже Москвича; одна из дам собравшегося общества запела романс, сочиненный Алексеем Михайловичем Пушкиным <ошибка, подтверждающая, что ирония судьбы преследовала В. А. всю жизнь — Р. А.>, удалившемся в то время в Нижний-Новгород. Мелодическим голосом своим передавала она слова:

Примите нас под свой покров,  
 О Волжских жители берегов;  
 Мы все друзья здесь, все родные,  
 Все дети матушки-Москвы.

Слезы покатались у всех бывших тут; некоторые с трудом могли сдерживать рыдания» [Кологривова, 344 — 345].

История сочинения этого «романса» неизвестна, известно, однако, что еще до бегства в Нижний В. А. Пушкин был первым претендентом на его создание, причем отчасти мог быть спровоцирован своим злым гением и родственником (сам В. А. называл его исключительно «однофамильцем») Алексеем Михайловичем: «В. А. Пушкин, возводя глаза к небу и подымая руки, декламировал: "Москва, России дочь любима!" Мы грустно слушали его, когда внезапно появившийся Алексей Михайлович ударил его по плечу со словами: "да полно тебе чужим умом жить!"» [Хомутова, 321 — 322]

«Василий Львович испускал громкие вздохи, и Алексей Михайлович заметил ему: "Да напиши ты жалобную песенку; теперь как раз время развернуться твоей плаксивой Музе. Впрочем, этот дурак ничего не умеет сделать во время: он и не подозревает, что его отечество на краю гибели, как во время оно не подозревал, что я был в связи с его женой"» [Хомутова, 318].

Конечно, следует иметь в виду, что мемуары Хомутовой написаны спустя много лет, однако соотношение ролей, очевидно, изображено верно: Батюшков в письме Вяземскому из Нижнего [Батюшков, 2, 238, письмо от 7 декабря] сообщает, что А. М. Пушкин пародировал послание Василия Львовича (эта пародия до нас не дошла). Не один злоязычный А. М. Пушкин видел в этом послании комическую сторону. По свидетельству Вяземского, «Ив. Ив. Дмитриев любил Пушкина, но не щадил его своими шутками: он говорил, что эти стихи напоминают ему колодника, который под окном просит милостыню и оборачивается с ругательством к уличным мальчишкам, которые под окнами дразнят его» [ОА, 243].

Дмитриев имеет в виду, очевидно, контраст между «жалобным» рефреном и патетикой заключительных строф послания (текст см.: [Поэты... , 673—674]). Примечательно, что сам В. Л. Пушкин пытался вернуться к образу «нижегородского изгнанника» — посетив в 1814 г. Нижний, он пишет послание «К Д. В. Дашкову», воспроизводящее размер и темы Батюшкова-Грессе («Мои пенаты»), указывая на географическую локализацию места изгнания:

Мой милый друг, в стране,  
Где Волга наравне  
С берегами протекает  
И, съединясь с Окой,  
Всю Русь обогащает  
И рыбой, и мукой,

Я пресмыкаюсь ныне <... > [Поэты... , 674],

в текст этого послания также введены упоминания о 1812 г.; сопоставление с письмом В. Л. Пушкина Вяземскому 1812 г. см. в прим. Е. Н. Дрыжаковой [Поэты... , 867].

Фигура В. Л. Пушкина в Нижнем становится живым воплощением того «осуждающего» модуса отношения к «эмигранту», о котором мы упоминали выше. Интересно отметить подчеркивание материальных потерь при опи-

сании бедствий Василия Львовича (напр., в письме Батюшкова Вяземскому от 3 октября, где также отмечено: «От печали Пушкин лишился памяти и насилу вчера мог прочитать Архаровым басню о соловье. Вот до чего мы дожили!»).

Но когда те же авторы пишут о себе и своих потерях, тон, разумеется, меняется. На первый план выступают потери не материальные, а экзистенциальные. Отсюда столь распространенные аналогии из священной и древней истории и оплакивание Москвы.

«Мы, изгнанники московские, как магометане, будем считать годы Эгирюю» (Карамзин — Вяземскому) [РА, 230].

«В какое время живем! Все кажется сновидением» (Карамзин — Дмитриеву) [Письма Карамзина, 165 — 166].

«Живем день за днем, не зная, что будет с нами. Я теперь как растение, вырванное из корня: лишен способов заниматься, и едва ли когданибудь смогу возвратиться к своим прежним мирным упражнениям. Не знаю даже и того, как и где буду жить» (Карамзин — Дмитриеву) [Письма Карамзина, 167].

«Здесь тускл зари пылающий венец,  
Здесь мрачен день в краю опустошений;  
И скорби сын, развалин сих жилец,  
Склоня чело, объятый думой Гений  
Гласит на них протяжно: нет Москвы!  
И хладный прах, и ружнувшие своды,  
И древний Кремль, и ропотные воды  
Ужасной сей исполнены молвы» [Вяземский, 61 — 62].

Ю. М. Лотман справедливо указал на исключительное значение «Тарутинского периода» Отечественной войны для формирования идеологии людей 14-го декабря [Лотман-63]. Следует отметить, что параллельно Тарутинскому лагерю с его гораздо более спокойным отношением к совершившемуся факту сдачи Москвы (особо популярен был здесь стих Крюковского «Россия не в Москве, среди сынов она» — ср. [Хомутова, 324]; [Шаховской, 33—34]) существует нижегородская (и не только) «эмиграция», переживавшая не отступление, а поражение и во многом определившая взгляды людей, прошедших через нее. Это — не только люди старшего поколения (Карамзин, В. Л. Пушкин и др., чьи воззрения уже успели сформироваться и претерпели мало изменений). Среди «эмигрантов» — практически вся женская часть москов-

ского общества, игравшая исключительно большую роль в жизни старой столицы.

Здесь нам придется затронуть тему типологического сходства «нижегородского» (условно говоря, поскольку те же настроения и обороты речи были свойственны и москвичам в других местах) дискурса с эмигрантским в точном значении слова. В редакторском предисловии, сопровождавшем публикацию писем М. А. Волковой к В. И. Ланской, было указано на такое сходство: «Странное впечатление производят письма Волковой, где на чистейшем французском языке выражается величайшая ненависть к французам; можно подумать, что это — легитимистка, ненавидящая Бонапарта» [ВВ, 577].

«Большие» политические эмиграции (их не так много в истории Европы), как известно, порождали сходные явления (ряд таких сопоставлений в скрытом виде включает, например, «Мыслитель» М. Алданова). Укажем здесь на две темы, одинаково актуальные для этих дискурсов и для «эмигрантского» дискурса 1812 г. Прежде всего, это — потеря всего, что составляло жизнь, утрата жизненных смыслов. Помимо приведенных высказываний, напомним известное место из письма Батюшкова Вяземскому от 3 октября: «Москвы нет! Потери невозвратимые! Гибель друзей! Святыня, мирные убежища наук, все оскверненное толпою варваров! Вот плоды просвещения или, лучше сказать, разврата остроумнейшего народа, который гордится именами Генриха и Фенелона! Сколько зла! Когда будет конец? — Ужасно! Ужасно!... К чему прибегнуть? Чем наслаждаться? <...> Вот что меня влечет в армию <...>» [Батюшков, 2, 232].

Заметим, что композиционно этот фрагмент предшествует процитированному выше ироническому описанию нижегородского общества; письмо построено как градация регистров и жанров — от элегии к сатире и затем опять — к философской медитации: «Истинно много, слишком много зла под луною; я в этом всегда был уверен, а ныне сделал новое замечание: человек так сотворен, что ничего вполне чувствовать не в силах, даже самого Зла: ибо с потерей Москвы можно было бы потерять жизнь; потерю Москвы немногие постигают. Она, как солнце, ослепляет. Мы все в чаду» [Батюшков, 2, 232–233], (ср. также известное письмо Гнедичу: [Батюшков, 2, 233–237], а также стихотворное послание

«К Д<ашков>у», включенное Батюшковым в элегический отдел «Опытов...»).

В связи с этим следует вспомнить о идеологическом кризисе и изменениях стилистики Батюшкова, справедливо связываемых исследователями с 1812 годом. Можно предположить и глобальное влияние описываемого дискурса на формирование канона «унылой элегии» (в недавней книге В. Э. Вацуро рассматривается другой аспект темы — роль 1812 года в формировании «исторической элегии», см. [Вацуро, 134—193]). Такая постановка вопроса представляется актуальной, помимо Батюшкова, прежде всего для Вяземского, для которого «Нет Москвы!» (ср. в процитированном письме Батюшкова) станет тематическим и эмоциональным лейтмотивом вплоть до известного отклика на толстовскую эпопею.

Второй момент, объединяющий «эмигрантские» дискурсы, — парадоксально сочетающееся с ненавистью к «новой власти» (в нашем случае — к завоевателям) ощущение собственной вины в происходящем, зафиксированное в большом количестве эмигрантских текстов (речь не идет о крайне правом спектре эмиграций, хотя и здесь выражались мнения о виновности разложившейся власти). В нашем случае, казалось бы, ни о какой вине речи быть не может. И тем не менее рассуждения о причинах катастрофы часто оборачиваются самоосуждением: «Когда я думаю серьезно о бедствиях, причиненных нам этой несчастной французской нацией, я вижу во всем Божию справедливость. Французам обязаны мы развратом; подражая им, мы приняли их пороки, заблуждения, в скверных книгах их почерпнули мы все дурное. Они отвергли веру в Бога, не признают власти, и мы, рабски подражая им, приняли их ужасные правила, чванясь нашим сходством с ними, а они и себя и всех своих последователей влекут в бездну. Не справедливо ли, что где нашли мы соблазн, там терпим и наказание? Одно пугает меня, — это то, что несчастья не служат нам уроком: несмотря на все, что делает Господь, чтобы обратить нас к себе, мы противимся и пребываем в ожесточении сердечном» [Волкова, 597].

«<...> Провидению благоугодно показалось пожурить нас за нашу приверженность к отчизне и доказать нам, что народ, столько лет нами безрассудно боготворимый, очень, очень далек от просвещения, благодравия, во-

инских доблестей и чистой совести прямого Россиянина» (Сокольский, опубл. в: [Щукин, 1, 1]).

Ничего нового для нас в этих рассуждениях нет — это тот же «обличающий» антигалломанский дискурс, сформировавшийся еще до 1812 г. Интересно, однако, что вопреки всякой логике, галломания объявляется едва ли не причиной разразившихся несчастий<sup>4</sup>. При этом отметим интересную особенность в употреблении личных местоимений, позволяющую, как кажется, различить оттенки в «эмигрантском» дискурсе, отличающие его от антифранцузской риторики, скажем, Ф. Глинки. В «Письмах русского офицера» Ф. Глинка продолжает развивать весьма актуальную в семантической ауре 1812 года тему «варварства» французов: «Кстати, не надо ль в вашу губернию учителей? Намедни один француз, у которого на коленях лежало конское мясо, взламывая череп недавно убитого своего товарища <обратим внимание, как перифраз имплицитно речит тему "людоедства" французов, ср. аналогичное оживление метафоры в повести Алданова "Святая Елена, маленький остров" — Р. Л.<sup>5</sup>>, говорил мне: "Возьми меня: я могу быть полезен России — могу воспитывать детей!" Кто знает, может быть, эти выморозки пооправятся, и наши расхватают их по рукам — в учителя, не дав им даже и очеловечиться. . . » [Ф. Глинка, 175].

«Каждый <из французов, обнаруженных в печи крестьянской избы — Р. Л.> предлагал свои услуги. Один просился в повара; другой в лекаря; третий — в учителя! Мы дали им по куску хлеба, и они поползли под печь.

В самом деле, если вам уж очень надобны французы, то вместо того, чтоб выписывать их за дорогие деньги, присылайте сюда побольше подвод и забирайте даром. <...> Покажи кусок хлеба — и целую колонну сманишь! <...> За недостатком русских мужчин, сражающихся за отечество, они могут блистать и на балах ваших богатых помещиков <...>! И как ручаться, что эти же запечные французы, доползя до России, <...> не вскружат голов прекрасным россиянкам, воспитанницам французенок!.. Некогда случилось в древней Скифии, что рабы отбили у господ своих, бывших на войне, жен и невест их. Чтоб не сыграли такой шутки и прелестные людоеды с героями русскими!..» [Ф. Глинка, 177]

Отметим разделенность «русского офицера» — повествователя Глинки и обличаемого общества (он употребляет

местоимения 2 или 3 лица). Сходное отношение к «эмигрантам» мы видели у С. Глинки. Напротив, москвичи, пережившие бегство, склонны были обращать упреки к себе самим (если не индивидуально, то корпоративно). Инвективы Глинок представляют собой разные модусы общественной сатиры, рассуждения Волковой находятся в совершенно другой жанровой плоскости.

Еще один важный момент, позволяющий различить, условно говоря, «тарутинский» и «нижегородский» пласты внутри этого периода касается отношения к народу. Для тарутинских идеологов, как и для людей армии вообще характерно отождествление понятий «народ» и «армия». Конечно, «романтический» образ действий партизанских соединений Давыдова, Сеславина и Фигнера выходил за рамки привычной «регулярной» организации армии, но в целом она оставалась неизменной. Такое отношение к народу (как к солдатам, о благе которых печется командир, и которые всецело ему подчинены) впоследствии будет характеризовать мировоззрение многих деятелей тайных обществ<sup>6</sup>. В известном отзыве Грибоедова о «прапорщиках», собирающихся перевернуть Россию, подчеркивается не только молодость заговорщиков (среди них были и люди по понятиям того времени пожилые, и уж конечно было достаточно много штаб-офицеров), но и общий характер замышляемого.

Для людей, переживших бегство, отношение к народу было иным. Здесь можно опять наблюдать интересную параллель с жизненными стратегиями реальных эмигрантов, искавших выходов в ассимиляции. В определенном смысле изгнание московских дворян было для них «эмиграцией в народ». Когда мы говорим о том, что 1812 год способствовал сближению сословий, мы упускаем из виду довольно напряженный характер этого сближения. И опять можно констатировать разницу между панегириками русскому народу, исходившими из лагеря тарутинских идеологов и тем, что писала по этому поводу, например, Волкова: «Чем ближе я знакоюсь с нашим народом, тем более убеждаюсь, что не существует лучшего, и отдаю ему полную справедливость» [Волкова, 599].

Для С. и Ф. Глинок восхваление народных доблестей во время войны — подтверждение давно установленных теорий. Для Волковой и подобных ей московских аристократов это — удивление открывателя нового континента. В высшей степени характерна в этом смысле сцена из 1-й

книги «Былого и дум», где документальная основа изображаемых событий соединяется с художественным их осмыслением. Мать Герцена, француженка, не говорящая по-русски, остается одна в деревне. Крестьяне приходят сообщить ей о смерти родственника — дяди Герцена, но молодая женщина не понимает их и путается, принимая их сочувствие за начало бунта и расправы. Герцен, которому суждено было стать самым красноречивым защитником крестьянской общины и самым известным русским эмигрантом своего времени, начинает свою биографию с описания матери, брошенной в чуждую, кажущуюся враждебной, непонятную, но на самом деле дружелюбную к ней среду русских крестьян. Трудно сомневаться в символическом смысле, вложенном Герценом в эту сцену. С этой точки зрения интересно сопоставить известные расхождения Грибоедова с участниками тайных обществ и его неосуществленный замысел трагедии о 1812 году, начинающейся с изображения бегства дворян из обреченной на сдачу Москвы (герои трагедии осуждают это бегство) и имевшей в плане продолжения изображение участия главного героя трагедии — крепостного крестьянина во «всеобщем ополчении без дворян» (ср. приведенный выше отрывок из «Записок» Глинки и пассаж из «Загородной поездки» Грибоедова о «двух народах» внутри русского народа: «Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он конечно бы заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые еще не успели перемешаться обычаями и нравами» [Грибоедов, 395–396]).

Разумеется деление людей 1812 года на «тарутинцев» и «нижегородцев» невозможно, как невозможно и полное противопоставление этих двух дискурсов. Реальные траектории личных дворянских биографий не укладываются в 1812 г. в противопоставление «фронта» и «тыла». Среди людей, причастных обеим сторонам дворянской жизни этого года, Вяземский, отправившийся в Бородино «защищать Лубянку» (как сам он заявил одной знакомой московской даме, встретившей его тогда), а затем решивший, что

«После падения Москвы, после не совсем удавшейся попытки отстоять ее на Бородинском поле <Вяземский post-factum смягчает характеристики — Р. Л.>, мне не-

призванному воину, казалось и делать более нечего под воинскими знаменами» [ОА, 232] (сходным образом поступил и С. Глинка).

Грибоедов вступил в армию, но его полк, сформированный в Москве, сразу же, не вступая в боевые действия, был эвакуирован в Казань. Батюшков разделил судьбу «изгнанников» и бежал от мучительных вопросов в действующую армию (ср. его письмо, процитированное выше).

Так или иначе судьбу «эмигрантов» пережили многие московские дворяне. Несомненно, однако, что когда мы говорим об этом явлении, необходимо учитывать возрастную и половую (или точнее, — если не забывать о Н. Дуровой — гендерный) моменты.

Последний момент важен. Салонная московская культура, на которую ориентировался в своей языковой реформе Карамзин, была культурой «женской» [Лотман — Успенский]. Воспоминания Хомутовой сохранили особую атмосферу этого мира с ее культивацией духа парижских салонов дореволюционной эпохи. В обозначившемся окончательно к 1812 г. идеологическом и языковом противостоянии Москва была оплотом «карамзинизма», а Петербург — «архаизма» (мы отдаем себе отчет как в приближенности терминов, смешивающих литературный, лингвистический и идеологический аспекты, так и в суммарности картины, в которую с трудом вписывается, например, деятельность того же С. Глинки). Соединение «нового слога» и патриотической тематики, делавшее возможным новую формулировку национальной идеи и имплицитовавшее многие последующие перипетии и трансформации этой идеи, получило в 1812 г. мощный импульс. «Изгнание в народ», сопровождавшееся драматическими обстоятельствами, поставило перед московскими дворянами вопрос о национальной самоидентификации. Ответ на этот вопрос предстояло формулировать не на старомосковском «фамусовском» и не на петербургском «официальном» языках, но на языке московского салонного общества, на языке французском и «женском».

Темы 1812 года, патриотизма, женской культуры, русско-французского двуязычия в сочетании с мотивом эмиграции находятся в центре пушкинского прозаического отрывка, известного под заглавием «Рославлев».

Как известно, Пушкин опубликовал «Отрывок из неизданных записок дамы (1811)» анонимно и с пометой «с французского» (в оглавлении) в III томе «Современника» на 1836 г. Текст носит откровенно полемический характер по отношению к роману Загоскина «Рославлев». Пушкин мастерски играет с текстом Загоскина, не опровергая излагаемые в «Рославлеве» «факты», — общий ход сюжета Загоскина подтверждаются пушкинской рассказчицей; многие важные фабульные детали — как, например, обстоятельства знакомства Полины с Сеникуром в Париже и характеристики героев (Владимир Рославлев у Загоскина и брат повествовательницы Алексей у Пушкина, родители Полины, отчасти Сеникур) — не подтверждаются. Мистификация Пушкина переключает статус романа Загоскина из фикционного в исторический (на что отчасти претендовал и сам автор «Рославлева»), пушкинский же отрывок, будучи метафикцией, претендует на статус подлинной истории.

Повествовательница «Отрывка...» иронизирует над сообщаемыми Загоскиным проявлениями патриотизма и, не отрицая «антипатриотического» поведения Полины (Пушкин сохраняет имя героини «Рославлева»), объясняет их отвращением героини к этой массовой в 1812 г. ненависти к недавно боготворимым французам, мотивируя тем самым обвинения героини в антипатриотизме, отразившиеся, по мысли пушкинской повествовательницы, и в загоскинском романе.

Смысл литературной полемики, которая здесь не менее значима, чем идеологическая, в утверждении психологической исторической прозы в противоположность морализаторско-идеологическому роману Загоскина, соединяющего черты «нравственно-сатирической» низовой литературы и романтического «вальтер-скоттовского» романа.

Неоконченность пушкинского текста, конечно, мнимая. В духе своих излюбленных «открытых» финалов, провоцировавших исследователей на архивные поиски и на реконструкции окончаний, Пушкин намечает главные противопоставления своего текста и загоскинского «оригинала» (если следовать логике пушкинской мистификации, оригиналом, как раз, являются «Записки одной дамы»). Помимо жанровых противопоставлений «фикции» и «документа», «психологической» и «апсихологической» прозы, укажем на ряд других линий полемики.

«Мужской» прозе Загоскина Пушкин противопоставляет «женскую» прозу «одной дамы». Пушкинский «Отрывок...» не может называться «Рославлевым» уже потому, что не Рославлев (вернее — не брат повествовательницы, с которым обручена пушкинская Полина) является его главным героем. Название, данное публикаторами на основании пушкинской карандашной надписи на полях рукописи, противоречит логике пушкинского текста (заметим, что и в других случаях Пушкин не склонен был, «вышивая по старой канве», сохранять заглавия чужих текстов).

Русской прозе противопоставляется «перевод с французского». Здесь необходимо отметить отступление повествовательницы о женском чтении и французском языке, достаточно прозрачно раскрывающее мистификацию не только для пушкинистов, держащих в памяти все соответствующие параллельные места, но и для любого читателя «Онегина» [Пушкин, 6, 201].

Итак, «мужскому» русскому роману о Рославлеве Пушкин противопоставляет женские французские записки о Полине<sup>7</sup> (все определения, разумеется, — в кавычках). Пушкин узнает на периферии загоскинского романа сюжет «пленника», им самим введенный в русскую литературу и возвращается к собственному сюжету в новом жанре (косвенным подтверждением такого предположения может служить целый ряд обращений Пушкина к этому сюжету в 30-е гг.). Читатель вправе предположить, что Полина, несмотря на свой пылкий патриотизм, смогла оставить отечество и последовать за Сеникуром (этого нет в тексте Пушкина, но, напомним, Пушкин не опровергает фабулу Загоскина, дается иное толкование смысла «истинного» происшествия). Пушкин предлагает более тонкий, по сравнению с загоскинским, анализ культурной ситуации эпохи. Там, где Загоскин видит черное и белое, «галломанов» и «патриотов», Пушкин различает оттенки. Примечательно, с какой точностью Пушкин воспроизводит описанный выше сатирический образ «русского французского эмигранта»: «Вдруг известие о нашествии и воззвании государя поразили нас <...> Светские балагуры присмирели; дамы вструхнули. Гонители французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществе решительный верх, и гостиные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюр, кто отказался

от лафита и принялся за кислые щи. Все закаялись говорить по-французски; все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни» [Пушкин, 6, 205—206].

Но пушкинский отрывок, как нам представляется, отражает и иную трактовку темы.

Черновик пушкинского фрагмента написан в 1831 г., сразу после выхода загоскинского «Рославлева». Возвратившись к тексту в 1836, Пушкин не опубликовал всего написанного ранее. В опубликованном фрагменте Пушкин минимализирует, по сравнению со всем написанным текстом, полемику с Загоскиным (мы не касаемся сейчас таких важных вопросов, как связь отрывка с историческим и политическим контекстами 1831 и 1836 гг. и журнальный контекст публикации, внутри которого «Отрывок...» оказывался соположенным с фрагментами записок Н. Дуровой, напечатанных во II томе «Современника»). В варианте «Современника» нет ни описания московского довоенного общества, ни упомянутой нами мотивировки «антипатриотического» поведения Полины в начале войны, ни контрастных по отношению к загоскинским характеристик жениха Полины (герой-патриот Рославлев у Загоскина и светский повеса у Пушкина) и Сеникура. Прямая полемика с Загоскиным сведена к упомянутой реплике «дамы» по поводу французского языка и французских романов.

В связи с этим особое значение приобретает эпизод, который завершает опубликованную часть пушкинского фрагмента. Он посвящен описанию визита в Москву *M-me de Staël*, встречи знаменитой изгнанницы с Полиной и современного (отнесенного к 30-м гг.) разговора об этих событиях: «До чего доходит охота к злословию! Недавно рассказывала я все это в одном очень порядочном обществе. "Может быть" — заметили мне — *M-me de Staël* была не что иное как шпион Наполеонов, а княжна \*\*\* <Полина — Р. Л.> доставляла ей нужные сведения» — Помилуйте, — сказала я, — *M-me de Staël*, десять лет гонимая Наполеоном, благородная, добрая *M-me de Staël*, на силу убежавшая под покровительство Русского Императора, *M-me de Staël*, друг Шатобриана и Байрона, *M-me de Staël* будет шпионом у Наполеона!... «Очень, очень может статься», — возразила востроносая графиня Б. —

«Наполеон был такая bestia, а M-me de Staël претонкая штука!» [Пушкин, 6, 204–205].

Эмигрантка де Сталь, в которой обвинительницы Полины готовы, вопреки всякой исторической достоверности, увидеть наполеоновскую шпионку (еще один выпад против антиисторического романа Загоскина), чтобы таким образом объяснить ее внимание к Полине, сближается с русской героиней, которой, как может предположить читатель, предстоит пережить бегство из Москвы в деревню и последовать за границу за любимым человеком (первый момент, предполагающийся в «Отрывке...» и действительно имеющийся в неопубликованной части<sup>8</sup>, контрастен по отношению к сюжету Загоскина, его Полина, напротив, приезжает в занятую Наполеоном Москву с мужем — французским офицером). Это сближение имеет еще один, очень важный оттенок значения. Довоенный московский свет, как мы помним, весьма пронизательно спроецирован Пушкиным на французскую придворную культуру времен Людовика XV<sup>9</sup>. Родоначальница романтического движения во Франции де Сталь (обратим внимание на упоминание имен Шатобриана и Байрона) неслучайно сталкивается с носительницей «ампириного» патриотизма Полиной. Герои Загоскина недостоверны именно с этой — историко-культурной — точки зрения. Его Полина — героиня позднеромантической прозы. Пушкин наделяет героиню специфической риторикой начала XIX в. Н. Н. Петрунина замечает, что Маша Миронова и Полина соотносятся между собою, «как ода и лирическая поэзия» [Петрунина, 278]. Оставляя в стороне факт бесспорной принадлежности оды к лирическому роду, заметим, что «жанр» Полины — не ода, а скорее предромантическая трагедия<sup>10</sup> (напомним здесь хорошо памятное Пушкину стремление Вяземского объявить Озерова романтическим драматургом)<sup>11</sup>. Непонимание московским обществом (и — в подтексте — Загоскиным) Полины и де Сталь — это непонимание разных культур (в 1812 г. свет не понимает нового, в 1830-х он уже не помнит старого). Пушкин фиксирует близость «эмигрантского» и «патриотического» дискурсов внутри дискурса 1812 года, специфическую «женскость», связывающую два этих языка и их предромантический характер<sup>12</sup>.

#### 4. Наполеон и Самозванец (предварительные заметки к теме)

В статье «Историзм Пушкина» Б. В. Томашевский обратил внимание на эпизод в «Борисе Годунове» (далее — БГ), не имеющий параллелей в «Истории...» Карамзина, и прокомментировал его: «<...> В тексте трагедии можно найти следы <...> исторических аналогий. В сцене «Царская дума» Басманов произносит следующие слова:

Государь,

Трех месяцев отныне не пройдет,  
И замолчит и слух о самозванце;  
Его в Москву мы привезем как зверя  
Заморского в железной клетке. Богом  
Тебе клянусь.

В исторических документах мы не находим этих слов о железной клетке. И, однако, это типическое слово имеет историческое происхождение. <...> Маршал Ней, поставленный Людовиком XVIII во главе войск против Наполеона, <...> перешел на его сторону. <...> Перед отъездом <...> Ней имел свидание с королем, которое обвинитель на его процессе формулировал так: "7 марта, поцеловав руку короля и поклявшись ему в минуту притворного возмущения, без какого-либо намека со стороны короля, не наводившего его ни на самую мысль, ни на примененное им выражение, — поклявшись привезти ему Бонапарта в железной клетке (*dans une cage de fer*), он отправился из Парижа и 14 числа того же месяца, через 7 дней, читал своим войскам мятежный манифест и провозглашал Бонапарта императором"» [Томашевский, 153]; ср. также: [Эткинд].

Такая параллель представляется легко объяснимой в перспективе интереса Пушкина к историческим аналогиям и феномену самозванчества вообще (к теме Наполеон — Самозванец см. также [Реизов]); укажем также на пушкинскую параллель Наполеон — Борис (в связи с убийством герцога Энгиенского)<sup>13</sup>.

Пушкинская трагедия была первым значительным произведением, в котором соединение разбойничье-самозванческой и наполеоновской тем вышло на поверхность культуры. Этому сцеплению мотивов суждена была долгая жизнь. Как показал Ю. М. Лотман, оно восходит к архетипическим представлениям об оборотничестве и в прозе романтического и постромантического периода

является частной манифестацией более широкого мотива «Джентльмена-разбойника» [Лотман-79]. Если в гоголевской «Повести о капитане Копейкине» (и в «Мертвых душах» в целом) этот мотив выступает в скрытом виде, то например, у Лермонтова он развернут. Мы имеем в виду не столько «Вадима» (там «разбойник» не спроецирован прямо на Бонапарта, но должен соотноситься со всем рядом героев байронического и «неистового» романтизма), но, в первую очередь, ст. «Предсказание», написанное в 1830 г. (заметим, что 1830-31 гг. — время активизации воспоминаний о 1812 годе, ср. выше о пушкинском отрывке). Лермонтов предсказывает наступление «черного года»,

Когда детей, когда невинных жен  
 Низвергнутый не защитит закон;  
 Когда чума от смрадных, мертвых тел  
 Начнет бродить среди печальных сел,<sup>14</sup>  
 Чтобы платком из хижин вызывать,  
 И станет глад сей бедный край терзать;  
 И зарево окрасит волны рек:  
 В тот день явится мощный человек,  
 И ты его узнаешь и поймешь,  
 Зачем в руке его булатный нож;  
 И горе для тебя! — твой плач, твой стон  
 Ему тогда покажется смешон;  
 И будет все ужасно, мрачно в нем,

Как плащ его с возвышенным челом [Лермонтов, 140].

Последние два стиха, представляющие собой характерную для раннего Лермонтова семантико-синтаксическую невнятицу («мрачный плащ с возвышенным челом»), отсылают к написанному ранее ст. «Наполеон» с рефренными повторами «челом»/«(две руки, сложенные) крестом», в свою очередь, проецирующими лермонтовский текст (точнее — конгломерат текстов) на известное место в описании кабинета Онегина (гл. 7, XIX):

<...> столбик с куклою чугунной  
 Под шляпой с пасмурным челом,  
 С руками, сжатыми крестом.

Соединение «булатного ножа» и «плаща с возвышенным челом» (вообще говоря, характеризующее «фольклорные» поиски раннего Лермонтова) — это уже не аналогия, как в БГ. Перед нами «русский Бонапарт» («как он ... но только с русской душой»), слившийся с лирическим героем и закономерно (в указанной смысловой

перспективе) превратившийся в разбойника. Нет необходимости здесь проследить развитие этой линии в русской литературе — от самозванческой темы у Достоевского («Иван-царевич» и Федька) через контаминацию с русским ницшеанством и вплоть до мнимого «сына лейтенанта Шмидта», носящего следы своего бонапартизма в виде татуировки с портретом Наполеона на груди (иронический рефлекс мотива «царских знаков»).

Заметим, что «самозванческая» ипостась Наполеона отразилась весьма своеобразно и в «Войне и мире»: Наполеон здесь метафорически никак не соотнесен с Самозванцем-Отрепьевым, но зато представляет собой самозванца метонимического — часть, деталь, претендующую (с точки зрения Толстого — безосновательно) на значение целого (в то время, как и сама возможность постижения значения целого — Истории, — по Толстому, проблематична). Возведение этой метонимии в степень — фраза Наполеона *“La vibration de mon mollet gauche est un grand signe chez moi”*. Толстой со своим всегдашним недоверием к любым «профессиональным» видам симптоматических знаний (не исключая, однако, пристальное внимание самого автора к «симптоматике») доводит метонимию до абсурда.

Такой взгляд на наполеоновские подтексты в БГ, однако, позволяет увидеть в пушкинской трагедии не только аналогии с Бонапартом периода 100 дней (помимо приведенного места, Томашевский рассматривает под этим углом зрения реплику Пушкина в сцене «Ставка»:

Дмитрия ты помнишь торжество

И мирные его завоеванья,

Когда везде без выстрела ему

Послушные сдавались города,

А воевод упрямых чернь вязала [Пушкин, 5, 316].

Это место, действительно напоминает о продвижении Наполеона с острова Эльба к Парижу).

Однако мы можем усмотреть в БГ соотнесенность не только с Наполеоном во Франции, но и с Наполеоном в России. Когда тот же герой БГ несколько ранее говорит (сцена «Москва. Дом Шуйского»):

А легче ли народу?

Спроси его. Попробуй самозванец

Им посулить старинный Юрьев день,

Так и пойдет потеха, — [Пушкин, 5, 258].

трудно отделаться от ассоциаций, также связанных с Наполеоном, но в совершенно другой ситуации. Как известно, в 1812 г. сильны были страхи, что Наполеон попытается спровоцировать в России народное восстание, объявив крестьян свободными (позже Наполеон ставил себе в заслугу, что не сделал этого<sup>15</sup>).

Однако дело даже не в конкретных высказываниях героев, но в целом соотношении событий «Смутного времени» и 1812 года, которое пронизывало тексты самых разных жанров и в 1825 г. ощущалось еще очень остро. Когда в БГ пытаются (часто справедливо) разглядеть исторические аллюзии и параллели (с царствованием Александра или со «100 днями» Наполеона), на эту параллель закрывают глаза именно в силу того, что она не является параллелью в смысле классических «применений», очевидных зрителям и читателям драм предшествующей эпохи (например, «Димитрия Донского» Озерова).

Таким образом, требуется рассмотреть «наполеоновские» подтексты БГ не только в перспективе будущего развития наполеоновского мифа, но и с точки зрения вписанности трагедии в дискурс 1812 года. Здесь мы найдем не только многочисленные сближения ситуаций 1605—1612 и 1805—1812 (см. выше у Н. Дурново и С. Глинки), но и продиктованное ими сближение центральных фигур:

Чудо дивное, небывалое,  
 Во святой Руси совершилося;  
 После двух веков славы, щастия,  
 Страна Русская сокрушилася  
 Так как в старь была, в время слезное,  
 Во нашествие злых Литовских сил.

\*\*\*

Сокрушил ее не *Сармат* лихой,  
 Не *Отрепьев* злой, самозванной царь;  
 Погубил ее враг неистовый,  
*Корсиканец* злой, ада выродок.

(А... Н... «Русская песня во время занятия Москвы неприятелями, посвященная любезным соотечественникам») [Собрание... , 1, 155];

Самозванец злой, нечестивый враг,  
 Бич невинности, враг спокойствия <... >  
 Развратил сердца, соблазнил умы  
 Многочисленных европейских стран.

(А... Н... «Песнь соотечественникам по прогнании злодеев из земли Русской») [Собрание... , 1, 156].

Сближение Наполеона с Лжедмитрием могло находить поддержку в реальном самозванчестве Наполеона<sup>16</sup>. Характерно, однако, что этот мотив актуализировался не в связи с созданием французской империи, а в обстановке похода на Москву. Герои оказались уподобленными не на том основании, которое предполагалось бы в аналогическом суждении. Аналогия превратилась в метафору. Сопоставление корсиканского выскочки, ставшего императором французов, и беглого монаха, севшего на московский престол, — пример аналогии. Парадоксальное сближение разоряющего Москву французского самозванца с самозванцем русским, за 200 лет до того вторгшемся в Москву и приведшим туда поляков, — метафора. Здесь в создании образа "Наполеона-Отрепьева" играют роль и самозванчество Бонапарта (семантическая общность), и сходство контекстов, в которых выступают герои. Эти два механизма сближения находятся в конфликте (игнорируется важнейшая культурная оппозиция «своего» и «чужого»). В результате Бонапарт предстает не просто одним из самозванцев в мировой истории, но очередным русским самозванцем, а нашествие — едва ли не повторением столь еще памятной всем пугачевщины.

В приведенных цитатах обращает на себя внимание их контекст — имитация народного стиха, ориентированная на изображения фольклорного сознания и/или на соответствующую аудиторию. Это, думается, связано с другим важным аспектом дискурса 1812 года. Нашествие «двухнадесяти языков» могло восприниматься не только как нашествие Антихристового воинства (в этом направлении работали, как известно, и публицистика, и патриотическая лирика, и церковное красноречие — см. [Гаспаров, 83—118]). Но, как обычно, Антихрист трудноотличим от Спасителя. Наполеоновское нашествие могло интерферировать и с народноутопическими легендами о «добром царе».

«Александр доносили, что не только среди крестьян идут слухи о свободе, что уже и среди солдат поговаривают, будто Александр сам тайно просил Наполеона войти в Россию и освободить крестьян <... > А в Петербурге уже поговаривали (и за это был даже отдан под суд некий Шебалкин), что Наполеон — сын Екатерины II и идет от-

нять у Александра свою законную всероссийскую корону, после чего и освободит крестьян<sup>17</sup>» [Тарле, 273].

Таким образом, в народной культуре, самозванчество Наполеона никак уже не соотносилось с его коронацией. С этой точки зрения отождествление с Отрепьевым-Лжедмитрием, конечно, призвано было противостоять этим тенденциям. Насколько они были значимыми в обстановке 1812 г., можно судить по тому, что сам Наполеон проявлял интерес к Пугачеву и даже затребовал в московских архивах пугачевские материалы.

Следует учитывать, что трансформации исторического дискурса в 1812 г. в значительной степени были вызваны активным взаимодействием различных культурных кодов. Мы видим, как тема «Наполеон-Отрепьев» проникает в «высокую» литературу через имитацию фольклора.

Мы нисколько не претендуем на исчерпывающее описание здесь образа Наполеона в дискурсе 1812 года — это потребовало бы не только учета огромного количества не попавших в поле нашего зрения источников (русских и иностранных) и расширения хронологического горизонта (как известно, «наполеоновский миф» уже сложился и был отрефлектирован в России к 1812 г.). Однако нам представляется, что указанная черта «наполеоновского мифа», составляя, как можно предположить, специфически русский его извод, способна объяснить некоторые важные моменты в дальнейшем развитии представлений о герое истории.

Здесь следует вернуться к БГ. Уже первые его критики (Надеждин) указывали на бицентричность пьесы. Действительно, Самозванец не в меньшей степени, чем Борис, является ее главным героем. Как мы знаем, Пушкин ставил себе целью написать первую в России романтическую драму (трагедиям Озерова он в таком определении отказывал). В центре внимания Пушкина, помимо проблем языковых и жанровых (построение романтического действия), была и проблема героя. Обращение к теме 1612 года диктовало погружение в семантическую ауру 1812, хорошо памятную и известную Пушкину — это не менее важно для понимания БГ, чем указание на конкретные параллели. «Странное сближенье» Самозванца и Наполеона — лишь одна из манифестаций смысловых сдвигов, порожденных 1812 годом. Нам представляется, что само понимание Пушкиным проблемы исторического героя

ближайшим образом связано с семантическими механизмами этого взрыва, на которые мы попытались указать выше. Неудивительно, что на первый план выдвигается Самозванец — эта фигура как нельзя лучше демонстрирует тропологичность (оборотничество, если позволить себе кальку) героя истории, понимаемого в этой смысловой перспективе. В знаменитом сопоставлении Шекспира и Мольера (в "Table Talk") Пушкин писал: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков <...> У Мольера Скупой скуп и только; у Шекспира Шайлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера Лицемер вложится за женою своего благодетеля — лицемера; спрашивает стакан воды — лицемера. У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с тщеславною строгостью, но справедливо; он оправдывает свою жестокость глубокомысленным суждением государственного человека; он обольщает невинность сильными увлекательными софизмами <...> Анджело лицемер, потому, что его гласные действия противуречат тайным страстям!» [Пушкин, 8, 90—91].

«Шекспиризм» БГ хорошо известен и не раз был предметом исследования. Интереснее другое — тот же принцип лежит в основе взглядов Пушкина на героев истории. Александр предстает «двуязычным» Арлекином *commedia dell'arte* («К бюсту завоевателя»). Противоположным образом изображены исторические герои другого типа — Наполеон (ст. «Герой»), Петр или Самозванец. Их противоречия — не ложь, а многообразие ликов, каждый из которых — истинен. Квинтэссенция такого взгляда на героя — сцена «Ночь. Сад. Фонтан» в БГ, где Самозванец становится «сыном Иоанна», признаваясь Марине в обмане. Во всех героях этого типа представлена не просто борьба противоположных начал или чувств, но одновременное присутствие разных, кажущихся несовместимыми и лежащих в разных сферах, качеств. Как замечает по поводу Самозванца К. Эмерсон: "Pushkin's Pretender succeeds because he makes history, or rather, he *makes it up*, he listens, absorbs, literally becomes the many personalities that others need to see in him. He assumes a different identity with almost every scene: he is a novice in the monastery, a townsman in the Tavern Scene, a Polish nobleman while courting Marina, a troop commander

on the Russian border, a little boy mourning his horse after his first defeat" [Emerson, 100].

Очевидна связь этих воззрений с поздними взглядами Пушкина на историю, равно как и с его представлениями о природе поэтического творчества и с пресловутым пушкинским «протеизмом»<sup>18</sup>.

Для нашей темы значимо, что эти принципы отношения к герою вырабатываются в ауре 1812 года, наполненной примерами совмещения значений именно такого рода. Сквозь образ карамзинского Отрепьева просвечивает не просто «всадник, Папою венчаный»<sup>19</sup>, но уже подвергшийся сложным трансформациям образ Наполеона, инкорпориовавший в себя черты русского самозванца.

## 5.

Мы рассмотрели два эпизода, касающихся семантических преобразований, которые претерпел язык исторических (само)описаний в 1812 г. И материал, и метод, и цели предложенных нами заметок значительно отличались друг от друга. Общим было стремление объяснить последующие явления русской культуры с помощью обращения к языку, вырабатывавшемуся в обстановке Отечественной войны.

Как нам представляется, оба семантических сдвига, описанных нами в этих заметках, могут быть интерпретированы в рамках рабочей гипотезы о метафоричности дискурса 1812 года<sup>20</sup>. Этим определением мы не стремимся исчерпать всей сложности объекта; заметим, однако, что многие другие культурные явления этого периода — в том числе столь значимое, как интенсивный диалог между разными пластами культуры, приводивший к появлению новых неожиданных сочетаний «старых», устоявшихся внутри своих субкультурных пластов, семантических единиц, — также соответствуют этой гипотезе.

Сходство семантических механизмов в двух рассмотренных случаях состоит в игнорировании столь существенного для культуры противопоставления, как оппозиция «своего» и «чужого». И описание «своего» бегства как «чужой» эмиграции, и изображение «чужого» узурпатора как «своего» самозванца — расшатывают «спокойный» семантический механизм пропорционального параллелизма. Неудивительно, что такие мутации были возможны в обстановке 1812 г. Нам хотелось, в первую очередь,

обратить внимание на последующее закрепление некоторых из этих семантических мутаций. Творчество Пушкина неслучайно оказалось при этом в центре нашего внимания. Б. М. Гаспаров справедливо указывает на значение апокалиптической риторики 1812 года, опосредованной иронической словесной игрой «Арзамаса», для понимания пушкинских текстов, в том числе и хронологически, и тематически удаленных от событий 1812 г. и от арзамасских битв с «беседчиками». Известно неизменное и напряженное внимание Пушкина к проблемам истории и исторического героя. Эти проблемы в начале XIX в. не только требовали обращения к предшествующей историографической традиции и к новейшим европейским поискам, но и неизбежно обращали к плодотворным семантическим парадоксам языка людей 1812 года.

Чем были вызваны семантические мутации, о которых шла речь выше? Нам кажутся неплодотворными односторонние попытки объяснить их «внешними» причинами (историческая реальность «травматизирует» дискурс) или, напротив, «внутренними» тенденциями культуры («романтическая» эпоха вырабатывает романтический язык описания). Конечно, при всей противоречивости термина «романтизм», очевидна типологическая близость этого большого стиля и описанных нами механизмов. Примечательно, что в зависимости от взгляда, мы можем рассматривать романтическую культуру и как причину, и как следствие этих механизмов. Если говорить о русской литературе XIX в., равноочевидны и влияние (пред)романтических тенденций в эпоху наполеоновских войн (и несколько ранее), и бурный рост романтической литературы именно в послевоенный период (о связи с дискурсом 12-го года таких романтических жанров, как «унылая элегия» и историческая драма, шла речь выше, можно было бы также рассмотреть взаимодействие с романтической эпикой — балладой и ранними поэмами).

Как любил повторять Ю. М. Лотман, любая война представляет собой диалог, в котором стороны обмениваются не только пушечными ядрами и ружейными выстрелами, но и смыслами. Учитывая диглоссный характер русской дворянской культуры и общую сложность культурно-языковой ситуации в России, вызванной всем ее развитием в XVIII в., следует отметить, напряженный и парадоксальный характер этого диалога. Так или иначе, русский дискурс в этом диалоге и продолжал тен-

денции собственной культуры, и реагировал на реплики «собеседника». Когда Милорадовича называют «русским Мюратом» [Ф. Глинка, 58] или когда русские публицисты полемически развивают «варварскую» тему, конкретные высказывания или фигуры речи не могут быть успешно осмыслены вне этого диалога. Диалог, в который вступила культура в 1812 г., осложнился тем, что он имел для русских и очень напряженный внутренний аспект. И «мы» (русские) и «они» (французы/Европа) не были в нем представлены как монолитные участники. Это сказалось и на представлении о главных действующих фигурах — Наполеоне и Александре/Кутузове. Более того, можно сказать, что диалог сопровождался активным конструированием этого «мы», образа коллективного первого лица. Этот процесс, как мы пытались показать, требует более пристального изучения и не может быть исчерпан повторением (бесспорно, справедливых) формул о «росте национального самосознания» или «патриотическом подъеме» в 1812 г.

Сходным образом, старая схема «1812 год породил 14 декабря 1825 года» недостаточна не только потому, что игнорирует иные источники идеологии заговорщиков. Значения антинаполеоновских войн — и прежде всего Отечественной войны — для развития русского литературного, исторического, идеологического и политического дискурсов (вряд ли их можно рассматривать изолированно на протяжении всего XIX в.) гораздо разнообразнее и обширнее, чем формирование идеологии тайных обществ.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Риторика 1812 года исследована недостаточно: нет обобщающих работ по манифестам Шишкова, наследию Ростопчина, «Сыну Отечества» и «Русскому Вестнику», массовой патриотической лирике. Значительными явлениями в этой области представляются нам работы Ю. М. Лотмана [Лотман-58], [Лотман-63], [Лотман-94], монография А. Г. Тартаковского, посвященная мемуарной традиции [Тартаковский-80] и недавняя книга Б. М. Гаспарова [Гаспаров], рассматривающего в качестве одного из источников мотивов и стилистики Пушкина публицистику и поэзию 1812 г. как единый смысловой континуум с доминирующим апокалиптическим сюжетом.
- 2 Ошибка мемуаристики, обусловленная временной дистанцией. И. И. Полиньяк, будущий член Южного общества, командо-

вал Апшеронским полком позже — в кампанию 1814 г. В 1812 он был командиром 1-й гренадерской роты лейб-гвардии Литовского полка.

- 3 Отметим здесь смену стилистических регистров в двух фразах, разделенных восклицанием.
- 4 Это позволяет отличать рассуждения подобного рода от традиционных суждений о наказании за грехи, напр.: «Гнев божий на всех нас, за грехи наши» (Из дневника 1812-го г. Д. М. Волконского [1812 год. . . , 146]).
- 5 Ср.: [Тарле, 375–376].
- 6 К сложившимся еще в период издания «Русского Вестника» представлениям С. Глинки о государстве как семье, в которой «дети» (крестьяне/солдаты) подчинены «отцам», в свою очередь являющимся «слугами» Отечества см.: [Киселева].
- 7 У Загоскина в «Рославлеве» значима градация персонажей в их отношении к французам: от «страшного» романтического ненавистника французов «артиллерийского офицера» (чьим прототипом послужил Фигнер) до купца-предателя, изображенного с ориентацией на официальную ростопчинскую версию верещагинского дела. Градация не представляет большого разнообразия — «гуманный патриотизм» Рославлева явно вызывает наибольшие авторские симпатии. Характерно, что пособниками врага у Загоскина могут быть только представители недворянских сословий (ямщик-крестьянин — от невежества, молодой купец — от «образованности»). В дворянском сословии именно женщины (Радугина, мать Полины, сама Полина) в наибольшей степени подвержены французскому влиянию. Ср. «мизогинные» оттенки в приведенном выше фрагменте Ф. Глинки.
- 8 Значимо, что именно отъездом семьи Полины из Москвы завершил Пушкин перебеленную часть своего фрагмента.
- 9 Не можем отказать себе в удовольствии процитировать еще один фрагмент из воспоминаний А. Г. Хомутовой. Следует еще раз напомнить — написанные много лет спустя, эти воспоминания ориентированы на изображение бесповоротно ушедшего мира «Москвы Тверского бульвара» — отсюда суммарность описаний и ряд анахронизмов, но это же приводит к созданию удивительно ярких сцен со сгущенным временным колоритом (это, между прочим, также напоминает описание «старой России» внутри русского эмигрантского курса XX в.): «<12. 08. 1812 — Р. А.> на бульваре господствовало уныние, и Бахметев увлек нас к себе в дом, где предавались только любви, курению и забавам. Граф Салтыков и князь Гагарин в сюртуках, без галстуков, лежали на диванах, держа в руках длинные трубки, которые закуривали им дочери и племянницы хозяина, а те целовали их в лоб в знак благодарности. В отдаленном уголке госпожа Николаева

пересеменивала то с Обрезковым, то с графом Санти; это подало повод Томасу сказать, что она измеряет широту и долготу. Хорошенькие горничные в зеленых передниках разносили чай и подавали ужин. Бахметев пересыпал разговор двусмысленностями, а Евреинов и Нарышкин распевали:

Si l'on mettai è l'eau fraîche

Toutte filette qui pêche,

L'eau fraîche serait enfin

Plus chere que le vin!» [Хомутова, 315–316].

- 10 Патетическая риторика Полины у Пушкина, если продолжить сопоставление с загоскинским «Рославлевым», — это скорее риторика антагонистов Полины у Загоскина: Рославлева, кн. Радугина, явно спроецированного на фигуру Шишкова, и других в избытке имеющих там резонеров. Несомненно, такой парадоксальный поворот сюжета у Пушкина полемичен по отношению ко всей концепции «Рославлева», согласно которой «<...> всякая частная любовь должна умолкнуть перед <...> общей и святой любовью к отечеству» [Загоскин, 133–134]. В то же время, Загоскин модернизирует дискурс своих патриотов в духе риторики николаевского времени, а Пушкин стремится к исторической достоверности. Пушкин парадоксально соединяет ампирическую риторическую героиню в духе Ф. Глинки с сюжетом, прямо полемическим по отношению к процитированному месту из «Писем русского офицера».
- 11 Такой взгляд, несомненно, расходился с пушкинским пониманием романтизма в 20-е гг. Это, однако, не должно опровергать предположения о предромантической перспективе, в которой Пушкин рассматривал культурные явления начала XIX в. Об ориентации бытового поведения людей начала XIX в. на театр см.: [Лотман-73].
- 12 Несомненно, значимым при этом является и то, что де Сталь — эмигрантка наполеоновского времени, а не первых волн послереволюционной эмиграции. Это позволяет увидеть в пушкинском отрывке рефлекс описанной нами двойственности по отношению к «эмигрантской» теме. «Век Людовика XV» противопоставлен новой эпохе. Ср. противопоставление двух поколений французских эмигрантов — «старых грешников с поношенными ленточками» ордена св. Людовика и молодых рыцарственных «школьников несчастья» — в мемуарах Вигеля [Вигель, 33].
- 13 См. [Муравьева, 18–19]. К теме «Наполеон — Борис» см. также замечания К. Эмерсон [Emerson, 15; 18; 235].
- 14 Эта часть «предсказания» соотносится с эпидемией холеры 1830 г. Лермонтовское пророчество, таким образом, весьма зловеще.

- 15 Именно так Наполеон поступал в других странах, например, в 1805 г. в отторгнутой от Пруссии части Польши.
- 16 С точки зрения русского словоупотребления Наполеон был не «самозванцем», а «узурпатором» (не «Лжедмитрием», а «Борисом») — он нисколько не претендовал на генеалогические права на престол; напротив — неоднократно подчеркивал это свое отличие от государей старой Европы.
- 17 Интересно, что в этих толках Наполеон выступает в роли Павла, к смерти которого был причастен Александр, — это «предсказывает» коллизию «БГ» (с инверсией «детоубийство»/«отцеубийство»).
- 18 Ср. «Заключение» в монографии Б. М. Гаспарова и особенно процитированные им в примечаниях суждения В. В. Виноградова: [Гаспаров, 320–321; 359].
- 19 К теме «Самозванец-всадник» ср. реплики Самозванца («Мой бедный конь...») в сцене «Лес». Здесь мы решительно не согласны с трактовкой этой ипостаси героя, предложенной К. Эмерсон. Учитывая пушкинские коннотации слов «всадник» и «конь» (последнее — одно из десяти самых частотных существительных у Пушкина), эту сцену следует толковать, представляется нам, как речь «не мальчика» (как вслед за Пушкиным — персонажем драмы делает исследовательница), «но мужа» — воина, причастного европейской рыцарской культуре. В связи с приведенной цитатой из X главы «Онегина» заметим, что здесь Пушкин сознательно игнорирует самозванческие коннотации знаменитого символического жеста Наполеона — во время коронации в Нотр-Дам 2 декабря 1804 г. Наполеон вырвал корону из рук папы Пия VII и самостоятельно возложил ее на себя.
- 20 Говоря о метафоре, мы основываемся на достаточно широком понимании природы тропов, предложенном в работе Ю. М. Лотмана «Риторика»: «Эффект тропа образуется не наличием общей "семь" <...>, а вкрапленностью их в несовместимые семантические пространства и степенью семантической удаленности несовпадающих "сем" Семантическая удаленность может образовываться за счет разных аспектов непереводаемости замещаемого замещающим. Это могут быть отношения одно-/многомерности, дискретности/непрерывности, материальности/нематериальности, земного/потустороннего и проч. И на уровне референта, и при сопоставлении соответствующих семантических пространств границы заменяемого и замещающего настолько несопоставимы, что задача установления соответствия приобретает иррациональный характер» [Лотман-1981, 15].

Можно возразить, что при таком понимании размывается граница между метафорой и метонимией (Лотман сам ука-

зывает на это, ссылаясь на Grimaud). Выше мы попытались продемонстрировать метафоричность исторических текстов 1812 года на примерах, пока же заметим, что для нас от-правной точкой было противопоставление метафорического дискурса не метонимическому (как в классических работах Р. О. Якобсона), а параллелистическому. Пропорциональный параллелизм — фигура традиционно широко используемая в рассуждениях об истории и связанная с пропорциональной аналогией. Пропорциональные конструкции могут организовывать разные уровни высказывания об истории — от фразового до текстового (Плутарх). Функция таких конструкций в историческом дискурсе очевидна — обнаружение общего в удаленных друг от друга ситуациях; если одна из ситуаций принадлежит настоящему времени, параллелистическая конструкция может претендовать на прогностическую силу.

#### ЛИТЕРАТУРА

- БАТЮШКОВ: *Батюшков К. Н. Сочинения*: В 2 т. М., 1989.
- ВАЦУРО: *Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры*. СПб, 1994.
- ВЕ: *Волкова* (предисловие редакции)
- ВИГЕЛЬ: *Записки Ф. Ф. Вигеля*. Ч. 2. М., 1892.
- ВОЛКОВА: *Грибоедовская Москва в письмах М. А. Волковой к В. И. Ланской / Пер. с фр. и предисловие М. Свистуновой // Вестник Европы. 1874. Кн. 8 (Август). С. 595.*
- ВЯЗЕМСКИЙ: *Вяземский А. А. Стихотворения*. Л., 1958 («Библиотека поэта», Большая серия).
- ГАСПАРОВ: *Гаспаров Б. М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка*. Wien, 1992. (Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 24).
- ГЕРШЕНЗОН: *Гершензон М. О. Грибоедовская Москва*.
- ЧААДАЕВ: *Чаадаев П. Я. Очерки прошлого*. М., 1989.
- С. ГЛИНКА: *Записки о 1812 году Сергея Глинки, Первого ратника Московского Ополчения*. СПб., 1836.
- Ф. ГЛИНКА: *Глинка Ф. Н. Письма русского офицера*. М., 1985.
- ГРИБОЕДОВ: *Грибоедов А. С. Сочинения. Воспоминания современников*. М., 1989.
- ЗАГОСКИН: *Загоскин М. Н. Рославлев, или Русские в 1812 году*. М., 1955.
- КАЛАШ: *12-й год в воспоминаниях и переписке современников / <Сост. и ред. В. В. Калаша>*. М., 1912.
- КИСЕЛОВА: *Киселева Л. Н. Система взглядов С. Н. Глинки // Проблемы литературной типологии и исторической пре-*

- емственности. Тарту, 1981. (Уч. зап. Тартуского ун-та. Вып. 513. = Труды по русской и славянской филологии. XXXII. Литературоведение.)
- КОЛОГРИВОВА: 1812 год. Из семейных воспоминаний А. Ф. Кологривовой (урожденной Вельяминовой-Зерновой) // Русский Архив. 1886. 7.
- ЛЕРМОНТОВ: *Лермонтов М. Ю.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. М.; Л., 1958.
- ЛОТМАН-58: *Лотман Ю. М.* Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. (Уч. зап. Тартуского ун-та. 1958. Вып. 63).
- ЛОТМАН-63: *Лотман Ю. М.* Тарутинский период Отечественной войны 1812 года и развитие русской общественной мысли // Уч. зап. Тартуского ун-та. 1963. Вып. 139. (Труды по русской и славянской филологии. 6: Литературоведение).
- ЛОТМАН-73: *Лотман Ю. М.* Театр и театральность в строе культуры начала XIX века // Ю. М. Лотман. Статьи по типологии культуры: 2. Тарту, 1973.
- ЛОТМАН-79: *Лотман Ю. М.* «Повесть о капитане Копейкине»: (Реконструкция замысла и идейно-композиционная функция) // Уч. зап. Тартуского ун-та. 1979. Вып. 467. (Семантика устной речи: Лингв. семантика и семиотика. 2.)
- ЛОТМАН-81: *Лотман Ю. М.* Риторика // Уч. зап. Тартуского ун-та. 1981. Вып. 515. (Тр. по знаковым системам; Т. 12: Структура и семиотика художественного текста.)
- ЛОТМАН-94: *Лотман Ю. М.* Люди 1812 года // Ю. М. Лотман. Беседы о русской культуре. СПб., 1994.
- ЛОТМАН-УСПЕНСКИЙ: *Лотман Ю. М., Успенский Б. А.* Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры: («Происшествие в царстве теней, или Судьбина русского языка» — неизвестное сочинение Семена Боборова) // Уч. зап. Тартуского ун-та. 1975. Вып. 358. (Труды по русской и славянской филологии. 24: Литературоведение).
- МУРАВЬЕВА: *Муравьева О. С.* Пушкин и Наполеон (Пушкинский вариант «наполеоновского мифа») // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XIV. Л., 1991.
- ОА: Выдержки из старых бумаг Остафьевского архива // Русский Архив. 1866. N 2. С. 222 — 243.
- ПЕТРУНИНА: *Петрунина Н. Н.* Проза Пушкина. Л., 1987.
- ПИСЬМА КАРАМЗИНА: Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву / Изд. Я. Грот и П. Пекарский. СПб., 1866.
- ПОЭТЫ...: Поэты 1790-1810-х годов. Л., 1971. С. 342. («Библиотека поэта», Большая серия).

- ПУШКИН: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М: Изд-во АН СССР, 1962—1966.
- РЕИЗОВ: Реизов Б. Г. Пушкин, Тацит и «Борис Годунов» // Б. Г. Реизов. Из истории европейских литератур. Л., 1970.
- САМОЙЛОВА: Самойлова С. В. 1812 год. Петербургские письма: Н. М. Лонгинов — М. С. Воронцову // Russian Studies. 1995. I. 4.
- СОБРАНИЕ. . . : Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году. Ч. 1—2. М., 1814.
- СП: Общество литераторов в Нижнем Новгороде, в 1812 году // Северная Пчела. 1845. N 72.
- ТАРЛЕ: Тарле Е. В. Сочинения: В 12 т. Т. VII. М., 1959.
- 1812 ГОД. . . : 1812 год. . . : Военные дневники / Сост. и вст. ст. А. Г. Тартаковского. М., 1990.
- ТАРТАКОВСКИЙ-73: Тартаковский А. Г. Население Москвы в период французской оккупации 1812 г. // Исторические записки: 92. М., 1973.
- ТАРТАКОВСКИЙ-80: Тартаковский А. Г. 1812-й год и русская мемуаристика. М., 1980.
- ТОМАШЕВСКИЙ: Томашевский Б. В. Пушкин: Работы разных лет. М., 1990.
- ХОМУТОВА: Хомутова А. Г. Воспоминания о Москве в 1812 году // Русский Архив. 1891. Кн. 3. N 11.
- ШАХОВСКОЙ: Шаховской А. А. Первые дни в сожженной Москве. <Письмо 1836 г. к А. И. Михайловскому-Данилевскому> // Русская Старина. 1889. Т. 64. N 10.
- ЩУКИН: Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года, собранные и изданные П. И. Щукиным. Ч. 1—10. М., 1897—1904.
- ЭТКИНД: Эткинг Е. «Сей ратник, вольностью венчанный. . . »: Гришка Отрепьев, император Наполеон, маршал Ней и другие // Revue des études slaves. Tome cinquante-neuvième. Fascicule 1—2. Alexandre Puškin. 1799—1837. P., 1987.
- WHITE: White H. Metahistory: The Historical Imagination in Ninteenth-Century Europe. Baltimore—London: The John Hopkins University Press. 1974.
- EMERSON: Emerson C. Boris Godunov: Transpositions of a Russian Theme. Bloomington-Indianapolis: Indiana University Press. 1986.

## ПУШКИН И КНИГА ЖАКА АНСЕЛО «ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ В РОССИИ»

Л. ВОЛЬПЕРТ

С Россией первой половины XIX в. французы знакомились, главным образом, по путевым запискам Жермен де Сталь («Десять лет в изгнании», 1821), Жака Ансело («Шесть месяцев в России», 1827) и Астольфа де Кюстина («Россия в 1839 году», 1843). Три дорожные дневника связаны генетически, но эта связь (иногда в форме противопоставления) не описывалась. Дорожные записки де Сталь и Кюстина привлекали внимание исследователей; книга Ансело практически не изучена. Единственная посвященная ей статья Н. М. Волович (5)\* фактически касается не самой книги, а отзывов на нее П. А. Вяземского и Я. Н. Толстого. А между тем ее значение немаловажно: в ней впервые иностранному читателю открывалась широкая картина жизни России первой четверти XIX в.

В начале XIX в. представление французов о России было самое темное, оно складывалось большей частью из разного рода отрицательных мнений, фантастических слухов и легенд, в целом составивших своеобразный негативный миф о России. В книге Жозефа де Местра «Санкт-Петербургские вечера» (1821) детали русской жизни практически отсутствуют (что диктуется жанром беседы на религиозно-философские темы). Автобиографические произведения Сегюра, Жомини, Сен-Сира и других военных специалистов создавали специфическую картину: перед читателем возникала увиденная лишь в ракурсе

---

\* Сноски и ссылки даются в тексте в скобках. Первая цифра, отделяемая от остальных точкой, обозначает номер по списку литературы, приведенному в конце статьи. Следующие — страницы, между которыми стоят запяты. При необходимости указать том, он обозначается цифрой за номером. Перевод французских текстов — мой.

войны Россия времен наполеоновской кампании. Русскому народу, по словам Пушкина, «вечному предмету невежественной клеветы писателей иностранных» (1. 11. 27), доставались либо вымышленные, либо неточные или негативные характеристики. Чтобы преодолеть привычные штампы, от писателей требовалась изрядная творческая энергия, первыми ее проявили де Сталь и Ансело.

Книга «Десять лет в изгнании» пронизана симпатией и уважением к русскому народу, с которым писательница связывала надежды на разгром Наполеона. Ее положение чрезвычайно сложное: патриотка Франции, она жаждет поражения французских войск. Враждебность к гонителю Бонапарту определила во многом страстность ее путевых записок. Она с благодарностью пишет о доброжелательстве простых людей по отношению к чужестранке-француженке, восхищается художественной одаренностью народа, отмечает реалии, детали быта, черты поведения, из которых складывается русский национальный характер. Однако она не стремится нарисовать широкой картины жизни страны, дать детального представления о социальном устройстве, институтах и аппарате власти. Ее больше интересуют вопросы русской истории, становление государственного устройства России, пагубная сущность крепостничества. В этом принципиальное отличие ее книги от путевых записок Ансело.

Жак-Арсен-Франсуа-Поликарп Ансело (Jacques-Arsène-François-Policarpe Ancelot, 1794–1854), французский поэт, драматург, прозаик, посетивший Россию летом 1826 г. в свите маршала Мармона, прибывшего на коронацию Николая I, явно прочил себя на роль «летописца», которому предстояло познакомить французов с Россией в поворотный момент ее истории (перипетии престолонаследия, процесс над декабристами, коронация Николая I). И, действительно, в 1827 г. в Брюсселе вышла его книга «Шесть месяцев в России. Письма, писанные г. Ансело г. Сэнтину в 1826 году, в эпоху коронации Его Императорского величества», которая была мгновенно раскуплена и переведена на четыре европейских языка; потребовалось второе издание, оно вышло в том же году в Париже, несколько расширенное и с кратким предисловием.

«Шесть месяцев в России» была первой книгой иностранца, рисующей жизнь страны первой четверти XIX в. в относительной полноте. Из 44 писем, составивших путевые очерки, 38 посвящены России (20 — Санкт-

Петербургу, 18 — Москве). Отдельное письмо большей частью описывает какую-нибудь конкретную сторону жизни (устройство армии, судебная система, женское образование, всеохватывающая регламентация — табель о рангах, роль ломбарда, состояние дорог, придворный этикет и т.п.).

Форма писем к другу (в предисловии он называет Сэнтину своим «лучшим» другом) создавала интонацию раскованную, непринужденную, позволяла апеллировать к пласту общей памяти. Заметим, что позднее и Кюстин для своих дорожных записок предпочел эту форму, с той лишь разницей, что адресовал письма не какому-либо конкретному лицу, а «абстрактным» друзьям. Ансело обращается к Сэнтину с вопросами, напоминаниями об их дружеских спорах, извиняется за повторы, длинноты, слишком натуралистические описания, иногда объясняет источник информации («ты понимаешь, что я излагаю лишь народное мнение») (2. 77), подчас опасается, что «утомил описанием» (2. 404). Однако этот своеобразный «стернианский» план лишен смелости мысли и обеднен отсутствием иронии, что особенно заметно при сопоставлении писем Ансело с «Путевыми картинками» Гейне, начавшими выходить (в несколько урезанном виде) приблизительно в то же время.

Путевые записки Ансело написаны пером опытного прозаика. У писателя цепкий взгляд, он внимателен к миру вещей, с увлечением описывает парады, интерьеры, наряды, в удачных фрагментах бытовые реалии предстают зримо, пластично. Очевидно многое почерпнуто не из вторых рук, а увидено собственными глазами, что, однако, не избавляет от отдельных неточностей и натяжек — неизбежных издержек жанра. Большое место в книге занимает фактологический пласт (Вяземский иронически отмечает пристрастие Ансело к «статистико-топографико-живописным подробностям») (7. 217). В произведениях такого рода сведения часто почерпнуты из туристских справочников и гидов. Не преминул ими воспользоваться и Ансело, в связи с чем П. П. Свиньин выразил в «Московском телеграфе» (N 21 за 1827 г.) справедливое раздражение. Он уличил француза, что тот, не ссылаясь на источник, многое взял из его книги «Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей». Особенно ему досадно, что путешественник «позаимствовал» не из русского, а из французского варианта. Но что же было Ансело

делать? Русским языком он не владел, а воспользоваться подстрочником в таком случае было бы по меньшей мере странно (это же не перевод поэзии).

При описании путевых записок, ориентированных на постижение политической и социальной жизни страны, обычно небезынтересно выяснение позиции автора. Три создателя «русских» путевых записок — мыслители разных взглядов. Примечательно, что, принадлежа к противоположным политическим, лагерям де Сталь и Кюстин, оказавшись в России, во многом как бы сошлись во мнениях. Таково парадоксальное свойство самодержавной власти России: сближать путешественников-европейцев противоположных взглядов и превращать их в либералов. Для де Сталь, создательницы (наряду с Б. Констаном) французской либеральной партии, убежденной поклонницы конституционной монархии английского типа, такая позиция естественна. Для нее неприемлемо крепостничество и отсутствие либеральных свобод в России. Возлагая надежды на Александра, как на просвещенного государя, которому, на ее взгляд, под силу провести необходимые реформы, она все же подвергает политическое устройство России принципиальной критике. Однако, избегая резких выражений, она всякий раз стремится уравновесить критику умеренной похвалой (напр.: «В гражданском отношении внутреннее управление в России страдает большими недостатками. Этой нации свойственны энергия и величие, но порядка и просвещения все еще не хватает») (3. 203). Позднее деликатность писательницы отметит Пушкин: «Исполняя долг благородного сердца, она говорит об нас с уважением и скромностью, с полнотою душевною хвалит, порицает осторожно, не вынося сора из избы» (1. 11. 27, курсив Пушкина. — Л. В.).

Позиция Кюстина принципиально иная. Консерватор-монархист, в России он становится как бы прогрессистом, и эта роль для него не вполне естественна. Примечательно, что он сам отлично осознает свою непоследовательность: «... в России я рассуждаю как парижский радикал, отчего отнюдь не становлюсь меньше закоренелым аристократом в Париже» (4. 2. 79). Еще любопытней, что в оправдание такой позиции он апеллирует к Жермен де Сталь, напоминая ее *bon mot*: «... во Франции ты всегда одновременно и якобинец и ультра, в зависимости от того, кто на тебя смотрит» (4. 2. 79). Упомянув ее имя, он как бы ставит себя с ней в один ряд (претензия, мало оправданная), а

само «словцо» к нему имеет еще меньшее отношение: диссидент в своей или чужой стране — некоторая разница. В предисловии Кюстин пишет, что три года не мог решиться на публикацию книги (4. 1. XXVI), но авторы путевых записок оставили о России так много незаслуженных «преувеличенных похвал» (думается, первыми в этот ряд Кюстин мысленно поставил де Сталь и Ансело), что он счел себя обязанным «сказать правду» (4. 1. XXVI).

Русского народа автор не заметил вовсе. Его составляют, на взгляд Кюстина, лишь чиновники, полицейские, придворные, всякого рода администраторы и чернь. Он порицает все. Климат, дороги, царь, нравственность дам, православная религия, русское гостеприимство, педагогические учреждения, архитектурные памятники, народные праздники и еще многое, многое другое — все подвергнуто саркастической иронии. Но главный объект поистине беспощадной критики — «империя фасадов», русское самодержавие с его незаконностью и деспотизмом полицейского государства. Хотя взгляд Кюстина односторонний и явно пристрастный, искажающий цельную картину жизни страны, его книга-памфлет обладает неоспоримым достоинством: решительным неприятием всех форм политического деспотизма. Она до сих пор не потеряла ценности, как классическая модель критики любой тоталитарной системы (именно с такой позиции оценивал книгу А. И. Герцен).

Ансело приехал в Россию как любознательный путешественник, свободный от каких-либо политических пристрастий, кроме, разве, одного: его преследует сожаление о постигшей французов в Москве трагедии. Не случайно его письма завершает подытоживающая эту «больную тему» небольшая поэма «Воробьевы горы» (*“La Montagne des Moinesaux”*). Во Франции Ансело почитается роялистом и «поэтом-лауреатом», поскольку за свою трагедию «Людовик IX» (*“Louis IX”*, 1819) он был удостоен пенсии в 2000 франков и звания королевского библиотекаря. На самом деле его консерватизм весьма сдержанный, во многом он придерживается просветительских идей. Заметим в скобках, что и его корреспондент Ксавье Сэнтин, поэт, прозаик, драматург начал литературное поприще с поэмы «Счастье научного познания» (1817) и стихотворных дифирамбов «Взаимное обучение» (1820) и «Возрождение литературы и искусств в эпоху Франциска I» (1822). Следуя за просветителями, Ансело провозглашает естествен-

ные права личности (в частности, право светской женщины на равенство в семье). Об этом свидетельствуют феминистская позиция автора и реплики героев в вышедшем через год романе «Светский человек» (*"L'homme du monde"*, 1828) (15). Забегая вперед, скажем сразу: за книгу «Шесть месяцев в России» он был лишен пенсии и звания королевского библиотекаря.

Можно предположить, что Ансело, отправляясь в Петербург, внимательно прочитал путевые очерки Жермен де Сталь: другой подобной книги о России второго десятилетия XIX в. во Франции просто не было. Хотя мы не располагаем прямыми свидетельствами такого знакомства, косвенные намеки имеются — многие затронутые Ансело темы он продолжает в том же ключе и подчас в похожих выражениях (песни ямщиков, женское образование, продажа крепостных, русская форма галломании и др.). Упоминать в то время имя де Сталь не рекомендовалось, ее книга «Рассуждения об основных событиях Французской революции» была во Франции запрещена.

Существенное воздействие книги «Десять лет в изгнании» на Ансело все же проявляется не столько на тематическом уровне, сколько в трактовке проблемы национального характера и выработке позиции «объективного» и в то же время «доброжелательного» наблюдателя; важен ее способ видения чужой страны. Однако генетическая связь не бросается в глаза, не лежит на поверхности: иная историческая обстановка, другие проблемы приобрели злободневность, иное положение в России и самого гостя. Примечательно, что первым интуитивно ощутил эту генетическую связь именно Пушкин, что нашло отражение в его мгновенном отклике на приезд француза.

Известие о приезде Ансело в Россию впервые появляется в отделе «Смесь» «Северной пчелы» N 58 от 28 мая 1826 г.: «В здешнюю столицу прибыл один из отличнейших поэтов и литераторов Франции г. Ансело (Anselot)». Рассказывалось о его занятиях («библиотекарь Его величества короля французского»), о наградах («кавалер Почетного Легиона»), о том, что он «прославился трагедиями своими». В заметке указывалось, что Ансело «привез с собою рукописную комедию под заглавием: "Инкуенито" <видимо, "Инкогнито". — Л. В.>, которая была принята единогласным решением на первом французском театре в Петербурге. Почтенный автор отдал оную здешней французской придворной труппе, в знак своего отношения к

российской столице. Комедия еще не была играна в Париже, и осталась в репертуаре до возвращения автора в Отечество». В «Смеси» № 60 «Северной пчелы» (от 20 мая) рассказывалось об обеде, данном некоторыми здешними литераторами: «на нем присутствовало человек 30 литераторов и любителей словесности, русских и французских». Завершалась заметка сообщением о том, что Ансело, «к удовольствию всех слушателей», прочел отрывки из своей новой комедии.

В 1826 г. Пушкин почти наверняка пристально следил за «Северной пчелой». В ней не только публиковалась статья о «Евгении Онегине» (№ 132 от 4 ноября), рассказывалось о петербургском наводнении, о Коломне, о подготовке и проведении коронации (в Москве 22 августа), но и — что очень важно — печатались материалы следственной комиссии по делу декабристов. Он откликается на известие о приезде Ансело весьма оперативно, через неделю после сообщения «Северной пчелы». В письме П. А. Вяземскому от 27 мая поэт не без язвительности писал: «Читал я в газетах, что Lancelot в Петербурге, черт ли в нем? Читал я также, что 30 словесников давали ему обед. Кто эти бессмертные? Считаю по пальцам и не досчитаюсь» (1. 13. 227).

Имя Ансело вызывает в сознании Пушкина ассоциацию с де Сталь, и это не случайно. В годы ссылки Пушкин испытывает интерес к писателям — жертвам деспотизма. Овидий, которому «ни слава, ни лета, ни жалобы, ни грусть» не снискали пощады Августа, оплаканный свободой «властитель дум» Байрон, Данте, умерший в изгнании, жертва гильотины Шенье — все они упоминаются ссылкой поэтом. Это не только общеромантический интерес к непонятой и преследуемой личности, но и внимание к ситуациям, близким самому Пушкину. Жермен де Сталь, «семь лет гонимая деятельным деспотизмом Наполеона» (1. 11. 28), с момента появления ее книги об изгнании вошла в число тех писателей, чьи тени населяют мир ссылки поэта. Случаю было угодно оживить в памяти Пушкина образ знаменитой француженки и предоставить поэту возможность выступить в роли ее защитника.

Ровно за год до приезда в Россию Ансело в мае 1825 г. в № 10 «Сына отечества» появился перевод отрывка из книги «Десять лет в изгнании», подписанный А. М.-ов. Автор заметки позволил себе ряд непочтительных заме-

чаний в адрес де Сталь, упрекал ее в «ветреном легкомыслии», в «отсутствии наблюдательности», сравнил ее писания с «пошлым пустомельством щепетильных французигов», назвал ее «барыней». Через некоторое время в «Московском телеграфе» (ч. 111, N 12) появилась статья «О г-же Сталь и о г-не М-ве» за подписью *Ст. Ар.* (Старый арзамасец. — Л. В.). Автор статьи писал: «Что за слог и что за тон! Какое сношение имеют две страницы *Записок с Дельфиною, Коринною, Взглядом на французскую революцию* и проч., и что есть общего между щепетильными (?) французиками и дочерью Неккера, гонимую Наполеоном и покровительствуемую великодушием русского императора?» (1. 11. 28). В статье давалась чрезвычайно высокая оценка книги де Сталь «Десять лет в изгнании». Заканчивалась она словами: «О сей барыне должно было говорить языком вежливым образованного человека. Эту барыню удостоил Наполеон гонения, монархи доверенности, Байрон своей дружбы, Европа своего уважения, а г. А. М. журнальной статейки не весьма острой и весьма неприличной» (1. 11. 29).

Автором перевода и замечаний оказался А. А. Муханов, человек весьма образованный, передовых взглядов, приятель Вяземского, Баратынского и хороший знакомый самого Пушкина. В его заметке было немало справедливых упреков по адресу де Сталь. К несчастью, он выбрал для перевода один из самых слабых отрывков из всей книги, изобилующий фактическими ошибками и весьма поверхностными наблюдениями. Выбор отрывка был определен интересом Муханова к Финляндии, где он долгое время жил, хорошо знал нравы, обычаи страны и был влюблен в ее природу. Его раздосадовала неосведомленность путешественницы, не сумевшей к тому же оценить красоты северной природы. Однако, хотя его критика и справедлива, насмешливый тон был явно неуместен. Автором ответа, скрывшимся за буквами «*Ст. Ар.*», был Пушкин. Из глуши Михайловского он выступил на защиту почитаемой им писательницы. Вяземский в письме от 20 августа раскрыл ему имя его противника: «Ты Сталью отделал моего приятеля, а может быть и своего <...> Александра Муханова <...> Да по делом, хоть мне его и жаль» (1. 13. 224). Пушкин был огорчен этим открытием и отвечал Вяземскому: «Жалею, что о Staël писал Муханов <...> он мой приятель, и я бы не тронул его, а все же он виноват. M-me Staël наша — не тронь ее — впрочем я пощадил его» (1. 13. 227).

Категория множественного числа существенна, не «моя», а «наша»: де Сталь принадлежит ко всему лагерю передовых людей эпохи. Пушкин и Вяземский не могли не заметить справедливости критики Муханова по отношению к выбранному отрывку. Но де Сталь для них — близкий человек, единомышленник, они испытывают сочувствие к ее трудной судьбе — отсюда такое единодушие в отпоре Муханову. Заметим, кстати, что для подобной полемики от ссыльного Пушкина требовалась изрядная смелость (книга де Сталь «Рассуждения об основных событиях Французской революции» была запрещена и в России, а авторский аноним легко раскрывался). Необходимость защитить почитаемую писательницу пробудила в Пушкине публициста. В его первой публицистической статье, темпераментной и резкой, угадываются стилиевые черты его будущих боевых статей (лаконизм, афористичность, насыщенность мыслью), а весь эпизод, как можно предположить, наполнился новым смыслом при известии о появлении в России еще одного французского писателя-путешественника.

Примечательно, что оба события (отпор А. Муханову и приезд Ансело) комментируются поэтом именно в переписке с Вяземским. Известно, что игровое эпистолярное поведение Пушкина, его творческий «протеизм» в какой-то мере связаны с ориентацией на корреспондента, «усвоением стилиевой манеры адресата» (13. 17). По живости, вдохновению, раскованности, пушкинские письма Вяземскому в эпистолярном наследии поэта занимают исключительное место. Остроумие Вяземского, его интеллектуализм, мастерское владение живой эпистолярной речью служили для поэта своеобразным катализатором. Пушкин, по-видимому, рассматривал свою переписку с ним как некое литературное задание, что отнюдь не исключало момента спонтанности. Во всяком случае интересно нас письма Пушкина (о де Сталь и об Ансело) принадлежат к одним из самых блистательных.

В статье «О г-же Сталь и г-не А. М-ве», оценивая ее книгу «Десять лет в изгнании», Пушкин выработывал свои требования к путевым запискам. Приезд Ансело снова привлек его внимание к этому жанру, однако теперь его размышления обогащены прошлогодним опытом. Он угадывает неизбежность появления нового путевого дневника. Поэтому смысловое ядро его письма Вяземскому — необходимость продуманной организации источни-

ков информации для Ансело. По его мнению, ни в коем случае нельзя пустить дело на самотек: «Когда приедешь в П.(етер) Б.(ург), овладей этим Lancelot (которого я ни стишка не помню) и не пускай его по кабакам отечественной словесности. Мы в сношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда» (1. 13. 279). Пушкин, как можно предположить, уже в это время догадывался, из какого источника получает Ансело свою информацию.

Вторая важная проблема, затронутая в письме, — как относиться к критике своей страны со стороны иностранца. Пушкин сознает, что она желательна, могла бы иметь позитивное значение для отечества, но для него исключительно важно, чтобы она была объективна и облечена в деликатную форму. Как отмечалось выше, образцом такой манеры, на его взгляд, были путевые записки де Сталь. В связи с этими размышлениями возникает необходимость выработки собственной концепции патриотизма. Пушкин отмечает с оттенком горькой самоиронии, что хотя его многое возмущает в родной стране, ему бы не хотелось, чтобы чужеземец разделил с ним «это чувство» (1. 13. 280). Подобную «щепетильность» испытает (но уже после выхода книги Ансело) и Вяземский, но об этом — ниже. Примечательно, что скрытая, как бы «упрятанная» любовь к отечеству прорывается в момент, когда асылыйный поэт преисполнен непреодолимого желания ударить из родной страны: «Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне *свободу* <курсив Пушкина. — Л. В.>, то я месяца не останусь». Мысленно он как бы слышит одобрительную похвалу друга: «Он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай-да умница» (1. 13. 280).

Жанр путевых записок всегда может обернуться инсинуацией, важно не давать для этого повода. Именно в связи с этой мыслью в памяти поэта неожиданно возникает образ де Сталь: «Мы в сношениях с иностранцами — не имеем ни гордости ни стыда — при англичанах дурачим Василия Львовича; пред *M-me de Staël* заставляем Милорадовича отличаться в мазурке» (1. 13. 280). Имя де Сталь упомянуто мимоходом, по логике эпистолярной болтовни, но важно, что Пушкин ощущает связь двух эпизодов, де Сталь как бы незримо присутствует рядом, поэтому память подсказывает ее имя, пусть даже по незначительному поводу.

В своем предвидении Пушкин не ошибся, и когда через год вышла книга Ансело «Шесть месяцев в России» (она хранилась в библиотеке поэта — б. 139), он, как нам представляется, смог найти в ней немало для себя интересного. Прежде всего, она давала возможность Пушкину мысленно воссоздать атмосферу знакомства Ансело с писателями: «Несколько русских литераторов, узнав о моем приезде в Петербург, захотели доказать мне, что Музы — сестры, и я был обязан их дружелюбному гостеприимству несколькими счастливыми минутами» (2. 45).

В книге содержалась небезынтересная для Пушкина панорама отечественной литературы: «Русский литератор, г-н Греч, один из императорских библиотекарей, ученый филолог, автор грамматики, которая имеет законную силу в России, хотя и не была еще полностью издана, и редактор лучшего журнала в империи («Северной пчелы»), дал вчера большой обед, на коем присутствовали все выдающиеся литераторы, находящиеся ныне в Петербурге. Тут видел я г-на Крылова, который своим прелестным комедиям и еще более басням обязан европейской известностью; его прозвали русским Лафонтеном, и действительно, в его творениях находим простосердечие, прелесть, придающие ему некоторое сходство с нашим бессмертным *добряком*» (курсив Ансело. — Л. В. — 2. 46).

Созданная Ансело картина русской словесности не оставляла сомнений, «из чьих рук» она получена: «Г-н Бургарин <имя записано с ошибкой. — Л. В.>, сотрудник г-на Греча, человек ума весьма замечательного, пишет ныне произведение, коего отрывки, уже напечатанные, приняты были с большим успехом; его название: «Русский Жилбаз» <...>. Здесь эту книгу ожидают с живым нетерпением, и если позволено заранее судить о достоинстве сочинения по мнению автора, то можно утверждать, что в отношении оригинальности картин, тонкости и остроумия наблюдений, книга вполне оправдывает ожидания» (2. 47).

Через год Пушкин вспомнит этот пассаж. Однако в 1828 г. он еще в неплохих отношениях с Булгариным и не разрешает себе прямой насмешки над «скромной» автохарактеристикой автора. И все же от легкой иронии в адрес «ведущих» литераторов он удержаться не может. К этому присоединится насмешка над нарисованной французом по меньшей мере «странной» панорамой русской литературы. В «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях», опубликованных в «Северных цветах на 1828 год» Пуш-

кин с наигранным недоумением изумится: «Путешественник Ансело говорит о какой-то грамматике, утвердившей правила нашего языка и еще не изданной, о каком-то русском романе, прославившем автора и еще находящемся в рукописи, и о какой-то комедии, лучшей из всего русского театра, и еще не игранный и не напечатанный. В сем последнем случае Ансело чуть ли не прав. Забавная словесность!» (1. 11. 54). Но в это время он еще щадит Булгарина. А вот в 1831 г., вспоминая этот отрывок, он не сдерживает своей иронии. В статье «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов», явно имея в виду Булгарина и противопоставляя ему Орлова, Пушкин напишет о последнем: «Он не задавал обедов иностранным литераторам, не знающим русского языка, дабы за свою хлеб-соль получить местечко в их дорожных записках» (1. 11. 208).

Пушкину могло быть небезынтересно прочесть «подробности» и о себе самом. Ансело весьма сожалел, что не сумел познакомиться с Александром Пушкиным, «молодым поэтом, одаренным изрядным талантом, чьи тяжкие ошибки были причиной изгнания его вглубь отдаленной губернии» (2. 48). Примечательно, что желая отобрать характерные для русской поэзии стихи, Ансело, рядом со «Светланой» Жуковского, «Черепом» Баратынского, «Исповедью Наливайко» Рылеева (имя автора, разумеется, не названо), помещает прозаический перевод «Кинжала». Ансело, неплохой поэт, мог бы по подстрочнику перевести и стихами, но, как он пишет, стремление к точной передаче мысли заставило его предпочесть прозу. Надо отдать ему справедливость, перевод изящен и точен (даже Вяземский расщедрился на комплимент: «прозою, но довольно верною и красивою» (7. 221). Судя по авторскому комментарию, видно, что из четырех отобранных стихотворений «Кинжал» вызывает наибольший интерес Ансело.

Пушкин вряд ли не заметил деликатной осторожности гостя, явно опасавшегося нанести ему вред: «Я раскрою тебе его имя, когда мы встретимся, а пока я не должен доверять бумаге, нескромной свидетельнице в России» (2. 306). Однако поэт мог учитывать также и возможность некоей «игры» с читателем, своеобразное «кокетничанье», способ привлечения внимания не столько к ссыльному поэту, сколько к «деликатному» автору (ведь эту деталь можно было бы уточнить и при встрече с другом). Ансело подчеркивает сложность ситуации Пушкина

и уверяет, что даже раздобывание его стихов — трудная задача: «Почитаю себя счастливым, друг мой, что смог познакомить тебя с произведением, которое тут нелегко раздобыть, поскольку автор не опубликовал его, и нет необходимости объяснять по какой причине» (2. 306).

В авторском комментарии, а по существу, первом печатном анализе «Кинжала», Ансело устанавливает прямую преемственную связь пьесы с европейскими источниками: «Республиканский фанатизм, которым одухотворены эти стихи, яростная энергия вдохновившего их чувства, дают представление о том, какие идеи зреют в умах многих молодых людей Московии, какое они получили образование и как множатся связи между ними и различными европейскими народами» (2. 308). Так же, как когда-то де Сталь, француз уповает на добрую волю царя, однако времена изменились, у кормила — другой государь, за окном не 1812, а 1825 г., иной и путешественник. Изменился и характер надежды: не на истинный либерализм монарха, а на его гибкую, дипломатичную «политичность»: «Да утишит мудрость монарха эту экзальтацию, да успокоит она ее полезными и осторожными преобразованиями системы правления» (2. 308).

Ансело считает необходимым предупредить об опасности настроений молодых бунтовщиков: «Эти идеи пока еще не глубоко проникли; но ими охвачены все те, кого называют в России образованными молодыми людьми, кто знаком с новыми нравами и современными институтами. И пусть не думают, что благодаря своей просвещенности они становятся менее опасными! Подобно их жилищам — кирпичным зданиям, с которых, при малейшем дуновении ветра, обваливается белая штукатурка и покрывающая их краска, у русских под блестящими одеяниями, в которые облачила их скороспелая цивилизация, открывается Тартар» (2. 308). «Кинжал», в его глазах, — выражение того опасного умонастроения, к которому русский деспотизм толкает критически мыслящую молодежь. Анализируя пушкинское стихотворение, автор как бы стремится опосредованно доказать, что заговор — неизбежное следствие неблагоразумной политики правительства. Любопытно, что некоторые обороты мысли здесь почти точно повторяют фразеологию Булгарина. Вспомним его записку «О царскосельском лицее», поданную как раз в мае 1826 г., где обличались «преждевременное честолюбие» лицейстов, «неуместная самонадеянность проповедовать

права, вредные для правительства» (17. 239). Аналогичны и призывы Булгарина к правительству в отношении молодых дворян «осторожными преобразованиями», «мягкой цензурой», «ласковым обхождением» «дать настоящее направление их умам» (16. 580). Это тот случай, когда источник информации восстанавливается без особого труда.\*

Позиция Ансело двойственна: он и осуждает заговорщиков, и одновременно восхищается ими. Не случайно его взгляд прикован именно к двум последним строфам стихотворения, где прямо названо имя Занда, заколовшего кинжалом царского шпиона Коцебу:

О, юный праведник, избранник роковой,  
О Занд, твой век угас на плахе,  
Но добродетели святой  
Остался глас в казненном прахе.

В твоей Германии ты вечной тенью стал,  
Грозя бедой преступной силе —  
И на торжественной могиле  
Горит без надписи кинжал.

Ансело близко убеждение Пушкина о необходимости держать всех тиранов в страхе. «Последняя мысль, — пишет он, — меня особенно восхитила: трибунал свободных судей <Ансело имеет в виду Средние века. — Л. В.> прилагал имя жертвы к инструменту мести; но здесь "горит без надписи кинжал" <курсив Ансело. — Л. В.>, он угрожает всем тиранам, кто бы они ни были» (2. 309). Вот как эти строфы звучат в переводе Ансело: «O Sand, martyr de l'indépendance! meurtrier libérateur! Que le billot soit le terme de ta vie, la vertu n'en consacre pas moins ta cendre proscrite; un souffle divin s'y conserve encore; ton ombre courageuse plane sur le pays si cher à ton coeur; elle menace toujours la force usurpatrice, et sur ton auguste mausolée brille, au lieu d'épithaphe, un poignard sans inscription.»

Стремясь найти точный эквивалент ключевым словам оригинала, Ансело употребляет высокие дифирамбические эпитеты, способные передать яacobинскую страстность пушкинских строк: "martir de l'indépendance", "meurtrier libérateur", "ombre courageuse".

---

\* На сходство фразеологии Ансело и Булгарина обратила мое внимание Т. Кузовкина; хочу выразить ей свою признательность.

В России, как известно, «Кинжал» распространялся в списках. *Nabent sua fata libelli* — не только книги, но и стихотворения. Парадоксальная ситуация: печатную жизнь пушкинское стихотворение обретает впервые во французском переводе. Не за этот ли перевод, комментарий и самый отбор стихотворения поплатился Ансело пенсией и должностью королевского библиотекаря? Во всяком случае, приглушенная нота сочувствия декабристам ощущается в его книге постоянно.

Тема восстания проходит лейтмотивом через весь путевой дневник. Она исподволь возникает уже в первых письмах в связи с описанием Петропавловской крепости. Сообщая о том, что один из бастионов носит имя ее строителя — Трубецкого, Ансело восклицает: «Нельзя, мой дорогой Ксавье, удержаться от горестного чувства <...> в том самом месте, в котором благодарность Петра I почтила преданность и верность одного Трубецкого, другой Трубецкой томится в глубине темницы, уличенный в заговоре с целью убийства наследника Петра и сокрушения его империи» (2.165). В другом фрагменте, рисуя радостный весенний праздник на Неве, он внезапно вносит в описание трагическую ноту. Замечая среди общего веселья людей, с тревогой вглядывающихся в крепость, он высказывает предположение, что это, вернее всего, близкие или родные осужденных. Он предполагает, что в центре всех их помыслов — «виновники и несчастные жертвы заговора 26-го декабря» (2. 429).

Последние письма почти целиком заполнены темой восстания, судебного процесса и казни. Французы могли узнать из его писем о поведении декабристов на допросах, о реакции их близких (не всегда достойной, зато иногда — героической), о самом акте повешения (вплоть до деталей — разрыв веревки в момент казни). Он постоянно высказывает надежду, что Россия будет развиваться по пути прогресса: «И пусть экстравагантная и мрачная акция нескольких людей не отдалит от этого народа день освобождения, который рано или поздно над ним воссияет» (2. 44).

По трактовке Ансело «декабристской» темы можно составить представление не только о двойственности его позиции, но и о некоторой поверхностности его «либерализма». Он охотно пользуется привычными штампами («здесь нет места счастью, так как нет свободы» (2. 43), «эта нация, состоящая из отпускающих удары и получаю-

щих их» (2. 73). Негодуя против продажи крепостных, он деловито объясняет французам, сколько стоит крестьянин на рынке (от 3 до 4 сотен франков). По-свифтовски реализуя метафору (маркируя иронию курсивом), говорит об особом «российском» виде «людоедства»: этот помещик «съел три тысячи крестьян» (2. 72); во время фейерверка коронации «крестьян было раздавлено в течение вечера на две или три тысячи рублей». Последнюю фразу он сопровождает ироническим комментарием: «многие искренне сочувствовали их владельцам» (2. 375). Казалось бы, Ансело рассуждает о крепостничестве совсем в духе Жермен де Сталь, но все же это — другой уровень мысли, лишенный глубины и философичности, более плоский и мелкий.

С большим успехом он следует за ней в исследовании своеобразия русского национального характера. Ансело охотно сравнивает черты русского и французского национальных характеров, причем часто в пользу первого. Так же, как и де Сталь, он умеет заметить неповторимые черточки в поведении простых людей (мастерового, ямщика, крепостного). Ансело ценит в русских крестьянах презрение к опасности, которое они черпают в чувстве силы и ловкости, их неустрашимость. Заметим, что храбрость простых людей (например, «дерзкую удаль ямщиков» — 4. 2. 33) отмечает и все порицающий Кюстин.

Особенно восхищают Ансело такие качества простых людей, как услужливость, мастерство и проворство в работе: кучу инструментов им заменяет один топор, которым они поистине творят чудеса. Он с похвалой отмечает отменную вежливость крестьян, составляющую «странную противоположность с их дикими лицами и грубою одеждою: не только говоря с высшими себе употребляют они учтивые выражения, которых не слышишь во Франции среди низших званий, но и между собою приводят они их при каждом случае: встречаясь, они снимают шапку друг перед другом и кланяются с учтивостью, которая, казалось бы, должна быть плодом воспитания, а у них она следствие природной благосклонности <...>. Знаю, что и у француза есть готовность услужить; но изучая оба народа, замечаешь ощутимую разницу в свойстве их услужливости. Француз, помогая вам, следует своей природной живости, и вы, принимая от него услугу, видите по важности, которую он придает ей, что он знает ей цену; русский услуживает вам по природному побуждению и по чувству

религиозному <...>. Если дело идет о спасении человека, француз осознает опасность и идет ей навстречу; русский видит перед собой лишь несчастного, готового погибнуть. Смелость одного — от ума, неустрашимость другого — в его природе» (З. 276, 281, 282). Заметим, что и Кюстин отмечает вежливость людей всех сословий.

Любопытно, что Ансело различает простых крестьян и городскую чернь: последуюю он изображает весьма критически. Рисуя картину беспорядков, происшедших во время печально известного народного праздника в Москве в честь коронации, он не скупится на краски: «Царь сказал: дети мои, это все вам. Двести тысяч устремились к столам, и в минуту они были опустошены. Все, что было возможно съесть, съедено, все, что можно схватить, разграблено, схвачено, уничтожено со свирепостью, о которой даже трудно составить себе представление; затем чернь обрушилась на фонтаны, откуда вино лилось длинными струями, и у тех, кто находился рядом, пьянящая влага полностью похитила способность владеть собой. До этого момента отвратительное зрелище было не более огорчительным, чем то, что ежегодно мы видим на Елисейских полях. Однако вскоре беспорядок принял характер более разрушительный. Поняв буквально слова императора, толпа принялась крушить павильоны, амфитеатры, построенные для знати, снабженные креслами и стульями, снятыми у города Москвы. Эти хрупкие сооружения еще не были освобождены от благородных зрителей, когда толпа стала хватать скамьи и сиденья, разрывать занавеси, драпировку, украшения. Кнут <курсив Ансело. — Л. В.> не произвел впечатления. Толпа, у которой алкоголь возбудил жадность <...> разнесла доски, из которых состояли эти длинные галереи <...>. Все это длилось, пока генерал Шульгин, шеф полиции, узнав о грабеже, не явился во главе эскадрона казаков. Но даже кровавая расправа, которую они обрушили на разрушителей, оказалась бессильной. Тогда генерал обратился к пожарникам, расположившимся на углу площади. Он распорядился включить помпы и вскоре, преследуемые казаками, опрокинутые силой воды, жестоко избиваемые, грабители вынуждены были спастись от двойного наказания, которое их преследовало. Таков был конец, друг мой, того, что здесь называют *народным праздником* <курсив Ансело. — Л. В.>; увы, мой рассказ способен дать лишь слабое представление об этом отвратительном зрелище» (2. 408).

Лейтмотивом в книге проходит мысль о трагедии французов в 1812 г. Единственную причину разгрома французов Ансело видит в пожаре Москвы и выдвигает собственную версию его возникновения. По его убеждению, подожгли не русские (им, мол, не было смысла губить собственные продовольственные склады), не Ростопчин (московская резиденция генерал-губернатора и окружающий его квартал сохранились в целости, и — по логике Ансело — поскольку все кругом было сожжено, большего бесчестия на себя навлечь было бы трудно). Так кто же? Тут Ансело с торжеством первооткрывателя сообщает: «англичане!» Это, мол, они смекнули, как быстрее всего погубить Бонапарта, и, располагая большими деньгами, сумели своевременно «организовать» пожар. Версия Ансело — типичный «антибританский миф», созданный французом, вполне официальный и как нельзя лучше отвечающий чаяниям некоторых его соотечественников.

Российский патриотический «миф», как известно, утверждал, что Москву сожгли русские. Любопытно, что сами англичане придерживались последней версии. «Личный дневник 1812 года» английского генерала Роберта Томаса Вильсона, находившегося в ставке российского главнокомандующего на протяжении всей войны, пронизан убеждением, что Москву сожгли именно русские: «Когда Мюрат вошел в город, уже пылали казенные склады фуража, вина и водки, военных припасов и пороха <...>. Победоносный неприятель надеялся отдохнуть среди богатств и роскоши в ожидании мира, который Бонапарт обещал своей армии еще в Смоленске. Но русские решились на такое возмездие, каковое стало более гибельным по своим следствиям, нежели борьба посредством оружия» (16. 132). При всем различии мифов, у них есть общая основа (об этом писал еще Л. Н. Толстой): деревянный город во время войны не гореть не может, и усилия к этому, как правило, прилагают все участники трагической неразберихи.

Книга Ансело при своем появлении вызвала два критических отзыва: П. А. Вяземского в июньском номере «Московского телеграфа» за 1827 г. и Я. Н. Толстого (некогда председателя общества «Зеленая лампа»), издавшего в 1827 г. в Париже брошюру «Довольно ли шести месяцев, чтобы узнать государство? или замечания на книгу г-на Ансело "Шесть месяцев в России"».

Отзыв Вяземского, в основном, отрицательный. Он критикует книгу за разного рода натяжки, преувеличения, за «бесцветный» стиль. Вяземский признает, что многое «описано верно» и автор не был, «как многие из собратий его, движим недоброжелательством к русскому народу и увлечен предубеждениями против России, но зрение его слабо и близоруко <...>. Россия, может быть, отчасти и видна в его книге, но видна как в зеркале тусклом и к тому же с пятнами, которое отражает предметы слабо и темно» (7. 218). С последним утверждением, на наш взгляд, можно не вполне согласиться: разумеется, есть бесцветные фрагменты, но есть и бесспорно удачные (например, о загадочном пристрастии русских аристократов к цыганскому хору, о трагической доле рекрутов, о женском образовании, своеобразный гимн Ансело топору и мн. др.).

Вяземский не смог оценить и того факта, что Ансело сделал попытку нарисовать панораму русской литературы (пусть с «подачи» Булгарина). Хотя картина получилась и несколько искаженной (над чем иронизировал Пушкин), но все же автор книги назвал имена Жуковского, Карамзина, Крылова, Баратынского, дал важные сведения о Пушкине, предложил свой перевод лучших образцов русской поэзии. До того никому из французских путешественников такое и в голову прийти не могло. Жермен де Сталь с пренебрежением отметила лишь подражательный характер русской литературы. Кюстин назвал всего одно имя — Пушкин, наградив поэта весьма нелестной характеристикой — подражателя (“*imitateur*” — 4. 2. 325): «Пушкин позаимствовал манеру письма у европейцев. Я не считаю его подлинным национальным поэтом» (4. 2. 331). Кюстина можно понять, он не знал русского языка, а в переводе поэзия Пушкина теряла самобытность, оставались лишь общие места и штампы романтической поэзии. Кюстин посчитал себя в праве вынести оценку и Лермонтову. Передавая (правда, с чужих слов и не называя имени поэта), историю ссылки Лермонтова на Кавказ, он, преследуя свою постоянную цель обличения русского деспотизма, уверяет, что царская расправа последовала за чуть ли не «верноподданическую» элегию на смерть Пушкина (4. 2. 332).

Бальзак, посетивший Россию в 1843 г. (он сопровождал два месяца Эвелину Ганскую в ее поездках по Петербургу), ни словом не упомянул о русской литературе.

Правда, в его честь и «литературных приемов» не устранивали (как он позднее не без остроумия объяснит, ему досталась оплеуха, которую должен был бы получить Кюстин). Заметим в скобках, что русский поверенный в Париже П. Д. Киселев предлагал своему правительству использовать денежные затруднения Бальзака и предложить ему написать «опровержение клеветнической книги господина де Кюстина» (19. 482). Бальзак отвечал на слухи о будто бы состоявшейся договоренности в письме к Эвелине Ганской от 31. 1. 1844 г.: «Вот глупость! Ваш государь слишком умен, чтобы не знать, что купленное перо не имеет ни малейшего авторитета» (19. 487).

Вяземский мог, казалось бы, больше принимать в расчет и важную для жанра категорию «адресата». Содержание книги, пишет он, «для нас русских нимало не занимательно» (7. 218). Но она была обращена к французам, и то, что было мало любопытно русским, для соотечественников Ансело могло представлять живой интерес. Критик, на наш взгляд, несколько необъективен, в первую очередь, из-за политических пристрастий. Как известно, Вяземский был горячим поклонником французских либералов: «Мы были учениками и последователями преподавания, которое оглашалось с трибуны такими учителями, каковы были Бенжамен Констан, Ройе Коллар...» (9. 10. 6). Естественна его острая неприязнь к французским «ультра», перешедшим после падения Наполеона в решительное наступление против либералов (например, в 1817 г. раздавались требования казни де Сталь или, по крайней мере, ее высылки из страны). А Ансело — монархист, его трагедия «Людовик IX» вызвала в 1819 г. одобрение роялистов. Вяземского раздражает, что в России француз принял позу защитника свобод: «... либерализма, тем более неуместного, что автор дома совсем не в рядах оппозиции, а либеральничает только в гостях» (7. 217). Вяземский в чем-то прав, но в чем-то и не совсем прав.

Либерализм Ансело, как уже отмечалось, несколько поверхностен, но все же даже за эту хилую «либерально-консервативную» позицию он заплатил потерей синекуры. П. П. Свиньин в письме от 20. 5. 1827 г. Михайловскому-Данилевскому не без злорадства сообщал: «... французский король выгнал его за сие творение из дворца, лишив звания своего lecteur» (10. 66).

По-видимому, тот же упрек, что ему адресовал Вяземский, Ансело заслужил и от французских либеральных

газет. Во всяком случае, объясняя появление предисловия к второму изданию необходимостью восстановить истину о его статусе в России, он с горечью пишет: «После выхода первого издания книги некоторые газетные листки <...> искажая факты <...>, стали награждать меня такими ярлыками, как *рифмач из посольства, поэт на субсидии*» (“*rimeur d’ambassade*”, “*poète salarié*» — 2. 4). Стремясь убедить читателей в своей полной независимости от посольства, он повторяет, что чувствовал себя в России свободно, ходил — куда хотел, разговаривал — с кем желал, и никому не давал ни в чем отчета.

По-видимому, он, действительно, был озабочен сохранением независимого статуса. Во всяком случае в сообщении «Северной пчелы» (N 58, от 11 мая) о данном Николаем I свите маршала Мармона аудиенции имя Ансело не упоминается. Можно было предположить, что его попросту не сочли «достаточно важной персоной» (12. 87); однако предисловие ко второму изданию скорее подтверждает его версию: он сам не хотел быть упомянутым. Нежелание считаться официальным лицом было для него принципиальным. Видимо, упреки газет за статус «поэта-лауреата» его сильно задевали. Примечательно, что узнав о пенсии, назначенной царем семье Карамзина после смерти историографа, — поступке, одобренном русским обществом, — он не без горечи замечает: «Сколько насмешек это вызвало бы во Франции» (2. 40).

Возвращаясь к отзыву П. А. Вяземского, заметим, что возможно были и иные мотивы для раздражения, в частности, не исключено чувство тревоги в связи с первым печатным опубликованием «Кинжала» в книге, мгновенно ставшей европейски известной, что могло бы при неблагоприятных обстоятельствах иметь тяжкие последствия для Пушкина (это предположение высказал во время обсуждения моего доклада в Хельсинки В. Э. Вацуро).

Но все же главной причиной неприятия Ансело, на мой взгляд, было оскорбленное национальное чувство Вяземского: неглубокий мыслитель, весьма заурядный писатель, Ансело с явным ощущением превосходства, интонацией поучения судит подчас о мало ему известных предметах, приводит абсурдные анекдоты, к месту и не к месту дает уроки «либерализма». Размышления над книгой приводят Вяземского к довольно безрадостным выводам: «По большей части все напечатанное иностранцами о России составлено из пустяков, живых рассказов и ложных за-

ключений» (7. 231). Однако, как и Пушкин, Вяземский умеет посмотреть на россиян самокритичным, «остраненным» взглядом: «Впрочем <...> они не умеют смотреть на Россию, а мы ее *показать*» (курсив мой. — Л. В. — 7. 231). Так же, как и Пушкин, Вяземский новаторски стремится выработать философически-обобщенную позицию по отношению к недостаткам своей страны и к их критике со стороны чужеземца: «Таить погрешности свои не нужно; но указывайте на них с патриотическим соболезнованием, а не по расчету личной суетности. Я, признаюсь, был бы рад найти в иностранце строгого наблюдателя и судию нашего народного быта: со стороны можно видеть яснее и ценить беспристрастнее. От строгих, но добросовестных наблюдений постороннего могли бы мы научиться; но от глупых насмешек, от беспрестанных улик, устремленных всегда на один лад и по одному направлению, от поверхностных указаний ничему не научишься» (7. 232).

Таким образом, книга Ансело неожиданно приобрела важное значение как импульс и катализатор идей о ценности непредвзятой критики отечества, увиденного «остраненным» взглядом иностранца. Именно размышления о недостатках и достоинствах книги побуждают Вяземского сформулировать близкую пушкинской концепцию: «Многие признают за патриотизмом безусловную похвалу всему, что свое. Тюрго называл это *лакейским патриотизмом, du patriotisme d'antichambre*. У нас его можно было бы назвать квасным патриотизмом» (выделено Вяземским. — Л. В. — 7. 232). Как справедливо отмечает Н. М. Волович, Вяземский весьма удачно нашел счастливое «словцо-неологизм», перекочевавшее впоследствии прямо «со страницы "Телеграфа" в основной словарный фонд русского языка» (5. 150). Итоговая мысль, предвосхищающая позицию многих русских писателей XIX в. (Гоголь, Белинский, Салтыков-Щедрин, Сухово-Кобылин и др.), выражена Вяземским с впечатляющей силой: «Я полагаю, что любовь к отечеству должна быть слепа в жертвованиях ему, но не в тщетном самодовольстве: в эту любовь может входить и *ненависть*» (выделено мною. — Л. В. — 7. 232).

Отзыв Я. Н. Толстого о «Шести месяцах в России» гораздо более снисходителен. Но и он отмечает рад несуразностей, натяжек, нелепых анекдотов и преувеличений. Вяземский в своей рецензии цитирует фрагменты

из брошюры Я. Н. Толстого (откуда и мы берем цитаты), солидаризуясь с его критическими замечаниями. Однако Я. Н. Толстой видит в книге Ансело и много ценного. Отдавая должное автору, настаивая на мысли, что его книга выгодно отличается от подобного рода путевых записок, Я. Н. Толстой выносит ей высокую итоговую оценку: «На поверку должно по справедливости признать достоинства большей части сочинения г-на Ансело <...>. Впрочем, дай Бог, чтобы все те, кои пишут или будут писать о России, походили в отношении дарования и праводушия на г-на Ансело» (8. 170).

Жермен де Сталь провела в России три месяца, Ансело — шесть, Кюстин — полтора. При этом Кюстин за столь короткий срок побывал не только в Петербурге и Москве, но еще в Ярославле и Нижнем Новгороде, т.е., действительно, как отметил Герцен, изучал страну «из окна кареты». Так сколько же нужно времени, чтобы глубоко постигнуть нравы чужой страны? Я. Н. Толстой завершает брошюру ответом, хотя и выраженном в негативной форме, но вполне позитивным: «<...> книге г-на Ансело не достает, без сомнения, одной зрелости, а она приобретается только долгим пребыванием: и потому почитаю себя в праве заключить тем, что **шести месяцев не довольно, чтобы узнать государство**» (выделено Н. Я. Толстым. — Л. В. — 8. 170). С этим выводом перекликаются и заключительные слова критического отзыва Вяземского: «Нет нам счастья на пишущих путешественников <...>. Но повторяю, можно ли дожидаться нам от иностранца хорошей книги о России, которую видит он или из коляски, или из гостиных...» (7. 232).

Дорожные записки де Сталь Пушкин оценил весьма высоко: «Взгляд быстрый и пронизательный, замечания, разительные по своей новости и истине» (1. 11. 27). Путевой дневник Кюстина он прочел всевозможным образом (книга была опубликована после смерти поэта), но возможна гипотетическая реконструкция оценки: она наверняка была бы отрицательной (вспомним его слова из письма Вяземскому и известное письмо Чаадаеву от 19. 10. 1836 г.). Что касается дневника «Шесть месяцев в России», то, хотя прямой оценки книги Пушкин не дал и в полемику с французом вступить не пожелал, все же два упоминания поэтом дорожных записок свидетельствуют скорее о его невысоком мнении о книге Ансело. Примечательно, что еще не ознакомившись с путевым дневником француза, но

угадывая его скорое появление, в своем первом отклике на приезд Ансело Пушкин, предвосхищая настроенность Толстого и Вяземского, нашел афористическую формулу, сфокусировавшую их будущие размышления об истинном и «квасном» патриотизме: «Я, конечно, презираю отечество с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделит со мной это чувство!» (1. 13. 280).

#### ЛИТЕРАТУРА

- 1 Пушкин. Полн. собр. соч.: В 17 т. М.; Л., 1937—1959.
- 2 *Ancelet J.-A. Six mois en Russie. Lettres écrites à M. X.-B. Saintines, en 1826, à l'époque du Couronnement de S. M. Empereur. 2-me éd. Paris, 1827.*
- 3 *Mme de Staël. Dix années d'exil. Bruxelles, 1821.*
- 4 *De Custine A. La Russie en 1839. Paris, 1843.*
- 5 Волович Н. М. Об одной французской книге из библиотеки А. С. Пушкина («Шесть месяцев в России» Ж.-А. Ансело). Пушкин и Москва: Сб. статей. М., 1994. <ч.> 1.
- 6 Могзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина (Библиографическое описание). СПб., 1910.
- 7 Вяземский П. А. Письмо из Парижа в Москву к Сергею Дмитриевичу Полторацкому. Московский телеграф. 1827. Ч. XV. N 11.
- 8 Вяземский П. А. Письмо из Парижа к С.Д.П. // Московский телеграф. 1827. Ч. XVI. N 14.
- 9 Вяземский П. А. Собр.соч.: В 10 т. СПб., 1886. Т. 10.
- 10 Свиньин П. П. Письмо А. И. Михайловскому-Данилевскому от 20. 5. 1827г. // Литературное наследство. Т. 58. М., 1952.
- 11 Вильсон Р. Личный дневник 1812 года // Звезда. 1995. N 7.
- 12 Вольперт Л. И. План Пушкина "L'homme du monde" и роман Ж.-А. Ансело «Светский человек» (мотив «неверной жены»). *Studia russica Helsingiensia et Tartuensia. IV. «Свое» и «чужое» в литературе и культуре. Тарту, 1995.*
- 13 Вольперт Л. И. А. С. Пушкин и госпожа де Сталь. К вопросу о политических взглядах Пушкина до 1825 года // Французский ежегодник. 1972. М., 1974.
- 14 Вольперт Л. И. Пушкин и психологическая традиция во французской литературе. Таллинн, 1980.
- 15 *Ancelet J.-A. L'Homme du monde. Paris, 1827.*
- 16 Булгарин Ф. В. Записка «О цензуре и книгопечатании вообще» // Русская старина. 1900. Сентябрь.

- 17 Булгарин Ф. В. 2-ая записка «О царскосельском лицее». Цит. по: Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. СПб., 1908.
- 18 Моруа А. Прометей, или жизнь Бальзака. Алма-Ата, 1990.

## ДВЕ ПРОГРАММЫ ПУШКИНСКОГО «СОВРЕМЕННОГО»

П. РЕЙФМАН

Под занавес, и мой вклад (может быть, не слишком удачный) в библиографию Пушкинского кабинета.

*Автор.*

В середине апреля 1836 г. вышел первый том пушкинского «Современника» со статьей Гоголя «О движении журнальной литературы...». Она была в значительной степени литературно-критической программой нового журнала и так воспринималась читателями. Так она рассматривалась в известной мере самим Пушкиным. В начале апреля он распорядился снять в оглавлении имя Гоголя, превращая неподписанную статью как бы в редакционную и беря на себя за нее ответственность (8. 129)\*. Многие решили, что статья написана Пушкиным. Пушкин заказал ее Гоголю. «По совету и настоянию Пушкина Гоголь вносит ряд поправок и изменений в свой текст» (8. 95). Статья была острой, резкой, но хотя Пушкин, начиная издание журнала, вовсе «не стремился к обострению журнальной полемики <...>, но статью Гоголя Пушкин оценил по достоинству и принял ее в первый номер, посоветовав автору смягчить наиболее резкие выражения» (8. 95).

Осенью того же года, в третьем томе «Современника», появилось «Письмо к издателю» А. Б., якобы присланное

---

\* Сноски и ссылки даются в тексте, в скобках. Первая цифра, отделяемая от остальных точкой, обозначает номер по списку литературы, приведенному в конце статьи. Следующие — страницы, между которыми стоят запяты. При необходимости указать том, он обозначается за номером. Одновременные отсылки к разным источникам и пособиям отделяются точкой с запятой. Вместо «и другие» ставится многоточие.

одним из читателей, на самом деле написанное Пушкиным и содержавшее полемику с рядом положений статьи Гоголя. Содержание «Письма к издателю» обычно объясняется исследователями тактическими соображениями, нежеланием Пушкина вступать в спор с другими журналами (4. 768). Как тактический ход рассматривает статью М. И. Гиллельсон, называя ее одновременно «наиболее "темным" эпизодом журнальной полемики, связанной с пушкинским "Современником"» (11. 10). Чем-то частным, сравнительно важным, но не имеющим отношения к программным установкам, считает «Письмо к издателю» Е. Г. Эткинд (15. 198). Мимоходом упоминает о нем С. Л. Абрамович: «Эта мистификация позволила Пушкину откликнуться на журнальную полемику как бы с точки зрения простодушного рядового читателя» (8. 254).

Тактические соображения были у Пушкина на самом деле, но смысл «Письма к издателю» ими не ограничивался. В нем шла речь о важных для Пушкина проблемах. По сути оно являлось тоже программным, но затрагивающим иные вопросы.

Отмечая общее неблагополучие современной журналистики, наибольшее внимание Гоголь уделял «Библиотеке для чтения». Основной пафос его статьи — резкая и развернутая критика журнала Сенковского, а по сути дела — всего так называемого «торгового направления» в литературе.

Резкость статьи, помимо прочего, определялась и раздражением Гоголя, вызванным издевательской рецензией Сенковского на «Арабески» (7. 8—14), которое наиболее отчетливо заметно в черновике (4. 524—525, 528). Но смысл гоголевского выступления определялся не этим, а задачами принципиальной борьбы с реакционным «журнальным триумvirатом», наиболее влиятельным изданием которого была в то время «Библиотека...». По ней и нанесился главный удар.

Такая направленность объясняла характеристику остальных журналов с точки зрения их отношения к «Библиотеке». Осуждаются ее союзники, «Сын отечества», «Северная пчела». Отрицательная оценка дается «Московскому телеграфу». Более снисходителен Гоголь к тем, кто пытается, хотя и безуспешно, бороться с «Библиотекой...». Иронически, но не враждебно он отзывается о «Литературных прибавлениях к Русскому

инвалиду», не без сочувствия относится к статьям «Телескопа», осуждавшим «Библиотеку...». Отмечается, что «Телескоп» действовал против «Библиотеки...», «но действовал слабо, без постоянства, терпения и необходимого хладнокровия» (4. 165).

Пожалуй, наиболее положительно оценивается позиция «Московского наблюдателя», его борьба с «Библиотекой...». Но и она оказалась безуспешной, так как редактор «Наблюдателя» «не начертал для себя вовсе ника<ко>го обдуманного плана действий» (4. 529) и после первых неудачных попыток он замолчал.

В то же время, не во всем принимая статью С. П. Шевырева «Словесность и торговля», считая, что она не повлияла на читателей, Гоголь отмечает «благородный порыв негодования» автора, находит, что изредка в «Наблюдателе» появлялись «замечательные статьи», которые «были похожи на оазисы» (4. 169, 168). Хвалит он и стихотворения Баратынского, Языкова, публиковавшиеся в «Наблюдателе».

В целом же современная критика, с точки зрения Гоголя, очень слаба, ее попытки подорвать монополию «Библиотеки» несостоятельны. Противники «Библиотеки» не приняли в соображение, что она «имела около пяти тысяч подписчиков», что мнение ее доносилось до таких мест, где даже не знали о существовании журналов, пытавшихся с нею бороться (4. 165). И все же Гоголь не теряет надежды. Он верит, что в наступающем году появятся новые издания и монополия «Библиотеки» окажется уничтоженной.

Значение статьи Гоголя не ограничивалось борьбой с «журнальным триумvirатом», с изданиями, ему подобными. В ней ставилась задача создания журналов четко выраженного направления, единой идеи, редактируемых «видными лицами», сознающими принципы, которыми они руководствуются, способными осуществить их. Содержание «Современника», начиная с 1-го тома, должно было демонстрировать воплощение поставленной задачи (15. 198–199).

Но прежде, чем говорить о дальнейшем, следует сказать несколько слов об отношениях Гоголя и Пушкина с сотрудниками «Московского наблюдателя». Этот журнал претендовал на некую элитарность, светскость, на то, чтобы противопоставить низкопробной торговой литературе

произведения, рассчитанные на сравнительно узкий круг знатоков. Как мы старались показать, Гоголь оценивает «Наблюдатель» не слишком высоко. В то же время он близок с его сотрудниками (с Погодиным они на "ты"), приветствует появление журнала, обещает всяческую помощь, хотя иногда и раздражен действиями редакции (10. 228, 232, 234, 263, 334, 337).

Сложнее обстояло дело с Пушкиным. Пушкин давно знаком с Погодиным и Шевыревым. Отношения между ними отнюдь не враждебные, но не перешедшие в дружбу (в довольно многочисленных письмах к Погодину Пушкин именует его «Милостивый государь Михайло Петрович» — 1. 16. 24, 103...). В начале марта 1836 г. редактор «Наблюдателя», В. П. Андросов, советует А. А. Краевскому не слишком надеяться на «Современник». В мае он же высказывает обиду из-за того, что Пушкин не прислал ему 1-го тома своего журнала (8, 104, 219).

Во время поездки в Москву в мае 1836 г. Пушкин пытается привлечь Наблюдателей к сотрудничеству в «Современнике», но без особого успеха (1. 16. 103, 111, 114, 116...). Знаменательно, что в одном из писем жене Пушкин упоминает Нащокина, называющего Наблюдателей *les treize* (Тринадцать). Имеется в виду название бальзаковского романа «История тринадцати», в котором идет речь о компании (чтобы не сказать шайке) светских людей, безнравственных, циничных, совершающих поступки, часто граничащие с преступлениями. Название, данное Нащокиным Наблюдателям, не вызывает протеста Пушкина. Он сообщает о нем как бы даже с некоторым удовольствием (1. 16. 111).

Напомним о публикации в конце 1835 г. в «Московском наблюдателе» пушкинского стихотворения «На выздоровление Лукулла» — едкого памфлета, направленного против министра просвещения С. С. Уварова. К этому времени Пушкин и Уваров — непримиримые враги. Уже весной 1835 г., в черновике письма А. Х. Бенкендорфу, ходатайствуя о назначении цензора из III отделения, вместо обычного, Пушкин мотивирует свою просьбу тем, что он «имел несчастье навлечь на себя неприязнь г. министра народного просвещения» (1. 16. 29, 370). Само разрешение издавать «Современник» получено Пушкиным через Бенкендорфа, помимо Уварова, который был просто уведомлен о решении царя (8. 23).

Редакция «Наблюдателя» публикует стихотворение, не подозревая об его истинном смысле. «Лукулл» вызвал громкий скандал (10. 271—272; 8. 28—30. . .). Пикантность ситуации усугублялась тем, что Погодин и Шевырев, ведущие сотрудники «Наблюдателя», были с Уваровым в наилучших отношениях. Позднее, во времена «Москвитянина», в 1840-е гг., они стали активнейшими пропагандистами теории «официальной народности», сформулированной Уваровым. Но и к середине 1830-х гг. контуры их будущей позиции в достаточной степени определились.

Не останавливаясь на скандале, вызванном публикацией «Лукулла», выскажем одно сомнение: так ли был Пушкин «без вины виноватым», отправляя «Лукулла» именно в «Наблюдатель», журнал проуваровской ориентации. Вряд ли история с «Лукуллом» прибавила симпатий Наблюдателей к Пушкину. Они были потрясены случившимся. Денис Давыдов писал: «Я знаю, что *Наблюдатель* охает» (10. 272).

Знаменательно, что несколько позднее редакция «Московского наблюдателя» не захотела напечатать статью В. Ф. Одоевского в защиту «Современника». Шевырев, которому была послана статья, долго тянул с ответом, а затем, после настоятельного напоминания, вернул ее автору (8. 366—367, 407, 489). С. Л. Абрамович считает, что, в связи с чаадаевской историей, издатели «Московского наблюдателя» «не решились дать ей ход» (8. 367). Но, вероятно, дело было не только в таких опасениях.

Для понимания отношений Пушкина и Наблюдателей важна и заметка об «Истории поэзии» Шевырева. Пушкин работает над ней в начале 1836 г., собирается, вероятно, печатать ее в «Современнике, но по каким-то причинам не заканчивает и не печатает. Между «Лукуллом» и заметкой об «Истории поэзии» Шевырева была связь, зафиксированная некоторыми исследователями, но объясняемая, по нашему мнению, неверно. В целом же значение заметки явно недооценивается, она рассматривается как благоприятный отзыв о Шевыреве. В комментариях даются только даты ее создания, публикации, отмечается, что в ней «Пушкин излагает содержание первой главы книги» (2. 7. 709).

Н. П. Барсуков, сообщая об «Истории поэзии», пишет: «Книга эта чрезвычайно заинтересовала Пушкина». Он напоминает о пушкинской заметке, тоже истолковывая ее

как похвалу Шевыреву, подробно цитирует ее и выражает сожаление, что она не попала в печать (10. 355).

Не придает особого значения пушкинской заметке и Абрамович: она приводит письма Шевыреву, где идет речь о работе Пушкина над заметкой, указывает, что та, видимо, предназначалась для публикации в «Современнике»: «поэт, готовя эту рецензию, стремился загладить свой невольный грех перед редакцией "Московского наблюдателя", к которой, после публикации "Лукулла", цензура стала проявлять особенно придирчивое внимание» (8. 50).

Между тем «История поэзии» вполне заслуживает того, чтобы на ней, в связи с заметкой Пушкина, остановиться подробнее. Книга Шевырева вышла в самом начале 1836 г. (цензурное разрешение дано в конце 1835 г.). Она состояла из 11 чтений, ориентированных на студенческую аудиторию, содержала обзор древне-индийской и древне-еврейской (библейской) поэзии. Но в двух чтениях, помещенных в начале книги, называемых вступительными, Шевырев давал общую характеристику образования и поэзии «главных народов новой Западной Европы». Видимо, первое чтение являлось изложением лекции, открывавшей курс Шевырева в Московском университете, о которой говорит Барсуков: «о характере образования главнейших новых народов Западной Европы» (10. 184).

Шевырев подчеркивал историчность своего метода: «Изучение мое есть чисто-историческое, в соединении с философским воззрением» (6. I). По мнению Шевырева, в его методе сочетаются умозрительное и эмпирическое; философия должна стать душой, история — телом (6. 3). Но уже с самого начала проявлялось недоверие Шевырева к умозрительной теоретичности и иностранной учености. Он призывал юных слушателей к положительному изучению, «не довольствуясь чужими суждениями и не доверяя умозрительным теориям» (6. II).

Антизападнические воззрения Шевырева, характерные для него в 1840-е гг., в «Истории поэзии» еще четко не обозначены; об Европе, ее истории, науке, поэзии говорится с уважением. Шевырев отмечает, что в своем труде он использовал материалы исследований европейских ученых. В сущности, «История поэзии» — компиляция из такого рода материалов. Но уже во вступлении заявляется, что автор главным образом надеялся на собственные силы и средства.

Для книги характерен антифранцузский пафос. Сочувственно отмечая труды немецких ученых, Шевырев явно не одобряет исследователей французских. Он говорит об односторонности французского подхода к изучению словесности: «мы не можем посредством его оценить произведения в его внутреннем эстетическом достоинстве <так. — П. Р.>; ибо Поэзию видим не свободным искусством, а служащим свету, входящим в его цели, интриги, крайности»; «здесь мысль всегда запутана в отношениях общественных <...> всегда жертва общества» (б. 6—7).

Мимоходом Шевырев делает выпад и в адрес современной французской литературы: она даже хуже французского общества, которое все же еще не достигло «до крайней степени разврата и изнеможения» и лучше его литературного изображения; если бы французы судили о себе по литературе, какое бы «ужасное и отчаянное заключение должны были они вывести о современном обществе своего отечества!» (б. 7).

Опыт Запада, по мнению Шевырева, должен предохранить Россию от заблуждений: «да послужит нам уроком; да внушит нам мудрую умеренность, трудолюбивое терпение и разумное избрание»; «Сим средством наконец избегнем и пагубных искушений к предприятиям невозможным» (б. 4).

Изучение европейской литературы, по Шевыреву, полезно и в том плане, что позволяет понять причины явлений, «у нас совершенно не имеющих корня» (с таких позиций он позднее анализировал «Героя нашего времени» и поэзию Лермонтова). В то же время Шевырев утверждает, что будущее русской словесности «может быть разумно обеспечено от подражательности, всегда ни к чему не приводящей»; «ничего нет вреднее как чужая опытность» (б. 10—11).

Высказывается надежда, что со временем русские опередят европейцев, так как чуждаются всякого одностороннего направления: «В их ветхой опытности заключается, может быть, и богатство их и немощь; в нашей молодой свежести — наша нищета и надежда» (б. 11).

Далее идет краткий обзор образования стран Европы. Италия, по словам Шевырева, вышла из античного язычества, «из тучного мира древности; в ней истлел этот колоссальный, роскошный, великолепный труп древнего Рима»,

который пал под ударами варваров и под гнетом своей собственной чувственности. Но сохранились остатки «от этого пира пресыщенной чувственности» (6. 14—15).

С появлением христианства в Италии направление религиозное подчинило себе направление художественное, чувственное, характерное для античности (6. 17). Религия дала душу искусству. Но позднее западная католическая религия, ранее противодействующая чувственности, подчинилась ее влиянию, которое воплотилось в новом прельстительном виде служителя (религии. — П. Р.) — художника. Таким образом направление религиозное перешло в художественное, вновь обратившееся к чувственности, впавшее «в дремоту бездействия, в бессилие изнеженности» (6. 18).

По-иному дело происходило в Испании. Она, вместе с европейским, христианским, приняла и восточную стихию, начало магометанское (6. 19). Арабский мир стал для нее тем, чем для Италии языческий. В ней навсегда сохранился арабский дух. Поэтому христианская религиозность в Испании превратилась в религиозный фанатизм, в инквизицию и т.п. «Религия христианская действовала не водою оживляющею, а огнем мертвящим» (6. 20). И рыцарство здесь стало фанатизмом. Все это определило художественное направление Испании, связанное тоже с арабским началом (6. 23).

«Не так счастливы народы Севера, вскормленные под туманами и снегами, эти сыны нужды и труда, эти пасынки суровой природы» (6. 24). В Англии — нужда, труд, практическое, промышленное направление никогда не давали процветать художественной деятельности, религия здесь никогда не сочеталась с искусствами (6. 26—27).

Германия, с ее феодальной разрозненностью, «воспитанная в диких и туманных лесах своих», обратилась к жизни внутренней, замкнутой. Она всегда стремилась к «тайному отвлеченному началу» (6. 27, 28, 30).

Франция, находясь в центре Европы, «призвана была служить каким-то средоточием в духовном образовании стран западной Европы». Во всех периодах развития в ней преобладали общественные направления, основанные «на глубоком чувстве его (народа. — П. Р.) национального эгоизма»; отсюда «чувство исключительности <...> оскорбительное для всех других наций, чувство враждебное человеческому совершенствованию», «крайности эго-

изма национального» (6. 31 — 35). Кроме того, по мнению Шевырева, на Франции лежит «неизгладимое пятно»: она первая употребила западную религию для своих политических видов. Все это отразилось на французской литературе, где «Поэты — рабские услужники современного вкуса, испорченного развратом и пресыщением» (6. 34).

Как видно из вышесказанного, Франции достается больше всех, но и к Италии, Испании, Англии Шевырев не особенно благосклонен, осуждая их то за языческую чувственность, то за арабские тенденции и фанатизм, за католицизм, безразличие к искусству и пр.

Как бы подводя итоги рассуждениям о Франции и вообще об Европе, упоминая о 1812 годе, Шевырев переходит к вопросу о России. Франция, по его словам, хотела наложить иго своей национальности на все народы и превратить весь мир человеческий в себя. «Но какая страна своими снегами и своим оружием, охладила и пресекла это стремление, и, младшая из всех, была всех великодушнее и избрала девизом: *всякому свое*» (6. 35). Заканчивая первое чтение, Шевырев выражает уверенность, что плоды европейской образованности «может соединить в себе разумным избранием только страна свежая, молодая, сильная», которая мало участвовала в жизни Европы, не приняла ее одностороннего направления, т.е. Россия (6. 35).

Но вернемся к заметке Пушкина. Как уже упоминалось, она не закончена. Ряд слов дан в сокращении, многие положения не развернуты, намечены пунктирно. Все это делает весьма сомнительными какие-либо определенные суждения о заметке. Тем не менее, особенно в контексте других пушкинских материалов, имеются основания для некоторых выводов о рецензии на «Историю поэзии». Из всей довольно толстой книги (333 стр.) Пушкин останавливается лишь на первом чтении (36 стр.), никак этого не оговаривая. Может создаться впечатление, что речь идет обо всей книге, которая, видимо, не интересует рецензента; его внимание привлекает только то, что дает понятие об общей концепции Шевырева.

Первая фраза заметки, на первый взгляд, явно комплиментарная. Complimentарность смысла еще более усиливается восклицательным знаком, вроде бы не нужным, поставленным не совсем кстати, не обусловленным дальнейшим содержанием: «Ист<ория> поэзии явление

утешительное, книга важная!» (1. 12. 65). Сама акцентированность похвалы заставляет насторожиться, однако сомневаться в ее искренности еще нет оснований.

В следующем абзаце такие основания появляются. Пушкин забывает на время о Шевыреве и дает явно ироническую оценку критических высказываний русских об Европе. Начало абзаца, его первая фраза написана еще вроде бы в серьезном тоне. В конце же, начиная с французских слов, ирония звучит совершенно отчетливо: «Россия по своему положению, географич.<ескому>, политич.<ескому> etc. есть судилище, приказ Европы. — Nous sommes les grands joueurs. Беспристрастие и здравый смысл наших суждений касательно того, что делается не у нас, удивительны — примеры тому» (1. 12. 65). Кстати, слова о «географическом, политическом etc.» положении России, как и встречающиеся позднее: «Франция, *среди точие Европы*», вероятно, пародия на аналогичные слова Шевырева о положении Франции, цитируемые выше.

Далее по логике вещей должны бы следовать примеры, подтверждающие мысль Пушкина, но примеров нет. Вместо них начинается новый абзац, к Шевыреву прямого отношения не имеющий, но смыкающийся с ироническим звучанием слов предыдущего абзаца о «здоровом смысле наших суждений»: «Критика литературная у нас ничтожна: почему? потому, что в ней требуется не одного здравого смысла, но и любви и науки» (1. 12. 65). Затем, после слов «Взгляд на нашу критику», Пушкин называет ряд имен разного плана (два — критиков архаической ориентации, третье — карамзиниста, активного участника «Арзамаса»): «— Мерзляков—Шишков—Дашков—etc.» (1. 12. 65), и только после этого возвращается к Шевыреву.

Если бы похвалы «Истории поэзии» были серьезными, то Пушкин должен был бы здесь противопоставить ее той ничтожной критике, удивительным примерам странных суждений об Европе, о которых шла речь в начале заметки. Но он и не думает делать этого, а просто переходит к изложению содержания книги, с ее вступления. Тон рассказа об «Истории поэзии» подчеркнуто объективный, без малейшего намека на отношение рецензента к ней: «Шевыр.<ев> при самом вступлении своем обещает не следовать ни эмпирич.<еской> сист.<еме> франц.<узско>й кр.<итик>и, ни отвлеченной филос.<офии> немцев (Стр. <6—11>). Он изби-

рает способ изложения историч.<еск>ий — и поделом: таким образом придает он науке заманчивость рассказа» (1. 12. 65). Лишь одно словечко, «поделом», т.е. «справедливо», «так и нужно» имеет какой-то оценочный оттенок, не то похвалы, не то насмешки. Напомним, что Шевырев особенно напирал на независимость и самостоятельность своих суждений.

Далее у Пушкина идет изложение основных положений книги. Именно эта часть производит впечатление наиболее законченной: «В Италии видит он чувственность римскую, побежденную христианством — обретающую покровительство религии — воскресшую в художествах, покорившую своему роскошн.<ому> влиянию строгий кафолицизм и снова овладевшую своей отчиною.

В Испании признает он то же начало — но встречает мажров и видит в ней магометанское направление (?).

Оставляя роскошный юг, Ш<евырев> переходит к северным народам, рабам нужды, пасынкам природы.

В туманной Англии видит он нужду, развивающую богатство — промышленность, труд, изучение — литературу без преданий etc., вещественность. <...> Франция, *средоточие Европы*, представительница жизни общественной, жизни всё вместе эгоистической и народной. В ней наука и поэзия — не цели, а средства. Народ (*der Herr Omnis*) властвует со всей отвратительной властью демократии. — В нем все признаки невежества: презрение к чужому, *une morgue pétulante et tranchante* etc.

Девиз России: *Suum cuique*» (1. 12. 65–66).

Знаменательно, что, по словам Пушкина, Шевырев считает первым признаком невежества французского народа его «презрение к чужому» (1. 12. 66). Но ведь это презрение пронизывало книгу самого Шевырева и было достаточно ясно отражено в изложении Пушкина.

Думается, пушкинский пересказ Шевырева — тонкая ирония, довольно умело замаскированная. Передавая содержание «Истории поэзии», Пушкин пародирует и концепцию, и стиль книги, антизападнические и антикатолические тенденции автора, претенциозность и манерность, категоричность, назидательность и самоуверенность, позднее высмеянные Белинским в «Педанте». Свою оценку излагаемого Пушкин передает то вопросительным знаком, поставленным в скобках, то шевыревским эпитетом «роскошный», то словосочетанием — реминисценцией («рабы

нужды, пасынки природы» — у Шевырева «сыны нужды и труда, эти пасынки суровой природы»), то корявым словосочетанием, имитирующим язык книги («жизни всё вместе эгоистической и народной»), то курсивом («средоточием Европы»), то обилием *etc.*, но, в первую очередь, умелым подбором приводимого текста. Такой прием был характерен, между прочим, и для Белинского, умевшего, не выражая прямо своего мнения, одним пересказом (иногда иронически-восхищенным) и цитированием, совершенно уничтожить противника.

Замаскировав иронию, Пушкин, видимо, все же опасался, что она будет понята, и, чтобы избежать нового конфликта с Наблюдателями, не закончил и не напечатал статьи. Но к мыслям, определившим ход ее создания, он обращается в рецензии «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной. . .», напечатанной в 3-м томе «Современника». Исследователи считают ее одним из лучших литературно-критических выступлений Пушкина (8. 254—255).

Как и в случае с «Письмом к издателю», о чем пойдет речь ниже, Пушкин заранее готовит читателей к восприятию своей рецензии. В статье «Российская академия» («Современник». Том 2-й), упомянув о Лобанове, Пушкин обещает поговорить об его «Мнении. . .» подробнее: «Мнение сие заслуживает особенного разбора, как по своей сущности, так и по важности места, где оно было произнесено» (1. 12. 45). Отметим, между прочим, что такая предварительная подготовка встречается часто и у Белинского, особенно, когда речь идет о будущих важных, программных выступлениях.

Статья о «Мнении. . .» Лобанова построена иначе, чем отзыв об «Истории поэзии». Пушкин не маскирует своего отношения к «Мнению. . .», несогласия с его автором. Но было и нечто общее в рассматриваемых статьях. Пушкин как бы дает слово самим Шевыреву и Лобанову, в одном случае путем близкого к стилю текста пересказа, в другом — подробного цитирования.

Резко нападая на романтизм, обвиняя его в проповеди безнравственности, в изображении грязных, мерзких сцен, Лобанов осуждал современную французскую литературу, по существу — все французское. «Для Франции, — пишет г. Лобанов, — для народов, отуманенных гибельною для человечества новейшею философией, огрубе-

лых в кровавых явлениях революций и упавших в омут душевного и умственного разврата, самые отвратительнейшие зрелища <...> не кажутся им таковыми» (1. 12. 68).

Лобанов доказывал, что тлетворное французское влияние пагубно отражается и на русской литературе. Он призывал цензуру быть более строгой, а академию — взять на себя часть цензурных обязанностей.

Пушкин решительно опровергал по всем пунктам доводы Лобанова. По поводу нападок на Францию он вопрошал: «Спрашиваю: можно ли на целый народ изрекать такую страшную анафему?» (1. 12. 69). Он утверждал, что народ не может отвечать за произведения нескольких молодых писателей, даже если они употребляют во зло свои таланты. Да и само зло, по мнению Пушкина, Лобановым явно преувеличено: «мы не думаем, чтоб нынешние писатели представляли разбойников и палачей в образце для подражания <...> Зачем же и в нынешних писателях видеть преступные замыслы <...>?» (1. 12. 69. Курсив Пушкина).

Знаменательно, что Белинский, несколько ранее Пушкина, в статье «О критике и литературных мнениях "Московского наблюдателя"», по тому же поводу, почти в тех же словах, обвиняет Шевырева: «Мы не можем понять, как можно по одному примеру и по одному литератору делать такое невыгодное заключение о целой литературе и произносить ей такой грозный приговор?» (5. 2. 143).

Напомним, что появлению статей, содержащих нападки на современную французскую литературу, содействовал и Уваров (5. 2. 709), об отношении к которому Пушкина мы уже говорили. Отметим и другое. В начале 1830-х гг., в письме к Погодину, сам Пушкин резко критикует современную французскую литературу, говоря о желании высказать свое мнение публично. Но ведь в то время он и к Уварову, еще не ставшему министром, относится довольно благожелательно, как и Уваров к Пушкину (1. 14. 236; 15. 29, 32; 10. 81). Однако к середине 1830-х гг. кое-что изменилось. Тема «Франция и Россия», с отнюдь не антифранцузским акцентом, становится одной из важнейших тем «Современника» (15. 211–212).

Отвергает Пушкин и мнение Лобанова о гибельности «новой философии»: «Умствования великих европейских мыслителей не были тщетны и для нас. Теория наук освободилась от эмпиризма, возымела вид более об-

ций, оказала более стремления к единству. Германская философия, особенно в Москве, нашла много молодых, пылких, добросовестных последователей, и хотя говорили они языком мало понятным для непосвященных, но тем не менее их влияние было благотворно и час от часу становится более ощутительно» (1. 12. 72; 2. 7. 709). Комментаторы указывали, что Пушкин имеет здесь в виду так называемых любомудров (с ними связан и Шевырев), но во многом приведенные слова (особенно последние) могут относиться и к концепциям Надеждина, материалам, публиковавшимся в «Телескопе».

Характерно, что в данном вопросе Лобанов и Шевырев вновь оказываются единомышленниками. Шевырев, полемизируя с Надеждиным об «Истории поэзии», признавал, что он не охотник до логических построений, «особливо так называемых, которые вы переняли у Германии. Перед немецкой ученостью я благоговею, но страсть к логическим построениям не есть ее лучшая сторона». По этому поводу Белинский в статье «Вторая книжка "Современника"» иронически упоминал о журнале, который считает, что логика только вредит (5. 2. 237, 721).

Вряд ли можно утверждать, что отношение Пушкина к «Мнению...» Лобанова и к концепции Шевырева тождественно, но в чем-то оно сходно. В их враждебности к Франции, к ее литературе, в охранительном пафосе было много общего; отчетливо выраженная Пушкиным оценка «Мнения...» проясняет его замаскированную иронию по поводу книги Шевырева.

На «Историю поэзии» откликнулся в «Телескопе» Надеждин. Напомним, что Погодин, Шевырев, Надеждин, — коллеги, профессора Московского университета, друзья. Перед самым началом полемики, во второй половине 1835 г., Надеждин и Погодин вместе путешествуют по Европе (10. 101, 102, 108, 210, 329—330...). Статья Надеждина об «Истории поэзии» в целом не была резкой, но Шевырев обиделся, началась полемика (10. 355—357, 448; 5. 2. 723). Не вдаваясь в ее подробности, отметим, что Надеждин упрекал Шевырева за то, что он подходит к истории поэзии, как эмпирик, пренебрегая постижением законов ее развития.

Но главные расхождения, ссоры между Наблюдателями и Надеждиным, по словам Барсукова, возникли из-за Белинского, ставшего сотрудником «Телескопа» и не це-

ремонившегося с Наблюдателями (10. 354). Не следует забывать, что Белинский — бывший студент Московского университета, слушал лекции Шевырева, в частности, первую лекцию, видимо, ставшую основой для вступительных чтений «Истории поэзии» (5. 2. 283; 10. 184), хорошо знаком со студенческим мнением о нем. Барсуков рассказывает, как к середине 1830-х гг. это мнение, сперва весьма сочувственное, резко изменилось. Станкевич, довольно одобрительно отзывавшийся о Шевыреве, позже характеризует его так: «Шевырев обманул наши ожидания; он педант» (10. 350, 351, 185, 186). Белинский не мог не быть в курсе этих дел. Не случайно название его более поздней статьи о Шевыреве, «Педант», повторяет оценку, данную Станкевичем.

Белинский начинает борьбу с «Наблюдателем», с Шевыревым уже с весны 1835 г. Еще до появления статьи «О русской повести и повестях г. Гоголя», сообщая о выходе «Арабесок» и «Миргорода», он полемизирует с положениями Шевырева, высказанными в статье «Словесность и торговля». Белинский пишет о людях, приписывающих неудачу своих произведений «какому-то меркантильному направлению и торговым расчетам гг. авторов; по моему мнению, это странное явление можно всего естественнее и всего справедливее объяснить *бездарностью* гг. авторов: истинный талант не могут убить ни хорошая плата за заслуженные труды, ни резкая критика» (5. 1. 174).

В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» Белинский много раз спорит с Шевыревым, то называя его по имени, то намекая на него (5. 1. 280, 283, 292, 305, 307). Шевыреву и Погодину доставалось и в других статьях 1835 г. (5. 1. 312—313, 328, 362; 10. 354). Еще более резко оба оцениваются в 1836 г. В статье «Ничто о ничем...», обещая поговорить о «Наблюдателе» позднее, Белинский утверждает, что тот «нисколько не оправдал надежд»; из всех обещаний он выполнил лишь одно: «Со стороны своей благонамеренности "Наблюдатель" не изменил своей программе; но благонамеренность и талант или умение, к несчастью, не одно и то же!..» (5. 2. 46).

В следующем томе «Телескопа» была опубликована статья «О критике и литературных мнениях "Московского наблюдателя"», обещанная ранее. Белинский довольно подробно разбирает статью Шевырева «Словесность и торговля», оценки им «Миргорода» Гоголя, поэзии Бенедиктова, повестей Павлова, отзывы о Каратыгиных и

пр. С большинством из них Белинский решительно не согласен; проанализировав их, он приходит к выводу, что основная идея и цель «Московского наблюдателя» — «паркетность» (5. 2. 136): он «старается о распространении светскости в литературе», хочет «одеть нашу литературу в модный фрак и белые перчатки, ввести ее в гостиную и подчинить зависимости от дам» (5. 2. 176). Здесь же шла речь об оценке Шевыревым современной французской литературы, о чем говорилось выше.

Не обходит Белинский и «Историю поэзии». В статье «Опыт системы нравственной философии <...> Дроздова», он мимоходом отзывается о книге весьма иронически, имея в виду пренебрежение Шевырева к умозрению: «Недавно как-то в одном журнале отстаивали от жестких нападок здравого смысла плохенькую приятельскую книжонку <...> Вот что значит основываться на фактах без мысли! <...> Смешно и жалко!» (5. 2. 241—42, 723). Резкая оценка «Истории поэзии» содержится и в статье «Молвы» «Признаки мыслительности и жизни в Московском наблюдателе», которую Барсуков приписывает Белинскому: «тут еще нет мыслительного движения, тут, напротив, царствует горячее ожесточение против мысли» (10. 357; 5. 2. 712).

Любопытно, что враждебность к Белинскому оттеснила на второй план борьбу Наблюдателей с «Библиотекой для чтения». Последняя публикует сочувственный отзыв на книгу Погодина «Начертание русской истории для гимназий», раскритикованную Белинским (10. 285; 4. 1. 312). Погодин помещает свои статьи «Период самозванца» и «Кто написал Несторову летопись?» в «Библиотеке...» (10. 289, 293).

Но вернемся к «Письму к издателю», напечатанному за подписью «А. Б. Тверь. 23 апреля 1836". Придавая, видимо, большое значение публикации этого письма, Пушкин известил о нем заранее: во 2-м томе «Современника» появилась редакционная заметка, в которой упоминалось о письме: «Статья, присланная нам из Твери с подписью А. Б., не могла быть напечатана в сей книжке по недостатку времени.

Мы получили также статью г. Косичкина. Но, к сожалению, и эта статья доставлена поздно, и мы, боясь замедлить выход этой книжки, отлагаем ее до следующей» (1. 12. 183).

Преуведомительная заметка, видимо, имела несколько задач: намекнуть на авторство Пушкина (упоминание его псевдонима *Косичкин*), предупредить Булгарина о возможности отпора в связи с его нападками на «Современник» (под псевдонимом *Косичкин* Пушкин выступал против Булгарина в начале 1830 г. в «Литературной газете»). Об этих задачах, о том, что «намек оказался недостаточно ясным», говорится в примечаниях к заметке (2. 7. 717). Но имелись и другие задачи, да и неясность намека, видимо, была запланирована.

Суть редакционной заметки — обратить внимание на «Письмо к издателю», напечатанное в следующем томе. В то же время она придавала правдоподобие маске тверского корреспондента, делала его реальным и для читателей, и, возможно, для редакционного круга «Современника», в том числе и для Гоголя.

Само «Письмо к издателю» сопровождалось примечанием Пушкина, выступавшего на этот раз не под маской: «С удовольствием помещая здесь письмо г. А. Б., нахожусь в необходимости дать моим читателям некоторые объяснения. Статья *О движении журнальной литературы* напечатана в моем журнале, но из сего еще не следует, что все мнения, в ней выраженные с такою юношескою живостию и прямотою, были совершенно сходны с моими собственными. Во всяком случае, она не есть и не могла быть программю «Современника»» (1. 12. 98).

Последнее не совсем соответствовало действительности. Как уже указывалось, статья Гоголя была во многом программной. Но и «Письмо к издателю», довольно короткое, является тоже программой «Современника», чрезвычайно важной и принципиальной, существенно отличающейся и от положений, высказанных в статье «О движении журнальной литературы», и от точки зрения некоторых литераторов редакционного круга журнала. Пушкинская программа осталась неосуществленной, она относится к ряду замыслов, прерванных смертью поэта, но это не делает ее менее интересной и значимой.

Похвалив статью «О движении журнальной литературы», А. Б. все же полагает, что она не может считаться программной, «не соответствует тому, чего ожидали мы от направления, которое дано будет вами вашей критике» (1. 12. 94).

А.Б. находит неправомерным, что слишком уж много внимания в статье «О движении журнальной литературы» уделяется Сенковскому и «Библиотеке для чтения»: «По мнению вашему, вся наша словесность обращается около "Библиотеки для чтения". Все другие повременные издания рассмотрены только в отношении к ней» (1. 12. 94).

Не оспаривая общей оценки Сенковского, А. Б. не согласен с некоторыми упреками, высказанными в его адрес. Прежде всего это касается упрека в большем количестве подписчиков; остановившись на нем, А. Б. так его комментировал: «Что же касается до последнего пункта, т.е. до 5000 подписчиков, то позвольте мне изъявить искреннее желание, чтоб на следующий год могли вы заслужить точно такое же обвинение» (1. 12. 96).

Не согласен А. Б. с автором статьи «О движении журнальной литературы», когда тот упрекает Сенковского, что он «не всегда соблюдает тон важности и беспристрастия» (1. 12. 95). Характерно, что здесь А. Б. дважды обращается к понятию «требования публики»: «Публика требует отчета обо всем выходящем»; «Но если публика того требует непременно, зачем ей не угодить?» (1. 12. 95). Да и вообще слово «публика», как некий критерий оценки, употребляется в «Письме...» несколько раз.

В связи с этим следует остановиться еще на одном упреке А. Б. автору статьи «О движении журнальной литературы»: «Вы говорите, что в последнее время заметно было в публике равнодушие к поэзии и охота к романам, повестям и тому подобному» (1. 12. 97). Такое предпочтение, по мнению А. Б., вовсе не заслуживает осуждения: «Но поэзия не всегда ли есть наслаждение малого числа избранных, между тем как повести и романы читаются всеми и везде?» (1. 12. 98). И в данном случае, как и в других, А. Б. ориентируется на широкий круг читателей, которые противопоставляются «малому числу избранных». По сути дела, он солидаризуется с мнением Белинского, основанном на анализе произведений Гоголя, что поэзия оттесняется прозой, которая более в духе времени.

А. Б. хвалит «Библиотеку...» за аккуратность выхода, за разнообразие статей, за свежие европейские новости, за отчет о «литературной всячине», т.е. опять же за ориентацию на широкий круг читателей и его потребности. Здесь содержится упрек в том, «что многие литераторы, уважаемые и любимые нами, отказались от соучастия

в журнале г. Смирдина...», как бы метящий в Пушкина (1. 12. 97). Цель его, вероятно, — придать большую реальность облику А. Б., отграничить его от личности издателя «Современника».

Наконец А. Б. упрекает автора статьи «О движении журнальной литературы» за то, что он не упоминает о Белинском: «Жалею, что вы, говоря о "Телескопе", не упомянули о г. Белинском. Он обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостью мнений и с остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, — словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного» (1. 12. 97; 3. 3. 327—28). К процитированным словам исследователи обращались многократно, как к свидетельству прозорливости Пушкина, высокой оценки им творчества молодого Белинского.

Упомянув с похвалой о Белинском, А. Б. делает ряд оговорок, но тем не менее отзывается об его деятельности весьма положительно. Не исключено, что оговорки, важные по сути, отражающие мнение Пушкина, в какой-то степени имеют и тактический смысл, должны успокоить кого-то (может быть, и из сотрудников «Современника»), недовольного похвалами Белинскому.

Следует отметить, что в черновике гоголевской статьи тоже говорилось о Белинском: «В критиках Белинского, помещавшихся в Телескопе, виден вкус, хотя еще не образовавшийся, молодой и опрометчивый, но служащий порукою за будущее развитие, потому что основан на чувстве и душевном убеждении. При всем этом в них много есть в духе прежней семейственной критики, что вовсе неуместно и неприлично, а тем более для публики» (4. 533).

В окончательном варианте похвала Белинскому снята. Мы не будем делать предположений о возможных причинах ее исчезновения. Нас интересует Пушкин. Он, видимо, был хорошо знаком с деятельностью Белинского. Оценка его — не пустые слова. Она основана на знании материалов, публиковавшихся в «Телескопе», который Пушкин читал. В 1836 г. Надеждин посылает Пушкину билет на получение «Телескопа». Пушкин благодарит и обещает высылать Надеждину «Современник» (1. 16. 104). В мае, в Москве, Пушкин, видимо, интересуется Белин-

ским и как предполагаемым влиятельным рецензентом, и как возможным сотрудником. Уже в 1826 г., думая об издании журнала, Пушкин понимает значение для его успеха ведущего критика, считает, что на эту роль подходил бы Катенин (1. 13. 279). Естественно, что в 1836 г., когда речь шла о подборе сотрудников «Современника», имя Белинского всплывало в памяти. О нем, как и о Наблюдателях, говорилось в беседах с Нащокиным. Пушкин не встретился с критиком, видимо, опасаясь обострения отношений с Наблюдателями, но он говорил Нащокину о своем намерении пригласить Белинского в «Современник». По словам Нащокина, «критику стало известно о намерении Пушкина». Кольцов вспоминал, что в 1836 г., в Москве, Пушкин «прочел с большой охотой» статью Белинского, которую ему показал Чаадаев (8. 176, 178, 220). Таким образом, у последнего говорилось о критике «Телескопа».

В конце мая, вернувшись в Петербург, Пушкин посылает Белинскому, тайком, через Нащокина, экземпляр «Современника» и просит передать сожаление о несостоявшейся встрече (1. 16. 121). К этому времени, в результате впечатлений, полученных в Москве, Пушкин, вернее всего, перестал надеяться на сотрудничество Наблюдателей, что могло оживить желание поддерживать контакты с Белинским.

В первой половине ноября, когда «Телескоп» был запрещен и Белинский остался без работы, Нащокин советует Пушкину пригласить его в «Современник», сообщая, со слов друзей Белинского, в частности, Щепкина, что тот примет предложение: «он будет очень счастлив на тебя работать». Письмо попало к Пушкину «в самый разгар ноябрьской дуэльной истории» и осталось без ответа (8. 399).

Следует помнить при этом, что Белинский, начиная с «Литературных мечтаний», весьма сдержанно, чтобы не сказать отрицательно, оценивал творчество Пушкина последних лет: «Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, только обмер на время»; «мы должны оплакивать горькую, невозвратимую потерю» (5. 1. 73). Приведенная мысль о закате пушкинского творчества неоднократно повторяется и в других статьях (5. 1. 139, 2. 75, 82...).

Особо следует остановиться на откликах Белинского на два тома «Современника». К первому из них критик отнесся еще относительно доброжелательно. В ре-

цензии «Несколько слов о "Современнике"» он возлагает на журнал определенные надежды, хотя считает, что тот не будет иметь успеха. Наибольшие похвалы высказаны Белинским по поводу статьи «О движении журнальной литературы», в которой отразились «дух и направление нового журнала» (5.2.180). Белинский с симпатией цитирует начало статьи и на основании его делает вывод, что редакция «Современника» «имеет настоящий взгляд на журнал» (5. 2. 180). В конце статьи высказывается пожелание, чтобы осуществились надежды, которые рождает имя издателя «и резкая определенность его мнений о деятельности своих собратий по ремеслу» (5. 2. 184). Последние слова подкрепляют предположение, что Белинский считал Пушкина автором статьи «О движении журнальной литературы».

Однако уже здесь Белинский резко отзывается о Вяземском: «Что же касается до кн. Вяземского, то избавь нас Боже от его критик так же, как и от его стихов. . . » (5. 2. 183. Многозначия текста). Остановившись на отзывах «Современника» о «Московском наблюдателе», Белинский находит, что они похожи на мнения «Телескопа», «только немного понисходительнее» (5. 2. 181). Он упрекает автора статьи «О движении журнальной литературы» в противоречивости: тот говорит о безжизненности, отсутствии общего мнения «Наблюдателя», но и восхищается «перлами поэзии», там напечатанными, восторгается критическими статьями Шевырева; вообще «Современник», при всей своей откровенности, «обнаруживает какую-то симпатию к "Наблюдателю"» (5. 2. 181). Белинский такую симпатию явно не одобряет.

Несколько позднее, в статье «Метеорологические наблюдения над современною русскою литературою», Белинский уже прямо сопоставляет «Современник» с «Московским наблюдателем», говоря о двух «светских» журналах, московском и петербургском, хотя и не называет их. Видно, что здесь критик относится более строго к статье «О движении журнальной литературы», не думает, что автор ее Пушкин, да и вообще отделяет от него журнал, издающийся «под щитом знаменитого и громкого, но совершенно невинного в этом издании имени» (5. 2. 205).

Незадолго до запрещения «Телескопа» в «Молве» напечатано заявление «От Белинского». Отвечая на нападки различных журналов, критик упоминает и «Современник», вновь не называя его: «В "светских" журналах стре-

ляют в меня намеками, разбором моих фраз, выносками» (5. 2. 230). Имеется в виду сносок в статье Вяземского, опубликованной во втором томе «Современника» (3. 2. 290).

В том же номере «Молвы» помещена рецензия «Вторая книжка "Современника"» — резкое осуждение пушкинского журнала. Белинский считает, что во второй книжке «участия Пушкина нет никакого»; «она показала явно, что "Современник" есть журнал "светский", что это петербургский "Наблюдатель"» (5. 2. 234). Любопытно то, что Белинский вновь отграничивает журнал от Пушкина, а последний как бы отчасти соглашается с упреком критика. Одну из редакционных заметок, напечатанных в третьем томе «Современника», он начинает словами: «Обстоятельства не позволили издателю лично заняться печатанием первых двух номеров своего журнала» (1. 12. 184).

Особенно непримиримо Белинский отзывается о трех статьях, подписанных буквой В (т.е. Вяземского). Именно оценка их, в первую очередь, статьи о «Ревизоре», составляет главное содержание и пафос рецензии Белинского. По его словам, статьи В «самые "светские"», «должны совершенно уронить "Современник"»; в них ощущается «самая глубокая симпатия к московскому "светскому" журналу (т.е. к "Наблюдателю". — П. Р.) и беспредельное уважение к его критике» (5. 2. 237). С насмешкой говорится о восхищении Вяземского «высшим обществом», о пренебрежительном отношении к людям, не принадлежащим к «свету»; вновь намекается на его нападки, направленные против Белинского. Барсуков, рассказывая про статью Вяземского о «Ревизоре», сообщает, что она привела Белинского в негодование (10. 375). Белинский воспринял ее несколько односторонне и повышенно эмоционально, но для такого восприятия, думается, были основания. Не останавливаясь на статье Вяземского, отметим, что в ней на самом деле имелись и восхваления «Наблюдателя», и панегирики «свету», и выпады в адрес «Телескопа» (3. 2. 289, 290, 296, 297). Для нас сейчас важно другое. Рецензия на «Современник» не заставила Пушкина воздержаться от положительного отзыва о Белинском.

Не вызывали его возмущения и многочисленные резко отрицательные оценки материалов «Наблюдателя». Более того, похвала Пушкина Белинскому основывалась на таких оценках (они ведь являлись программными, наиболее характерными для «Телескопа» 1836 г.). Они формировали представления Пушкина о Белинском. Пушкин

разделял, нередко повторял многие из них. Размышления Пушкина и Белинского о качествах, необходимых для журнала, в чем-то совпадали. Как раз в то время, когда Белинский резко осудил второй том «Современника», Пушкин предпринимает ряд действий, которые должны были преобразовать его журнал именно в духе требований критика. Он покупает большое количество иностранных книг, в том числе романов, думает о необходимости популярных научных статей, доступных пониманию читателей (8. 108, 115, 116, 120, 149, 217, 226, 240, 243, 255, 315. . .).

В этом же русле следует рассматривать и ориентацию Пушкина на занимательное, популярное чтение. Исследователи неоднократно указывали, что последний год жизни Пушкина — год тяжелых переживаний, мрачных раздумий. Это верно. Но 1836 г., время издания «Современника», является и годом искрометной игры, мистификаций, веселой, а иногда и не совсем безобидной иронии, смакования острых ситуаций, создаваемых нередко самим поэтом. Отметим лишь то, что непосредственно касается нашей темы.

Игра начинается с публикации послания к Лукуллу, где под маской подражания античности скрывается современнейшая сатира на Уварова, напечатанная в самом проуваровском журнале. Затем идет история со статьей Гоголя «О движении журнальной литературы», поданной так, что многие современники, в том числе Белинский, приняли ее за пушкинскую. Далее отклик на «Историю поэзии» Шевырева, не опубликованный, но предназначенный для «Современника», где под видом похвалы содержалась едкая ирония. Потом «Письмо к издателю», где подлинный Пушкин, замаскированный под тверского обывателя А. Б., полемизирует с мнимым Пушкиным, автором статьи «О движении журнальной литературы». Мистификацией является и пушкинская статья «Последний из свойственников Иоанны д'Арк», опубликованная в «Современнике» уже после смерти ее автора (2. 7. 715; 12. 57; 14; 8. 483 — 484).

В той же цепочке игры важное место занимают три произведения, напечатанные в трех томах «Современника», следующих друг за другом (2, 3, 4). Первое из них — «Записки Н. А. Дуровой, издаваемые А. Пушкиным» (без подписи). Они оформлены так, что можно было заподозрить мистификацию, приписать авторство самому Пушкину. И вновь, как и в случае со статьей Гоголя, Белинский

попался на крючок. В рецензии на второй том «Современника», резко отрицательной, он хвалит «Записки...», добавляя при этом: «Если это мистификация, то, признаемся, очень мастерская; если если подлинны записки, то занимательные и увлекательные до невероятности» (5. 2. 236). Предполагая, что автор Пушкин, Белинский высказывает сомнение, что таким языком могли писать в 1812 г., когда якобы создавались «Записки...».

Другое произведение того же ряда — «Отрывок из неизданных записок дамы» (пушкинский «Рославлев», опубликованный также без подписи). Здесь вновь мистификация, но иного рода: свое произведение Пушкин выдает за чужое. Как и в случае с произведением Дуровой, речь идет об Отечественной войне, повествование ведется от лица женщины, выдержано в форме записок.

Наконец, в четвертом томе печатается «Капитанская дочка», вновь в форме записок на историческую тему, за подписью *Изгатель* (непонятно, издатель чего, «Современника» или «Капитанской дочки»), причем Пушкин тщательно скрывает свое авторство, просит цензора не упоминать о нем, а объявить, что рукопись доставлена через Плетнева (1. 16. 178). Не мудрено было запутаться во всем этом, на что и рассчитывает Пушкин. Заметим, что все три произведения связаны с наполеоновским мифом (1836 г. — Бородинская годовщина), что мотив самозванца является в русской традиции некоторым инвариантом мотива Наполеона (13. 000). Эти же три произведения отражают ориентацию Пушкина на публикацию в журнале занимательного, увлекательного чтения, интересного для широкого круга читателей и в то же время высокохудожественного, не опускающегося до уровня низкопробных романов.

И в письме А. Б., и в объявлении об издании «Современника» в 1837 г. (обе заметки напечатаны в 3-м томе) Пушкин настаивал: «Современник» нигде не формулировал своей программы. Связывая направление журнала с традициями «Литературной газеты», он напоминал: «Современник» — «литературный журнал», эти слова «заключают в себе достаточное объяснение» (1. 12. 183). По сути же дела речь шла о следующем: программа «Современника» не ограничена ни тем, что сказал Гоголь, ни тем, о чем писала «Библиотека...» (якобы пушкинский журнал создан специально для борьбы с нею), ни тем, наконец, что утверждал Белинский в рецензии на вторую

книгу «Современника» на основании статьи Вяземского о «Ревизоре». Принципы, которыми Пушкин собирался руководствоваться при издании, отразились в последних томах «Современника». А в «Письме к издателю» эти принципы обосновывались теоретически, намечая путь, которым намерен был идти редактор.

В целом же анализируемые нами пушкинские статьи весьма важны для выяснения направления «Современника». В статье Гоголя «О движении журнальной литературы» оно противопоставлено реакционному «журнальному триумvirату». В «Письме к издателю», в рецензиях на «Историю поэзии», на «Мнение...» Лобанова, в редакционных заметках оно отграничивается от замкнутой салонно-дворянской, светской сословности, от «официальной народности», свидетельствует о пушкинской ориентации на широкий, в конечном итоге, демократический круг читателей, на новые ценности, принимаемые далеко не всеми сотрудниками «Современника», давними знакомыми поэта. И это во многом перекликалось с Белинским, с «Телескопом».

Для полноты картины следует помнить, что в 3-м томе «Современника» (С. 152—157) напечатана «Родословная моего героя», тоже программная, дополняющая представления о сложной, многоплановой, чуждой всякой односторонности позиции Пушкина.

#### ЛИТЕРАТУРА

- 1 Пушкин. Полн. собр. соч.: В 17 т. М.; Л., 1937—1959.
- 2 Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Изд. 3. М., 1962—1965.
- 3 Современник. 1836. Т. 1—4.
- 4 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 8. М., 1952.
- 5 Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.; Л., 1953—1959.
- 6 Шевырев С. <П.> История поэзии. М., 1836.
- 7 Сенковский <П. С.> Арабески. Разные сочинения г. Гоголя. //Библиотека для чтения. 1835. Т. IX. Литературная летопись.
- 8 Абрамович С.<Л.> Пушкин. Последний год. Хроника. М., 1991.
- 9 Абрамович С. Л. Пушкин в 1836 году. Изд. 2-е. Л., 1989.
- 10 Барсуков Н.<П.> Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 4. СПб., 1891.

- 11 Гиллельсон М. И. Пушкинский «Современник» // Современник. Литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. Приложение к факсимильному изданию. М., 1987.
- 12 Егоров Б. Ф. О жанрах литературно-критических статей Пушкина // Болдинские чтения. Горький, 1978.
- 13 Лейбов Р. <Г.> 1812: две метафоры. См. настоящее изд.
- 14 Фомичев С. А. Последнее произведение Пушкина // Русская литература. 1987. N 3.
- 15 Эткинг Е. Г. Незамеченная книга Пушкина // Revue des études slaves. T. 59. Fas. 1-2. Paris, 1987.

## ИЗ КОММЕНТАРИЕВ К ПЕРВОМУ ТОМУ «МЕРТВЫХ ДУШ»

В. БЕСПРОЗВАННЫЙ, Е. ПЕРМЯКОВ

### К вопросу о датировке исторического времени I тома поэмы.

Вопрос датировки исторического времени поэмы неоднократно привлекал внимание исследователей (Случевская; Елистратова; Боровой; Саннинский; Смирнова-Чикина; Никишаев; Антокольский). Как нам кажется, все эти работы имеют одну общую черту при всем разнообразии их выводов. Авторы их считают, что обнаруженные ими возможности датировки некоторых реалий позволяют сделать вывод относительно исторического времени всего текста. При этом, по нашему мнению, игнорируются два существенных момента:

- а) отбрасываются без убедительной аргументации реалии, дающие иные выводы об историческом времени;
- б) «Мертвые души» рассматриваются как исторический источник, а не как художественный текст. Поэтому возникают дискуссии об анахронизмах, авторских недосмотрах и ошибках. Особенности гоголевской поэтики остаются вне поля зрения.

Все разнообразие выводов указанных работ можно свести к двум:

- 1) в поэме изображено время второй половины царствования Александра I (Елистратова; Случевская; Антокольский). Основными аргументами в пользу этой гипотезы служат: авторское указание «<...> все это происходило вскоре после достославного изгнания французов <...>» и версия чиновников, что Чичиков — это переодетый Наполеон, выпущенный англичанами с острова Елены. Исследователи полагают, что «действие поэмы происходит до 1821 года, т.е. до года смерти Наполеона» (Случевская, с. 196; см. также: Елистратова, с. 105).

2) Другая точка зрения наиболее интересно представлена в работе Е. Смирновой-Чикиной, считающей, что время действия в поэме можно отнести к началу 30-х гг. XIX в. Основанием для датировки служат основные этапы биографии Чичикова (Смирнова-Чикина, с. 172—174).

Особо хочется остановиться на статье Е. Никишаева. Отметим замечания автора, с которыми нам трудно не согласиться: «Считаем принципиально важным подчеркнуть, что при выявлении времени действия "Мертвых душ" необходимо учитывать не только самые факты, отразившиеся в них, но и своеобразие использования историко-фактического материала, ориентировавшееся при этом на художественное целое поэмы, на особенности повествования и образно-композиционного строя» (Никишаев, с. 104). И далее: «Приняв во внимание всю сумму примет времени в тексте "Мертвых душ", следует признать, что общие историко-хронологические рамки их содержания определяются 10—40 годами» (Никишаев, с. 104). Этим правильным, как нам кажется, посылакам явно противоречат выводы, которые делает автор статьи: «Сопоставление целого ряда хронологических примет в сюжетно-событийном плане позволяет заключить, что время действия "Мертвых душ" обобщенно-концентрированное, его можно датировать периодом после Отечественной войны 1812—1814 годов и до декабрьского восстания 1825 года» (Никишаев, с. 105). Чувствуя непоследовательность в работе, Е. Ф. Никишаев в конце концов прибегает к спасительному аргументу: «Заключая, отметим, что решающее значение при определении времени действия "Мертвых душ" имеет все-таки авторское указание, — «вскоре после достопамятного изгнания французов» (Никишаев, с. 105)<sup>1</sup>.

В своей работе мы попытаемся:

I. учесть поддающиеся датировке реалии в тексте поэмы, не разделяя их на значимые и незначимые; на этом этапе работы мы будем предъявлять к "Мертвым душам" требования как к историческому источнику;

II. объяснить данные первого этапа работы с точки зрения структурных принципов поэмы, т.е. определить функцию датировок в рамках текста.

## I

Остановимся на некоторых эпизодах "Мертвых душ", поддающихся датировке:

1. Покупка Чичиковым мертвых душ возможна лишь в том случае, если перед этим давно не подавали ревизских сказок, в противном случае герою просто нечего покупать. И. Н. Медведева на этом основании определяет следующие границы: 1815—1833, т.е. между 7 и 8 ревизиями.

2. В поэме упоминаются чиновники «нижнего земского суда». Нижние земские суды появились в России в 1775 г. Учреждением о губерниях этого года были созданы Верхний земской суд и Нижний земской суд. Верхний земской суд просуществовал до 1796 г., нижний — значительно дольше. 3 июля 1837 г. на основании «Положения о земской полиции вообще и в особенности о земских судах» и «Наказа чинам и служителям земской полиции» нижние земские суды переименовываются, при этом значительным изменениям подвергается их структура (ПСЗ, т. XII, N 10 305).

3. Чичиков покупает крестьян «на вывод» и только мужской пол. Е. С. Смирнова-Чикина справедливо указывает, что «такая покупка не могла происходить позже 1833 г., так как в этом году был издан закон, запрещавший продавать крестьян "с разлучением семьи"» (Смирнова-Чикина, с. 173).

4. «А теперь же время удобное: недавно была эпидемия, народу вымерло, слава богу, не мало» (Гоголь, т. VI, с. 240). Вероятно, речь идет об эпидемии холеры, прокатившейся по России в 1831 г. Собственно говоря, эпидемия началась раньше, в 1829 г. в Оренбурге, в 1830 г. охватила Тифлис и Астрахань, но по всей России распространилась в 1831 г. До этого эпидемия холеры была в 1823 г. в Закавказье и Астрахани, следующая массовая эпидемия холеры была лишь в 1846 г.

5. «<...> да, положим, опекунский совет даст по двести рублей на душу: вот уж двести тысяч капиталу!» (Гоголь, т. VI, с. 240). 200 рублей за ревизскую душу — это реальный размер ссуды, установленный в 1824 г. указом от 3 июля «О новом постановлении займов из сохранных казен под залог деревень». Все губернии России были разделены на два класса. К первому относились центральные губернии, где размер ссуды равнялся 200 рублям; ко второму — окраинные, где ссуда составляла 150 рублей государственными ассигнациями. Размер ссуды был изменен в 1839 г. Интересно, что в ранних редакциях размер

ссуды равнялся 250 рублям, 200 рублей появились лишь в окончательном тексте "Мертвых душ".

6. В поэме несколько раз встречается упоминание о жандармском офицере: в конце I-ой главы, например, «жандармский полковник говорил, что он <Чичиков. — В. Б., Е. П.> ученый человек <...>» (Гоголь, т. VI, с. 18). Как известно, особый корпус жандармов был образован в 1827 г. по «Положению о жандармском корпусе и разделении онаго на пять округов» (ПСЗ, т. II, N 1062), шефом его был назначен А. Х. Бенкендорф, годом раньше определенный управляющим III отделением Собственной Его Императорского Величества Канцелярии.

7. «<...> образовалась комиссия для построения какого-то казенного весьма капитального строения» (Гоголь, т. VI, с. 232). В ранних редакциях этот эпизод биографии Чичикова расшифровывается: «Скоро представилось герою нашему новое поле для извлечения выгод: составила комиссия постройки храма божия» (Гоголь, т. VI, с. 561). Е. С. Смирнова-Чикина справедливо полагает, что речь идет о нашумевшей в свое время постройке храма Христа Спасителя в Москве (Смирнова-Чикина, с. 173—174). Храм был торжественно заложен в октябре 1817 г., в начале 1820-х гг. учреждена комиссия, члены которой в 1827 г. отданы были под суд Московской уголовной палаты за воровство и злоупотребления, обнаруженные в результате ревизии под руководством генерал-адъютанта Стрекалова (Мостовский, с. 24).

8. «Крепости были записаны <...> с принятием полупроцентových и за припечатку в Ведомостях» (Гоголь, т. VI, с. 148). Губернские Ведомости выходили в России с 1838 г. (ПСЗ, 1837, т. XII, N 10 304). Правда, в 1830 г. было Высочайше утверждено Положение об издании Губернских Ведомостей в виде опыта в шести губерниях: Астраханской, Казанской, Киевской, Нижегородской, Слободско-Украинской и Ярославской. (ПСЗ, 1830, т. V, N 4036), однако сведений о их выпуске в это время нет (Лисовский, с. 23).

9. Е. Ф. Никишаев обратил внимание на странное «ассигнацелюбие», наблюдающееся у помещиков, с которыми торгуется Чичиков. В споре с Коробочкой Чичиков, пытаясь ее убедить, говорит: «Там вы получили за труд, за старание двенадцать рублей, а тут вы берете ни за что, да-ром, да и не двенадцать, а пятнадцать, да и не серебром, а

все синими ассигнациями» (Гоголь, т. VI, с. 53). Или фраза Собакевича: «<...> извольте — по семидесяти пяти рублей за душу, только ассигнациями <...>» (Гоголь, т. VI, с. 103). Е. Ф. Никишаев объясняет это следующим образом: «Манифест 9 апреля 1812 года потребовал все платежи в казну вносить ассигнациями, но это постановление стало неукоснительно исполняться только с 1817 года. Оно было подтверждено в 1819 году» (ПСЗ, N 27 693) в ответ на жалобы министру финансов о нехватке ассигнаций и на просьбы позволить прием платежей монетой. Кроме того, с 1818 г. было начало изъятие из обращения части ассигнаций, а с 1819 г. был предпринят их обмен на новые образцы, продолжавшийся до 1821 г. Это не могло не привести к тому, что в руках у помещиков оказывалось мало бумажных денег. <...> Уже в конце 20-х гг. стали допускаться некоторые послабления, а указ 11 октября 1830 г. "окончательно отменил стеснительные для плательщиков статьи манифеста 1812 года"» (Никишаев, с. 102; см. также Друян, с. 7–10).

10. Обратимся к слухам о Чичикове, привлечшим внимание большинства исследователей, а именно к цепочке Чичиков — Наполеон — Антихрист. Как нам кажется, в данном случае основанием для датировки может служить не только дата смерти Наполеона, но и характер слухов. Предположим, что Наполеон умер не в 1821 г., а позже, например, в 1840. В таком случае основание для датировки должно было бы исчезнуть. Однако сам характер слуха (Наполеон — Антихрист) позволяет отнести его ко времени войн с Францией и некоторому времени после них, когда подобные представления были широко распространены в России<sup>2</sup>.

11. Напомним авторское указание: «Впрочем, нужно помнить, что все это происходило вскоре после достославного изгнания французов» (Гоголь, т. VI, с. 206).

12. Хочется обратить внимание на еще одну деталь, оставшуюся незамеченной предыдущими исследователями: «Чаще же всего заметно было потемневших двухглавых государственных орлов, которые теперь уже заменены лаконичной надписью: "Питейный дом"» (Гоголь, т. VI, с. 11). Это авторское замечание впервые в тексте разделяет два временных плана: «теперь» (настоящее время автора и читателей) и «тогда» (прошедшее время излагаемых событий). Более подробно об этом см. ниже.

Вероятно, наш список можно было бы и продолжить, но, думается, на этом можно пока остановиться<sup>3</sup>. Из наблюдений с очевидностью следует, что свести все датировки в единую хронологическую цепочку невозможно. Следовательно, нужно или отказаться от дальнейшего рассмотрения вопроса, или сменить точку зрения, учитывая при этом художественную релятивность всех датировок. Если разбить все наши данные на две группы (датировки, связанные с биографией Чичикова, и датировки, относящиеся к миру губернского города, поместий), то получается следующая картина: время поездки Чичикова приходится на начало 1830-х гг., а факты биографии героя подтверждают такой вывод. Время города и поместий не имеет точной временной определенности и растянуто между 1810 — 30 гг. Ниже мы попытаемся выяснить, имеет ли смысл наше наблюдение в рамках «Мертвых душ» как художественного текста, а также какую функцию могут выполнять датировки.

## II

Имеет ли значение в «Мертвых душах» введенная нами оппозиция «Чичиков — мир, в котором он путешествует»? Обратимся к структуре пространственно-временных отношений поэмы. Ю. М. Лотман отметил: «Основным дифференцирующим признаком в пространстве "Мертвых душ" становится не оппозиция "ограниченное — неограниченное", а "направленное — ненаправленное". <...> Для того, чтобы стать возвышенным, пространство должно быть не только обширным (или безграничным), но и направленным, находящийся в нем должен двигаться к цели. Оно должно быть дорогой. Дорога — одна из основных пространственных форм, организующих текст "Мертвых душ". Все герои, идеи, образы делятся на принадлежащие дороге, устремленные, имеющие цель, движущиеся — и статичные, бесцельные» (Лотман, 1968, с. 45, 47). Чичиков — «герой дороги», имеющий свою цель. Он не принадлежит ни одному пространству, а лишь пересекает их. По этому признаку он четко противопоставлен и городским чиновникам, и помещикам — всему, образующему тот мир, в котором он путешествует.

Однако Чичиков подвижен не только в пространстве, но и во времени. Сразу оговоримся, что мы рассматриваем временные отношения не как самостоятельные, а как подчиненные пространственным. Обратимся к тексту поэмы

и посмотрим, какие временные характеристики получают выделенные Ю. М. Лотманом типы пространства.

Неподвижность городского и помещичьего мира выражается в постоянных авторских характеристиках («вечная желтая краска», «вечный слоеный пирожок», «вечный мезонин» и т.д.), застывших характерах, ему принадлежащих (даже Плюшкин, являющийся, казалось бы, исключением, так как имеет свою биографию, дан в последней стадии застывания, это конечная точка его развития). Все эти герои лишены одного существенного признака — они не имеют будущего времени.

Своего предельного выражения неподвижность мира достигает в предметах, ему принадлежащих и прямо связанных с идеей времени. Например: «Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость было испугался; шум очень походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями; но, взглянувши вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить. За шипеньем тотчас же последовало хрипенье, и наконец *понатужась всеми силами*, они пробили два часа таким звуком, как бы кто колотил палкой по разбитому горшку, после чего маятник пошел опять покойно щелкать направо и налево» (Гоголь, т. VI, с. 45—46; курсив наш. — В. Б., Е. П.) — о часах в доме Коробочки. Или часы у Плюшкина: «На одном столе стоял даже сломанный стул и, рядом с ним, *часы с остановившимся маятником, к которому паука уже приладил паутину*» (Гоголь, т. VI, с. 114—115; курсив наш. — В. Б., Е. П.). Уместо будет, как нам кажется, напомнить замечание Ежи Фарыно: «В случае локуса "Манилов" время никак не отмечено. И это неспроста. Мир Манилова — мир ахронный, он пребывает в застывшей бездейственности времени и меняется не темпорально, а пространственно (и то лишь в "мечтаниях" об "огромном доме")» (Фарыно, с. 619—620)<sup>4</sup>.

Время теряет свою определенность не только для героев, но и для автора, заставляющего Чичикова проехать в первый день поездки (к Манилову и Коробочке) 75 верст<sup>5</sup>. Таким образом, мир, в который погружен Чичиков с 1 по 10 главы «Мертвых душ», — принципиально неподвижный. Время в нем, как и пространство, лишено направленности, т.е. временной линейности: прошедшее — настоящее — будущее<sup>6</sup>.

Чичиков имеет не только прошедшее, настоящее, но и, что очень важно, будущее время. «Читателю сполгоря, рассердится ли на него Чичиков или нет, но что до автора, то он ни в каком случае не должен ссориться с своим героем: еще не мало пути и дороги придется им пройти вдвоем рука в руку; две большие части впереди — это не безделица» (Гоголь, т. VI, с. 245—246)<sup>7</sup>. Время Чичикова линейно, направлено от прошлого к будущему. Кроме того, оно имеет важное сюжетное значение: именно биографическое время героя скрепляет отдельные сцены в единую сюжетную цепочку.

Итак, мы рассмотрели оппозицию «Чичиков — окружающий его мир» с точки зрения временных отношений в тексте. Главный герой путешествует в пространстве и движется во времени. Противопоставленный ему мир — неподвижен. Вернемся к датировкам и посмотрим, как они работают в поэме.

Мы уже отмечали, что свести их в единую хронологическую цепочку невозможно. Следовательно, говорить о едином для «Мертвых душ» реально-историческом времени бессмысленно. По нашему мнению, указанные нами датировки в поэме лишены хронологического значения<sup>8</sup>. Это не даты, а своеобразные сигналы. Неподвижный с точки зрения художественного времени мир, по которому путешествует Чичиков, с точки зрения реально-исторического времени «растянут» между 10—30 гг. XIX столетия. А при авторском стремлении к сдвигу хронологических примет к послевоенному времени (именно здесь важны два авторских указания) эта система сигналов придает оттенок патриархальности миру, в котором прошлое равно настоящему<sup>9</sup>. Кроме того, если учесть, что сюжетное время длится несколько недель, то «растянутость» временных сигналов дает эффект эпического времени, рождает временную глубину в тексте. Реально-историческое время поездки Чичикова приходится на начало 30-х гг., даты его биографии выстраиваются в хронологическую цепочку, и это рождает ощущение «выдвинутости» героя во времени, его принадлежности к новому веку. Безусловно, это ощущение является результатом действия и других факторов, нам лишь важно отметить, что этому подчинена и система временных сигналов в тексте.

### Архитектура провинциального города в «Мертвых душах»

В образе губернского города NN, созданного Гоголем в I томе «Мертвых душ», доминирует ряд реалий, связанных прежде всего с архитектурным пейзажем города. Для их рассмотрения нам необходим небольшой фрагментарный экскурс в историю русского градостроительства.

Уже начиная со второй половины XVIII в. в России правительство предпринимает ряд усилий к изменению архитектурного облика городов империи. Усилия были направлены на то, чтобы заменить устройство старых городов с их беспорядочной скученной застройкой «регулярной» планировкой (за основу брался «шахматный порядок»: «Все улицы и площади центра предполагалось застроить "сплошную фасадою", с целью более рационального использования площади фасадов и уменьшения длины улиц» — Ожегов, с. 50).

Первоначально реализацией идеи создания «регулярных» городов занималась специальная градостроительная Комиссия (известная под наименованием «Комиссии Бецкова»), однако она осуществляла работы по перепланировке в основном крупных городов. В частности, именно Комиссия Бецкова занималась восстановлением Твери, разрушенной в 1763 г. большим пожаром; проект реконструкции был признан образцовым, поскольку наиболее полно воплощал новые градостроительные идеи. В целом же планы правительства начинают реализовываться лишь в конце XVIII— начале XIX вв. Работы ведутся вплоть до середины XIX в., очень медленно, особенно в провинции. Основные трудности в этом процессе порождало столкновение реального сложившегося облика города (часто даже не города, а посада, возведенного в этот ранг административными преобразованиями) и новых градостроительных установлений: «Архитекторы <...> не пытались совместить новую регулярную планировку с сложившейся сеткой улиц, ибо она была неправильной, противоречащей самой идее регулярности» (Кириллов, с. 171). Поэтому в ходе реконструкции ломка нередко опережала строительство<sup>10</sup>, что, вкупе с планировкой широких улиц и площадей, предусмотренной проектами, создавало специфический облик российских городов, отмеченный многими мемуаристами. Именно такими увидел и Петер-

бург и Ярославль маркиз де Кюстин, посетивший в 1839 г. Россию: «<...> этот город <речь идет о Петербурге. — В. Б., Е. П.> дворцов со своими огромными пустыми просторами и мощеными площадями очень похож на поле, перерезанное дощатыми заборами. Отдаленные от центра части города сплошь застроены маленькими деревянными домишками. <...> Стоит только покинуть центр города, и вы теряетесь в едва намеченных улицах, вдоль которых тянутся постройки казарменного вида. <...> Улицы поросли травой, потому что они слишком просторны для пользующегося ими населения» (Кюстин, с. 123–124). Ср. также: «Ярославль, как и все русские провинциальные города, необычайно разбросан и кажется безлюдным. Его улицы поражают своей шириной, <...> а дома отделены друг от друга огромными пустырями, в которых теряется население» (Там же, с. 232). Сходные замечания содержатся в воспоминаниях Ф. Ф. Вигеля: «Въехав в Пермь, особенно при темноте, некоторое время почитали мы себя в поле; не было тогда города, где бы улицы были шире, а дома ниже. <...> это было пустое место, которому лет за двадцать перед тем велено было быть губернским городом: и оно послушалось, но только медленно» (Вигель, т. 1, ч. 2, с. 143).

Именно эти черты выделяет Гоголь в архитектурном облике губернского города NN: «Местами эти дома казались затерянными среди широкой, как поле, улицы и нескончаемых деревянных заборов; местами сбивались в кучу, и здесь было заметно более движения и живописи» (Гоголь, т. VI, с. 11); «<...> покатился он <Чичиков. — В. Б., Е. П.> в собственном экипаже по бесконечно широким улицам, озаренным тощим освещением из кое-где мелькавших окон» (Там же, с. 13).

Планы правительства по созданию нового регулярно города реализовывались прежде всего в строительстве казенных зданий, что было обусловлено постоянным реформированием административной системы: «Увеличение числа губерний с двадцати до пятидесяти и значительное увеличение числа уездов вызвали необходимость расширения органов местного самоуправления. Для размещения многочисленной администрации требовалось построить в ряде новых и старых губернских и уездных городов здания присутственных мест» (Ожегов, с. 68). Облик переустроенных городов определял прежде всего центр: «Взросшие административные функции городов вызва-

ли необходимость организации общественных центров в виде публичных площадей с присутственными местами, торговым комплексом и другими общественными зданиями» (Кириллов, с. 171).

Изображенная в 1-ом томе «Мертвых душ» центральная площадь не вполне типична; в тексте упоминаются «лавки и гостиный двор», но в описании площади они отсутствуют, хотя «по планам перестройки городов все городские учреждения, включая присутственные места, <...> в большинстве городов переносились поближе к торговой площади и гостиному двору» (Кириллов, с. 68). Центральная площадь города NN, изображенная в поэме, имеет подчеркнуто казенный облик: «<...> они дошли наконец до площади, где находились присутственные места; большой трехэтажный каменный дом, весь белый, как мел, вероятно для изображения чистоты душ помещавшихся в нем должностей; прочие здания на площади не отвечали огромности каменному дому. Это были: караульная будка <...>, две-три извозчицьи биржи и наконец длинные заборы <...>; более не находилось ничего на сей уединенной, или, как у нас выражаются, красивой площади» (Гоголь, т. VI, с. 141).

Эта деталь в целом отвечает и более общей трактовке Гоголем основных черт провинциального города «Мертвых душ». Это город чиновников и чиновниц, «казенный» город. Ср.: «В России есть губернские и уездные города; в числе тех и других есть такие, кои должно назвать казенными, потому что в них встречаются по большей части одни только должностные лица ...» (Вигель, т. 1, ч. 1, с. 60).

Другим важным принципом градостроительной политики правительства, непосредственно связанным с идеей регулярности, был принцип нормативности. Еще во 2-ой половине XVIII в. начали издаваться специальные альбомы, содержащие «Фасады примерные против прочих вновь строящихся городов», в которых были даны образцы казенных и частных зданий. Но если в екатерининскую эпоху число типовых фасадов домов было относительно невелико и они служили скорее образцами, примерами, то в 1830-40-е гг. регламентации подчиняются все типы построек, включая заборы и ворота. Рвение к порядку иногда доходило до абсурда. Так, в проекте будки для часовых даже предусматривалось, что «внутри будки в верхнюю отвязку вколачивается железный гвоздь, на

который часовой вешает шинель или тулуп» (ПСЗ, 1842, т. VI, N 231). Поэтому «вечный мезонин» был красив не только по «мнению губернских архитекторов», но и потому, что его предусматривало большинство «примерных» фасадов одно-двухэтажных домов.

Нормативная градостроительная политика имела и ряд положительных сторон, а «образцовые фасады», например, в редакции 1809 г. проектировались квалифицированными архитекторами (А. Захаровым, В. Стасовым и др.). Однако для Гоголя современная ему архитектура России, особенно массовая, градостроительная, была чисто негативным явлением: «Мне всегда становится грустно, когда я гляжу на новые здания, на которые брошены миллионы и из которых редкие останавливают изумленный глаз величеством рисунка, или своевольною дерзостью воображения, или даже роскошью и ослепительною пестротой украшений» (Гоголь, т. VIII, с. 56). Свои архитектурные пристрастия, счастливо выраженные афоризмом «архитектура — тоже летопись мира» (Там же, с. 73), Гоголь противопоставляет «однообразию» новых русских городов, их убогой дисгармоничности.

В «Мертвых душах» образ провинциального города складывается через преломление *реального* в *идеальном*, где в качестве последнего выступает архитектура «Вечного города». Русь увидена Гоголем из «прекрасного далека» в сопоставлении с Римом: «<...> не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства, города с многооконными, высокими дворцами, вросшими в утесы, картинные деревья и плющи, вросшие в дома, в шуме и в вечной пыли водопадов; <...> не блеснут сквозь наброшенные одна на другую темные арки, опутанные виноградными сучьями, плющом и несметными миллионами диких роз, не блеснут сквозь них вдали вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные, ясные небеса» (Гоголь, т. VI, с. 220).

В связи со сказанным важно отметить гоголевскую апологию готики, прозвучавшую в цитированной выше статье «Об архитектуре нынешнего времени». Основная пространственная координата готического стиля в архитектуре — вертикаль, в противовес этому в архитектурном пейзаже города NN преобладает горизонталь: гостиница «была очень длинна», «широкая, как поле, улица», «бесконечно широкие улицы» и т.д.; ср. то же, но уже в «общероссийском» масштабе повествования: «Открыто-

пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, непреметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует зора» (Гоголь, т. VI, с. 220).

Не случайно здесь и совпадение в ориентированности пространства города «Мертвых душ» и всей России<sup>11</sup>. Оно совмещает в единой перспективе повествования Город и Государство, реализуя тем самым одно из направлений авторского замысла — изобразить в поэме «всю Русь».

### Из построчного комментария к I тому «Мертвых душ».

*С. 10. Чичиков высмаркивался чрезвычайно громко. <...> нос его звучал, как труба.*

Одна из черт поведения Чичикова, характеризующая его как dandy, поскольку подобные «поступки» безусловно запрещались дворянским этикетом. Еще в «Показании к житейскому обхождению» Петра I сказано: «Не малая гнусность есть, кто часто сморкает, яко бы в трубы трубил»... Последующие издания правил вежливости дают аналогичные указания; одно из таких изданий 1740-х гг. предписывало: «Старайся, чтоб твой нос был свеж и чист: не фыркал, не сопел, не издавал бы свист» (Пыляев, с. 94—95). Однако «суеверное» следование правилам вежливости было обязательным для молодых людей, среди чиновников — для тех, кто имел невысокий чин и был в подчинении. Чичиков, с его притязаниями на солидность и значительность, может позволить себе громко сморкаться в присутствии трактирного слуги. (Громко хохотать тоже неприлично, но типовое поведение «генерала», «начальника» — ср., например, поведение генерала Бетрищева во 2-м томе «Мертвых душ» — не вписывается и не должно вписываться в правила этикета).

*С. 11. <...> сильно была в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на деревянных.*

1. Несмотря на стремление правительства застраивать русские города каменными зданиями, на практике это было неосуществимо еще в 40-е гг. XIX в. По данным «Статистических таблиц...» (СПб., 1840), практически во всех городах, не исключая столицы, деревянными были большинство домов. При этом, если в Петербурге аристократические районы были сплошь каменными, а деревянные дома размещались на периферии (Пушкарев, с. 73),

то в провинциальных городах каменными были, как правило, только казенные здания. См., например, в описании Полтавы: «... величайших каменных зданий здесь числом до 9-ти, в три и не ниже двух этажей, в самом новом вкусе. Здесь помещаются: губернатор, вице-губернатор, присутственные места, почтамт...» (Долгорукий, с. 68).

2. По правительственному указу 1817 г. запрещалась яркая окраска казенных и частных домов: «Запрещается пестрить дома и всякое строение краскою. Вообще дозволяется красить оные следующими только цветами: белым, палевым, бледножелтым, светлосерым, диким, бледнорозовым и сибиркою с большою примесью белой краски» (ПСЗ 1842, ст. 273). Образцы рекомендованных цветов рассылались на специальных табличках, либо приводились в альбомах «образцовых» фасадов: «Среди сохранившихся альбомов встречаются отдельные экземпляры с раскрашенными фасадами. Они дают представление о рекомендуемых колерах и о системе покраски зданий. Цоколи окрашивались в серый (дикий) цвет, поле стены в светло-желтый, светло-зеленый или светло-синий цвета. Преобладающим цветом стен был желтый различных оттенков» (Ожегов, с. 92). Поэтому дом «дамы приятной во всех отношениях» — оранжевого цвета с голубыми колоннами — явно противоречит своей провинциальной «тонкостью вкуса» не только существовавшим законоположениям, но и реальной практике городского устройства.

*С. 11. <...> заметно было потемневших двуглавых государственных орлов, которые теперь уже заменены лаконической надписью: «Питейный дом».*

Государственный герб (двуглавый орел) помещался не только на вывесках «питейных домов», но и на аптеках, вообще на вывесках всех государственных монопольных заведений. Впервые двуглавые орлы появились на кабаках при Екатерине II. Манифест 1 августа 1765 г. предписывал: «<...> на питейных домах поставить Наши гербы, яко на домах под Нашим защищением находящихся». Здесь же отмечалось, что «понеже от происходящих злоупотреблений, название кабака сделалось весьма подло и безчестно, <...> то повелеваем оные места не кабаками, но просто питейными домами отныне именовать» (Полн. собр. законов, т. XVII, с. 198). Таким образом, двуглавые орлы появились на вывесках вместе с надписью «Питейный дом», а позднее были сняты с вывесок. Одно указание на

этот факт содержится в воспоминаниях дочери Николая Семеновича Мордвинова: «Однажды, беседуя с Государем Александром Павловичем, он <Н. С. Мордвинов — В. Б., Е. П.> заметил, что неприлично прибавать царский герб над дверьми кабаков. Вероятно, прежде не обращалось на это внимания, но после гербы с питейных домов исчезли» (Записки графини Н. Н. Мордвиновой, с. 181 — 182). Разговор, о котором идет речь, приводится в цитируемых мемуарах в ряду событий конца александровского царствования. Ср. также со строками агитационной песни К. Рылеева и А. Бестужева, датируемой 1824 — 1825 гг.: «А под царским орлом / Ядом потчуют с вином» (Рылеев, с. 259). Следовательно, двуглавые орлы исчезли с вывесок уже в николаевскую эпоху, вероятнее всего — с 1827 г., когда по решению правительства монопольная продажа вина была заменена системой откупов.

*С. 12. <... > гавалась грама г. Коцебу, в которой Ролла уграл г. Поплевин, Кору — девица Зяблова...*

Коцебу Август Фридрих (1761 — 1819) — немецкий писатель и драматург, многочисленные мелодрамы и комедии которого начинают переводить и ставить на русской сцене в 90-е гг. XVIII в.: «... особенная популярность этого поставщика "фарсов для пищеварения", как он сам называл свои комедии, приходится на следующее десятилетие, когда пьесы Коцебу буквально наводнили русскую сцену» (Берков, с. 302). Д. П. Горчаков писал в «Послании к князю С. Н. Долгорукову»: «И Коцебятина одна теперь на сцене» (датир. между 1807 и 1811 гг.; Поэты-сатирики, с. 159).

Гоголь резко отрицательно относился к мелодраме в целом, как к жанру, противоречащему учительной роли театра (см. об этом в «Петербургских записках 1836 года», «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности» — в «Выбранных местах из переписки с друзьями») и, видимо, был невысокого мнения о творчестве Коцебу — ср. в письме к М. П. Погодину 1840 г.: «И ты в познании сердца человеческого из Шекспира попал в Коцебу» (Гоголь, т. XI, с. 312).

Несмотря на то, что отношение интеллигентного зрителя и читателя к «коцебятине» уже в начале XIX в. было негативным, популярность мелодрам Коцебу среди массового зрителя в 1830-е гг. была очень высокой и в провинции, и в столице (см.: ИРДТ, т. 1 — 4, «Репертуарные

сводки»). Даже в 40-х — нач. 50-х гг., когда эта популярность заметно падает, имя Коцебу все еще встречается на афишах даже столичных театров. Поэтому трудно согласиться с мнением комментаторов «малого» академического собрания сочинений Гоголя, что пьесы Коцебу в эти годы идут в основном на провинциальной сцене. Ср.: «Репертуар театральной провинции в целом в эти годы <1826—1845. — В. Б., Е. П.> существенно не отличался от репертуара театров Петербурга и Москвы» (ИРДТ, т. 3, с. 150).

**Ролла и Кора** — действующие лица двух пьес Коцебу: «Дева Солнца, драма в 5-и действиях» и «Испанцы в Перу, или смерть Роллы, трагедия в 5-и действиях»; последняя ставилась на театральной сцене гораздо чаще. Интересно, что, судя по наиболее полному русскому изданию пьес Коцебу («Театр Августа фон Коцебу». М., 1802—1824, 24 тома), это единственный случай, когда имена одних и тех же персонажей встречаются в двух пьесах.

*С. 16. ... прегаются занятию дельному.*

В комментарии к «Мертвым душам» Е. С. Смирновой-Чикиной приводится следующее толкование: «Убожество их <чиновников и помещиков. — В. Б., Е. П.> интересов и недостаток образования приводили к тому, что карты составляли основной интерес, превращались в "занятие дельное", позволявшее убивать скучное время» (Смирнова-Чикина, с. 57). Между тем, «занятие дельное» — это выражение из жаргона игроков, означает игру. Как явствует из воспоминаний А. О. Смирновой-Россет, оно было известно Гоголю, интересовавшемуся игрецким жаргоном (см. некоторые его пометы в «Записных книжках», а также пьесу «Игроки»): «Гоголь <...> пошел в кабинет мужа, крепко заснул на диване и проснулся в испуге, потому что у мужа собрались играть в ералаш и преферанс. Он зашел ко мне и сказал: "Там занимаются делом <выделено нами. — В. Б., Е. П.> до восьми часов утра, но там ангел-хранитель в синем мундире со сладким лицом генерала Дубельта, следовательно, до драки не дойдет"» (Смирнова-Россет, с. 275). Этот же смысл имеет данное выражение в строках эпитафии к первой главе «Пиковой дамы»: «Так, в ненастные дни, / Занимались они / Делом».

*С. 158—159 <...> гамы города N. отличались, подобно многим гамам петербургским, необыкновенною осторожностью и приличием в словах и выражениях.*

Язык провинциальных дам в «Мертвых душах» ориентирован на наречие «щеголих» (см., напр., Успенский, с. 46-60; Виноградов, с. 392—396), культивировавшее «нежность» речи, изобиловавшее аллегориями и эвфемизмами, с многочисленными включениями французских слов (типологически сходным явлением был язык прециозной культуры, высмеянной Мольером в комедии «Смешные драгоценные»). Приятель Гоголя, А. С. Данилевский, вспоминая свое знакомство с Пушкиным в доме Плетнева, припоминал, как к Плетневу приехала вдова Н. М. Карамзина, «и Пушкин затеял с нею спор. Карамзина выразилась о ком-то: «Она в интересном положении». Пушкин стал горячо возставать против этого выражения, утверждая с жаром, что его напрасно употребляют вместо коренного, чисто русского выражения: «она брюхата» (Шенрок, т. 1, с. 363).

В последующее время «щегольское наречие» перестает быть исключительной привилегией столичных светских дам; оно расслаивается в социальном отношении, становится характерной чертой языка провинциалок, мещанского сословия. Жеманные приличия свойственны были речи институток. А. О. Смирнова-Россет рассказывает о том, как Плетнев читал в Екатерининском институте «Евгения Онегина»: «<...> мы были в восторге, но когда он сказал: «Панталоны, фрак, жилет» — мы сказали: «Какой, однако, Пушкин индеса (от французского слова *indécent* — непристойный)» (Смирнова-Россет, с. 120); ср. здесь же: «<...> не позволено было говорить дура, а говорили противная» (с. 183).

Эквивалентом эвфемизмов было употребление табуированных, по мнению дам, слов, в переводе на французский язык: «Дмитрий Евсеевич Цицианов говорил, что французский язык — это вертопрашный язык. «Только, говорил он, наши барыни любят болтать всякий вздор на французском. Скажи им по-французски: *pantalons*, так и растают, а скажи им штаны — чуть в обморок не падают»» (Смирнова-Россет, с. 121).

*С. 163. ... маленькие зубчатые из тонкого батиста, известные под именем скромностей.*

Скромность (франц. *modestie*) — маленькая полоска кружев или легкого газа, которая помещается в корсаже, чтобы прикрыть слишком вызывающее декольте. Слова с абстрактной или эмоциональной семантикой, заимствованные из французского языка, часто давали названия модным изделиям: «Отчаянье?.. Это что-то новое выражение в модном словаре! Нет ли какого перстня или браслета такого имени! Ведь есть же супиры, и репантиры, и сувениры у любого золотых дел мастера» (Бестужев-Марлинский, с. 245). Супир (франц. *soupir* — вздох) — кольцо, которое носилось на мизинце в память о ком-либо; сувенир (франц. *souvenir* — воспоминание); репантир (франц. *repentir* — раскаяние) — название фасона модной прически.

С. 165. <...> разве из патриотизма выстроят для себя на даче избу в русском вкусе.

Особенностью славянофильских идей было их воздействие на бытовое поведение, что приводило к привнесению в уклад дворянской жизни демонстративного подражания крестьянскому быту. На один из примеров такого рода обратил внимание в своих записках маркиз де Кюстин: «Я был приглашен отобедать на даче, расположенной в черте города. <...> Я вошел в деревянный дом — новая странность! в Москве и богатые и бедные спят под деревянным кровом в бревенчатом обшитом досками срубе. Зато внутри дощатые "избы" богачей соперничают в роскоши с самыми пышными дворцами Европы. Та, в которой меня принимали, показала мне удобной и прекрасно обставленной, хотя владелец живет в ней только летом, зиму же проводит в центральной части Москвы» (Кюстин, с. 216 — 217).

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Эта непоследовательность автора статьи очевидна из следующего замечания. Рассматривая неурожаи в России в первой половине XIX в., Е. Ф. Никишаев делает вывод: «Итак, в "Мертвых душах" отразились факты, характерные для почти полувековой истории России. Но мы возьмем на предварительную заметку период 1821—1825 <...>» (Никишаев, с. 101). Почему именно этот период? Если спорить о фактах, то трудно согласиться и с другим замечанием автора статьи: «Е. С. Смирнова-Чикина отмечает, что Гоголь имел в виду

холерную эпидемию 1830-1831 гг., когда говорил о расчетах Чичикова на недавнюю эпидемию. Однако упоминания о холере как таковой в поэме нет, в том числе и в черновых редакциях». Это не совсем так. Во втором томе «Мертвых душ» на вопрос Чичикова о состоянии именина Хлобуев отвечает: «В самом скверном, Павел Иванович», сказал Хлобуев. «И это еще не все. Я не скрою: из ста душ, числящихся по ревизии, только пятьдесят в живых; так у нас распорядилась холера (т. VII, с. 85; разрядка наша. — В. Б., Е. П.). Эта фраза из второго тома напоминает высказывание Чичикова: «Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревизских сказок, приобрети их, положим, тысячу, да, положим, опекунский совет даст по двести рублей на душу: вот уж двести тысяч капиталу! А теперь же время удобное: недавно была эпидемия, народу вымерло, слава богу, не мало» (т. VI, с. 240). В обоих случаях идет речь об эпидемии, случившейся перед поездкой Чичикова, до проведения новой ревизии. Ср. также жалобы помещиков из первого тома на запущенность имений.

- 2 Представление о Наполеоне как антихристе возникло в России еще до войны 1812 г. и, как указывает Ф. Н. Глинка, не без влияния правительственных манифестов: «Перед войною 1807-го года при вызове народного ополчения (милиции) издан был манифест, из которого явно выглядывал "Наполеон — антихрист". Народ так и не понял и принял его за СЫНА ПОГИБЕЛИ» (Глинка, с. 252, ср. также: Вяземский, с. 171, Бутковская, с. 599). Анекдотическую историю поимки Наполеона — антихриста см. в Киевской старине, с. 42 — 43). С этой цепочкой тесно связан также слух о Чичикове — «делателе государственных ассигнаций» (т. VI, с. 199). Хотя ассигнации стали подделывать в России сразу с момента их появления (Друян, с. 9; Шашков, с. 153), однако слухи о их подделке всколыхнулись во время войн с Францией, когда возникло предположение об изготовлении фальшивых бумажных денег по распоряжению Наполеона (Свербеев, с. 145).
- 3 За исключением исторически окрашенных слухов мы в этой работе в основном опирались на факты нормативные, регулируемые (и проверяемые) законодательством. За пределами статьи остались (хотя и учитывались) такие факты, как смена моды, литературные увлечения чиновников. Последнее (увлечение «Людмилой» Жуковского как «непростышкой новостью» (т. VI, с. 156), Юнгом, Эккартсгаузенем), с нашей точки зрения, нет никаких оснований воспринимать как анахронизм, поскольку историческое время поэмы растянуто между 1810 — 30-ми гг.

- 4 Наличие картин с изображением птиц в доме Коробочки Е. Фарыно истолковывает как признак атемпоральности (Фарыно, с. 620).
- 5 В. Кошмал интерпретирует это как признак ирреальности мира (Кошмал, с. 335).
- 6 В данном случае мы рассматриваем все типы пространства, противопоставленного чичиковскому, как нечто единое лишь по одному признаку: «направленное» / «ненаправленное», отвлекаясь от различий между ними.
- 7 В процитированном отрывке происходит переключение героя со шкалы сюжетного времени на шкалу авторского. Кстати говоря, к чичиковскому миру не принадлежат его слуги, кучер Селифан и лакей Петрушка, «вынужденно» путешествующие с хозяином: «Медленно, как только можно вообразить себе медленно, спускался он <Селифан. — В. Б., Е. П.> с лестницы, <...> и долго почесывал у себя рукою в затылке. Что означало это почесывание? и что, вообще, оно значит? <...> Или, просто, жаль оставлять отогретое уже место на людской кухне под тулупом, близ печи, да щей с городским мягким пирогом, с тем, чтобы вновь тащиться под дождь и слякоть и всякую дорожную невзгону?» (т. VI, с. 215).
- 8 Интересна в данном случае и авторская игра с временами года. Ю. В. Манн, обращая внимание на несогласованность времен года в «Мертвых душах», пишет: «Но психологически и творчески эта несогласованность во времени понятна. Гоголь мыслит подробности — бытовые, исторические, временные и т.д. — не как фон, а часть образа» (Манн, с. 283).
- 9 Вопрос о сознательном и бессознательном использовании этих сигналов мы не рассматриваем. О соотношении сознательного / бессознательного в творчестве Гоголя см.: Гурковский, с. 66—67.
- 10 Не случайно в «Ревизоре» городничий, напуганный известием о приезде чиновника из Петербурга, приказывает: «разметать наскоро старый забор <...> и поставить соломенную вежу, чтобы было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельность градоправителя» (т. IV, с. 23).
- 11 Здесь необходимо учитывать еще один смысловой оттенок: главная особенность российского ландшафта — его большие равнинные пространства. Гоголь подчеркивает широту и открытость России как устремленность в будущее, т.е., что очень важно для характера авторской оценочности, признак приобретает некоторую двойственность.

## ЛИТЕРАТУРА

- Гоголь — Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. АН СССР. 1940—1952.
- Антокольский — Антокольский П. Предисловие // Гоголь Н. В. Мертвые души. М., 1980.
- Берков — Берков П. Н. История русской комедии XVIII века. Л., 1977.
- Бестужев-Марлинский — Бестужев-Марлинский А. А. Фрегат «Надежда» // Бестужев-Марлинский А. А. Соч.: В 2 т. М., 1981.
- Боровой I — Боровой С. О реально-исторической основе сюжета «Мертвых душ» // Вопросы литературы. 1966. N 4.
- Боровой II — Боровой С. Еще раз о реально-исторической основе сюжета «Мертвых душ» // Вопросы литературы. 1968. N 9.
- Бутковская — Бутковская А. Я. Рассказы бабушки // Исторический вестник. 1884. т. 12. N 12.
- Вигель — Вигель Ф. Ф. Воспоминания. М., 1864.
- Виноградов. — Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX веков. М., 1982.
- Вяземский — Вяземский П. А. Старая записная книжка. <Л.>, 1929.
- Глинка — Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. М., 1985.
- Гуковский — Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959.
- Долгорукий — Долгорукий И. М. Славны бубны за горами или путешествие мое кое-куда 1810 года // ЧОИДР. 1869. Кн. 2—3.
- Друян — Друян А. Д. Очерки по истории денежного обращения в России в XIX веке. Госфиниздат, 1941.
- Елистратова — Елистратова А. Гоголь и проблемы западноевропейского романа. М., 1972.
- ИРДТ — История русского драматического театра. М., 1977—1979. Т. 1—4.
- Киевская старина — Как поймали Наполеона Бонапарта в лебединском уезде (Из рассказов старожила) // Киевская старина. 1896. Т. 55. N 11.
- Кириллов — Кириллов В. В. Архитектура и градостроительство Подмосковья // Русский город. Вып. 3. М., 1980.
- Кюстин — Маркиз de Кюстин. Николаевская Россия. М., 1930.
- Кошмал — Koschmal W. Modell oder Wirklichkeit? // Russian Literature, XI, 1982.
- Лисовский — Лисовский Н. М. Русская периодическая печать 1703—1894 гг. Вып. 1. Пг., 1915.

- Лотман — *Лотман Ю. М.* Проблема художественного пространства в прозе Гоголя // Учен. зап. ТГУ. Вып. 209. Тарту, 1968.
- Манн — *Манн Ю. В.* Поэтика Гоголя. Л., 1978.
- Медведева — *Медведева И. Н.* <Примечания> // Гоголь Н. В. Собр. худож. произв. в пяти томах. М., 1959.
- Мордвинова — *Записки графини Н. Н. Мордвиновой* // Русский архив. 1883. N 6.
- Мостовский — *Мостовский М.* Историческое описание храма во имя Христа Спасителя в Москве. М., 1883.
- Никишаев — *Никишаев Е. Ф.* Когда Чичиков скупал мертвые души // Филологические науки. 1976. N 1.
- Ожегов — *Ожегов С. С.* Типовое строительство в России в XVIII–XIX веках. М., 1984.
- ПСвЗ — Полный свод законов Российской Империи. СПб., 1842.
- ПСЗ — Полное собрание законов Российской Империи. I-ое собрание (1649–1825). СПб., 1830; II-ое собрание (1825–1881). СПб., 1825–1884.
- Поэты–сатирики — Поэты–сатирики конца XVIII–начала XIX вв. Л., 1959.
- Пушкарев — *Пушкарев И.* Описание Санкт-Петербурга и уездных городов Санкт-Петербургской губернии. СПб., 1834–1841.
- Пыляев — *Пыляев М. М.* Старое жительство. СПб., 1892.
- Рылеев — *Рылеев К. Ф.* Полн. собр. стихотворений. <Л.>, 1971.
- Саннинский — *Саннинский Б.* Две реплики автору статьи // Русская литература. 1967. N 1.
- Свербеев — *Свербеев Д. И.* Записки. М., 1899. Т. 1–2.
- Случевская — *Случевская Л.* Работа Гоголя над «Мертвыми душами» // Изучение творчества Гоголя в школе. М., 1954.
- Смирнова-Россет — *Смирнова-Россет А. О.* Автобиография (Неизданные материалы). М., 1931.
- Смирнова-Чикина — *Смирнова-Чикина Е. С.* Поэма Н. Г. Гоголя «Мертвые души»: литературный комментарий. М., 1964.
- Статистические таблицы. . . — Статистические таблицы о состоянии городов Российской империи. СПб., 1840.
- Успенский — *Успенский Б. А.* Из истории русского литературного языка XVIII–начала XIX века. М., 1985.
- Фарыно — *Фарыно Е.* Структура поездки Чичикова // Russian Literature, 1978. Т. VI–VII.
- Шенрок — *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. М., 1892–98. Т. 1–4.

## БЕЛИНСКИЙ В КРИТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ АННЕНСКОГО

Г. ПОНОМАРЕВА

В конце XIX — начале XX в. в модернистской критике, занимавшейся переоценкой ценностей, начинает распространяться мысль о том, что критика В. Г. Белинского устарела и имеет свое значение лишь для школьного курса русской словесности. Так, В. В. Розанов в статье «50 лет влияния (Памяти В. Г. Белинского)» (1898) замечает: «Умственное наследие Белинского уже подернулось археологическою ветхостью, как несколько принужденно мы читаем теперь и его современников — В. Боткина, Герцена, Грановского. Все это

... пленной мысли раздраженье не волнует нас и сохраняет лишь исторический интерес»<sup>1</sup>. Вместе с тем, Розанов рассматривает Белинского как критика, играющего важную роль в мировоззрении юношества: «Белинский, дав необозримое множество литературных разборов, сохраняет более классное значение; т.е. для класса, для "учащегося"» вообще, и в жизни каждого из нас он захватывает влиянием отрочество, юность и вообще годы нашего ученического "странствования"»<sup>2</sup>.

В развенчивающей критика скандально-знаменитой статье Ю. И. Айхенвальда «Белинский» (1913) подчеркивается противоречивость Белинского, постоянно меняющего свои убеждения и расшатывающего убеждения читателей. Все ценное в его статьях объявляется заимствованным у его современников. Главная же вина Белинского, с точки зрения критика-импрессиониста, в том, что он «расчистил дорогу публицистической критике, пагубному течению тенденциозности; законным сыном Белинскому приходится Писарев и эпигоны последнего — это их общие потомки, и до сих пор не прекратившееся ребяческое разрушение эстетики — это их общее дело, общее

наследство...»<sup>3</sup> Одновременно Айхенвальд отмечает и положительные стороны его деятельности, например, говорит о благотворном влиянии Белинского на преподавание русской литературы в школе: «Он был писатель и читатель, он умел находить слова о чужих словах, и хотя себя он не собрал, не свел своих концов с концами, не поправил своих ошибок, однако не только от его дурного, но и от его хорошего рассыпались мысли, рассеялись по русской земле яркие искры; и хотя многих он сбил с толку, но иных он также обогатил, и он сделался патроном русской словесности. Дух его витал в классах нашей школы, носился над тетрадами наших сочинений и через этих учителей, о него зажигавшихся, на него молившихся, проникал в юношеские сердца»<sup>4</sup>. Необходимо при этом отметить, что сам Айхенвальд был профессиональным учителем, и его статья против Белинского была бунтом человека, происходившего из среды горячих приверженцев критика.

Одной из особенностей Анненского-критика является то, что он не упоминает литературоведов и критиков, оказавших творческое воздействие на становление его критического метода. В «Книгах отражений» ни разу не называются имена О. Уайльда, А. Григорьева, А. Потемби, акад. Веселовского. Белинского в «Книгах отражений» Анненский все же касается, хотя и мимоходом, что свидетельствует об определенном интересе к деятельности критика. В связи с этим, для исследователя представляют большой интерес педагогические статьи и многочисленные рецензии, где Анненский неоднократно обращается к статьям Белинского. Как члену Ученого комитета Анненскому приходилось писать отзывы на учебники и учебные пособия по русской литературе. Он рецензировал две книги, посвященные Белинскому: хрестоматию А. Н. Сальникова «В. Г. Белинский о поэзии» (1898) и учебное пособие В. Покровского «Белинский как критик и создатель истории новой русской литературы» (1899).

Анненский считал, что хрестоматию Сальникова нельзя использовать в школе, поскольку составитель помещает отрывки под изобретенными им самим заглавиями, отсутствуют ссылки на издание, том, страницу и, чтобы проверить точность цитаты, читателю, по словам Анненского, пришлось бы перерывать все собрание сочинений Белинского<sup>5</sup>.

Отметим, что в конце XIX в. большинство учителей русской словесности придерживались мнения, что в школе лучше давать избранные отрывки из статей Белинского, чем статьи полностью. Например, Л. И. Поливанов подготовил популярное издание сочинений А. С. Пушкина, с комментариями и критическими отрывками статей о писателе, в том числе и Белинского. По словам Поливанова, Белинский сильно отклоняется в сторону, поэтому избранные отрывки имеют даже большую ценность, если издатель отобрал их целенаправленно. В результате читатель получает «превосходный эстетический комментарий», лишенный публицистических трактатов и тенденциозности<sup>6</sup>. Анненский также считает, что статьи Белинского следует изучать в отрывках, однако критикует хрестоматию Сальникова за некорректность подачи материала.

Пособие В. Покровского было, с точки зрения Анненского, более удачным: «Книжка г. Покровского содержит много интересных и хорошо сгруппированных фактов»<sup>7</sup>. Особое внимание Анненского привлекла первая глава, где подобраны отзывы Белинского о начинающих писателях: Гончарове, Достоевском, Тургеневе, Майкове, Григоровиче. Эта часть книги была близка Анненскому, поскольку в его статьях, посвященных Гончарову, Майкову, Достоевскому, говорится об оценке и поддержке Белинским творчества молодых писателей.

В ранней статье «Гончаров и его Обломов» (1892) Анненский пишет о Белинском и Добролюбове: «Гончаров имел двух высокоталантливых комментаторов, которые с двух различных сторон выяснили читателям его значение»<sup>8</sup>. Анненский приводит, в основном, оценки Белинским творчества Гончарова. Более того, все оценки Белинским гончаровского творчества взяты из статьи Гончарова «Лучше поздно, чем никогда (Критические заметки)». Что за этим стоит? Недобросовестность Анненского, которому было недосуг заглянуть в 12 томов собрания сочинений В. Белинского, или сознательная позиция?

Анненский почти не говорит о статье Добролюбова «Что такое обломовщина?». И. Подольская справедливо отмечает, что «в первом периоде творчества Анненский совершенно сознательно избегает социального анализа и именно в связи с этим делает свой единственный выпад против демократической критики» (КО. С. 514). Иссле-

довательница имеет в виду высказывание Анненского об односторонности оценки Добролюбовым образа Обломова (см.: КО. С. 266—267). В статье «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров раскрывает скрытый в его произведениях смысл, их значение-идею. Писатель считал, что эту работу мог бы сделать и сделал бы рано умерший Белинский, лучше всех понимавший его концепцию. Для Анненского же важно было не только учесть отзывы критики, но и соотнести их с оценкой романистом своего творчества.

В статье «А. Н. Майков и педагогическое значение его поэзии» (1898) Анненский отмечает одобрение Белинским ранней поэзии ученика Гончарова А. Майкова. «На первой ступени своего творчества он был под безусловным и исключительным влиянием античного мира — природа возрождалась в его фантазии в виде живого соединения живых олицетворений, и он складывал из них то в гекзаметрах, то в важных сенариях свои первые картинные пьесы. Эти опыты юноши 17, 18, 19 лет заслужили в свое время похвалу такого чуткого ценителя поэтической правды, как Белинский, и действительно, если мы дивились свежести таланта Майкова в старости, то нельзя не подивиться и ранней зрелости этого таланта: мы не найдем в его томах ни беспредметных порывов юности в виде целых пьес, ни прилежных и робких подражаний любимым образцам — перед нами сразу выступает поэт, точно Паллада, вышедшая во всеоружии из Зевсовой головы. Кто поверит, что классический призыв написан, когда поэту было 17 лет, а "Сон" — 18-летним юношей» (КО. С. 283—284).

Белинский в статье «Стихотворения Аполлона Майкова» особо выделял его стихотворения в древнем духе и антологическом роде: «Это перл поэзии г. Майкова, торжество таланта его, повод к надежде на будущее его развитие»<sup>9</sup>. Критик оценивал юношеские стихи Майкова как поэзию зрелого мастера: «В антологический стихотворениях г. Майкова стих — просто пушкинский, нет неточных эпитетов, лишних слов, натянутых или изысканных выражений, нет полутона фальшивого: в них он — истинный, глубокий и притом *опытный*, *искушенный* художник, в руке которого не дрожит резец и не дает произвольных штрихов»<sup>10</sup>. Оценка Анненским юношеского творчества А. Майкова очень близка к отзывам Белинского о стихах Майкова.

Писать о том, как понимал Анненский отношение Белинского к творчеству молодого Достоевского труднее всего, поскольку в эссе «Господин Прохарчин» Белинский упоминается мимоходом.

Об истории выхода в свет повести «Господин Прохарчин» и ее восприятии современниками Анненский пишет мало. Это «третья повесть о бедном чиновнике» (КО. С. 27), о которой «говорили немного — "хвалят", писал автор брату» (КО. С. 27). Общеизвестно, что критика повесть не хвалила. В. Н. Майков был единственным критиком, который положительно отозвался о «Господине Прохарчине» в статье «Нечто о русской литературе в 1846 году». В. Белинский в обзорной статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» отметил, что появление «Господина Прохарчина» в «Отечественных записках» привело «всех почитателей таланта г. Достоевского <...> в неприятное изумление»<sup>11</sup>. Белинский назвал повесть «странной», писал о ее «вычурности, манерности, непонятности». Кто же тогда хвалил повесть? Поклонники? Друзья? Анненский замечает: «Когда вышел Прохарчин, Белинского не было в Петербурге, а *claqueur* Достоевского, Григорович, кажется, не особенно муссировал Прохарчина» (КО. С. 27). Видимо, Анненский переходит на точку зрения Достоевского, болезненно-самолюбивого, неуверенного в себе, которому именно в момент выхода повести было необходимо одобрение, похвала. И, конечно, нужна была поддержка такого влиятельного критика, как Белинский, несмотря на то, что отношения между ними ухудшились и Белинский все больше разочаровывался в молодом писателе. Понятно, что вернувшись в Петербург, Белинский резко отозвался и о Прохарчине, но совсем другой рецензии ждал от него Достоевский. Анненский отмечает: «В свое время Прохарчина никто не понял» (КО. С. 35). Среди этих «никто» был и Белинский.

Вернемся к учебному пособию Покровского. При анализе этой книги Анненский, говоря о связи Белинского с критиками-современниками, отмежевывается от двух крайностей, присущих авторам работ о Белинском: с одной стороны, многие идеи критика казались заимствованными у его более образованных современников, а с другой стороны, то убеждение, что Белинский был полностью независим в своих суждениях от других авторов критических статей. «Надо также отметить значительную долю суждений, обнаруженную автором при сопоставле-

нии Белинского с другими критиками. Яркость таланта Белинского не мешала г. Покровскому оттенить достоинства и отметить влияние Мерзлякова, Полевого, Надеждина <...> Очень обстоятельно и объективно охарактеризован у г. Покровского и Шевырев <...> Рядом с этим без излишнего пафоса, но убедительно указывая на историю, оправдавшую многие из мнений Белинского, г. Покровский сопоставляет взгляды этого последнего на Бенедиктова, Тургенева и Достоевского с суждениями о них же Шевырева»<sup>12</sup>.

Отмечая достоинства книги Покровского, Анненский вместе с тем иронически относится к противоречивости взглядов ее автора. Пособие предназначено для гимназистов, но его создатель считает, что не все сочинения Белинского нужны для школы. «Очевидно, что тем самым г. Покровский определяет и положение своей книжки в наших школах: правильно ли передавать ее в ученические библиотеки, если ошибочные взгляды критика в ней подробно излагаются»<sup>13</sup>, — замечает Анненский.

В своей рецензии Анненский касается и той части книги, которая посвящена недостаткам критики Белинского, его ошибкам «в оценке произведений русской народной поэзии и книжной словесности древнего периода, а отчасти и новых произведений <...> г. Покровский старается при этом объяснить критические недочеты Белинского недостатком сведений его в области народной письменности <...>, а также слабостью научной разработки предмета в его время. Но автор не закрывает глаз и на недостаточную продуманность, на субъективность или зыбкость некоторых из суждений Белинского»<sup>14</sup>.

По-видимому, Анненский, учитывая слишком критический взгляд Покровского на «погрешности» Белинского, все же разделял его точку зрения о негативном отношении Белинского к фольклору. В эссе «Бальмонт-лирик» Анненский замечает: «Уже Белинскому ничего не говорила народная поэзия» (КО. С. 94).

Негативные высказывания о фольклоре, действительно, встречаются в статьях Белинского. Так, в статье о Пушкине Белинский противопоставляет богатство и мастерство его поэзии скудности и грубости народных песен<sup>15</sup>. Однако Б. Ф. Егоров справедливо указывает, что «Анненский не учитывает эволюции Белинского в его отношении к фольклору и всей сложности его оценок в общей систе-

ме взглядов критика <...> Белинский допускал иногда в полемическом задоре резкие выпады против превознесения народного творчества в ущерб индивидуальной литературе нового времени и против современных подражаний фольклору <...> Однако следует учитывать и его историчные, серьезные очерки устного народного творчества» (КО. С. 593).

Если, по мнению Анненского, Белинский был равнодушен к фольклору, то к числу недостатков критика он относит и слабое знание античного мира и классических языков. В другой рецензии на составленное В. Покровским пособие «Сокращенная историческая хрестоматия» Анненский подчеркивает, что для гимназистов, изучающих древние языки, трактовка античности Белинским прозвучит упрощенно: «Перед учениками классической гимназии странно характеризовать античный мир по Шиллеру, в разъяснениях Белинского, Стоюнина и Водовозова»<sup>16</sup>. В отзыве на хрестоматию Сальникова «Белинский о поэзии» Анненский отмечает небрежность составителя: «Греческие слова, напечатанные у Белинского с ошибками, написаны с еще большими ошибками в книге г. Сальникова»<sup>17</sup>.

Мне представляется необходимым затронуть сложный и до этого остававшийся не разработанным исследователями вопрос об отношении к критике В. Г. Белинского в проекте программы по русской литературе, который разрабатывался в 1905 г. специально созданной комиссией из членов Ученого комитета под председательством Анненского. В программе была сделана смелая попытка ввести научный элемент в школьное образование. В нее были внесены элементы поэтики акад. А. Н. Веселовского. По словам Д. Мотольской, «огромный историко-литературный курс, перенесенный в школу из университета, говорит о попытке приобщить школу к современному состоянию литературной науки»<sup>18</sup>. К сожалению, проект программы проник лишь в старшие классы реальных училищ, а не гимназий, так как не был утвержден министерством.

К началу XX в. учебные планы по русской словесности, составленные в 1890 г., начинают устаревать. «Бывший министр народного просвещения тайный советник Г. Э. Зенгер издал 4-го ноября 1903 года циркуляр по округам о предполагаемом расширении курса русской словесности в VIII классе гимназии и VII дополнительном классе

реальных училищ»<sup>19</sup>. По словам Зенгера, предварительная работа по расширению курса русской словесности проводилась и ранее. Были две комиссии при бывших министрах просвещения Н. П. Боголепове и П. С. Ванновском. Затем из состава последней комиссии была выделена подкомиссия под руководством проф. Кирпичникова, планировавшая включить в программы ряд произведений писателей второй половины XIX в. Зенгер предложил Ученному комитету обсудить вопрос о введении в 1903/1904 учебном году произведений писателей второй половины прошлого века. Министром был представлен список произведений. Поскольку Ученый комитет решил, что вопрос об изменении программы нужно обсудить в педагогических советах школ и попечительских советах учебных округов, то вопрос был передан для рассмотрения на местах.

Через некоторое время в департамент начали поступать отзывы. Была назначена комиссия, в которую вошли В. В. Сиповский, И. А. Шляпкин и И. Ф. Анненский. Председателем ее был назначен И. Ф. Анненский<sup>20</sup>. Кроме рассмотрения отзывов комиссия также занималась составлением проекта программы по курсу русской словесности и объяснительной записки к ней. С такой запиской выступил один из членов комиссии — В. В. Сиповский, однако мнение, изложенное в ней, было коллективным. Когда при обсуждении проекта программы проф. А. С. Архангельский заметил, что один из ее авторов проф. Шляпкин раньше придерживался другого мнения, то последовал ответ Шляпкина: «Программа, выработанная в ученом комитете, представляет не механическую сумму мнений членов комиссии, а результат работы и членов комиссии, и членов ученого комитета и поэтому отдельные лица не являются ее авторами. Личные мои взгляды в некоторых случаях совершенно противоположны коллективному мнению в программе. К этому заявлению присоединяются и мои коллеги по комитету И. Ф. Анненский и В. В. Сиповский»<sup>21</sup>.

В первоначально составленном Зенгером списке высказывалось пожелание ознакомления «учеников с избранными страницами русских критиков (Белинского, Ап. Григорьева, Добролюбова, Страхова и др.)»<sup>22</sup>. В некоторых отзывах предлагалось знакомить гимназистов с представителями публицистической критики: Белинским, Добролюбовым, Писаревым. В объяснительной записке В. Сипов-

ского требование включить публицистическую критику в проект программы решительно отвергалось. Сиповский обстоятельно объяснил, почему нежелательно изучение одного из самых ярких критиков-публицистов Белинского в школе: «Белинский не может быть предметом изучения вследствие неустойчивости его взглядов (несколько раз коренным образом менялись его взгляды хотя бы на Пушкина), вследствие ошибочности некоторых его мнений, достаточно оцененных научной критикой, наконец, даже вследствие недостаточности его знаний (народная поэзия, русская литература XVIII в. и западноевропейская). Какое значение для средней школы может иметь изучение писателя, которого на каждом шагу должно изобличать? Отдельные верные характеристики, им сделанные мнения и мысли по разным вопросам русской литературы должны быть введены в курсы попутно при прохождении Жуковского, Пушкина, Лермонтова и др.»<sup>23</sup>.

Критика Писарева отвергается с той же формулировкой: «Писарев точно так же неудобен в средней школе по тем же соображениям, отдельные же мнения его по поводу того или иного сочинения точно так же могут быть введены в курс»<sup>24</sup>.

Примером попутного введения русской критики при прохождении русской литературы в школе может служить курс VII класса, где в части программы, посвященной Гоголю, скромное место отводилось и Белинскому: «Гоголь и Белинский как представители двух различных миросозерцаний»<sup>25</sup>. В обстоятельной рецензии проф. А. Архангельского на проект программы этот пункт вызвал критические замечания: «Белинский вносится в "программу" не как критик, и притом гениальный, более чем кто другой помогший русской литературе сознательно и твердо стать на новый путь самостоятельного, национального развития, вполне усвоить себе то "новое, истинное направление", к которому стремился Пушкин, — а лишь представитель другого "миросозерцания", "отличного", сравнительно с тем, на почву какого стал Гоголь в своей *"Переписке с грузьями"*»<sup>26</sup>. Архангельский негативно отнесся и к мнению комиссии о том, что критика Белинского не подходит для средней школы: «<...> Чуть ли не каждый ученик, уже с VI–VII класса, сам, непосредственно, знакомится с Белинским, уже с VII класса начинает прибегать к нему, в виду того или другого "заданного" сочинения

<...> — когда к Белинскому отсылает за тем же иногда и сам преподаватель <...> как-то странно было бы не остановиться в проектируемой гимназической "программе" по русской литературе на писателе, который уже давно и более, чем какой другой, фактически известен ученикам»<sup>27</sup>.

Проект программы 1905 г. остался в тени, поскольку не был принят, но отношение его составителей к теме «Белинский в школе» было куда жестче, чем у критиков-модернистов (Розанова, Айхенвальда).

По-видимому, отношение самого Анненского к вопросу «Белинский в школе» было достаточно сложным. В архиве Анненского хранятся «Записки о преподавании методики русского языка и о курсе словесности в женских гимназиях». Вероятно, они относятся ко времени составления комиссией проекта программы, поскольку в программе мы находим раздел «новый курс» и следующую запись о критике: «В. Г. Белинский. Его личность, московский и петербургский периоды жизни и философские влияния. Свойства критического таланта: способность переживать самые разнообразные художественные произведения; умение давать одушевленное и типическое изложение; осторожность в эстетических оценках»<sup>28</sup>. Этот курс словесности предназначался для VIII (дополнительного, с педагогическим уклоном) класса женских гимназий. По-видимому, первоначально предполагалось дать представление о Белинском в большем объеме, но нужно учесть и то, что проект программы 1905 г. разрабатывался для мужских, а не женских гимназий, о которых идет речь в «записке».

Анненский как педагог опасался влияния отрицательных черт Белинского-человека и Белинского-критика на еще не полностью сформировавшихся гимназистов. Говоря в статье «Гончаров и его "Обломов"» об исключительно доброжелательных воспоминаниях Гончарова («Заметки о личности Белинского»), Анненский пишет о критике как об исключительной натуре, но одновременно упоминает о его самолюбии, любви к спорам, «часто обидных парадоксах и резких приговорах» (КО. С. 258). Этих личностных качеств Белинского, перенесенных в его критику, и опасался Анненский. В рецензии на составленную Ю. Н. Верещагиным книгу «Темы и задачи по истории и теории словесности: Пособие для составления сочинений и ли-

тературных бесед» Анненский обращает внимание на то, что часть тем, предлагаемых гимназистам, носит отрицательный характер. «В нашем историко-литературном, а отчасти историческом курсе словесности есть, к сожалению, давняя замашка ставить учеников в положение, не соответствующее ни их возрасту, ни их познаниям, а именно в положение критиков: Лессинг и Белинский оказали на наши учебные курсы влияние не только своими идеями и тонкостью своего эстетического понимания, но и полемическим жаром, который был совершенно законен в их сочинениях, но ничем не оправдывается в русских гимназистах, а тем паче в их наставниках»<sup>29</sup>.

Проблема «Белинский в школе» вырастает из общего отношения Анненского к русской критике и к Белинскому как одному из самых талантливых ее представителей. Среди русских критиков XIX в. Анненскому были близки имена А. Григорьева и В. Белинского. Он ценил ростки эстетической критики в статьях А. Григорьева, его привлекала деятельность Белинского первого периода творчества, когда тот руководствовался прежде всего законами эстетики и приучал русского читателя предьявлять к художественному произведению эстетические критерии. Анненский не мог не симпатизировать пропаганде эстетических идей, которую ранний Белинский считал одной из задач критики: «Цель русского критика должна состоять <...> в том, чтобы распространять в своем отечестве уже известные, оседлые понятия об этом предмете»<sup>30</sup>. Анненскому была близка эмоциональность критического стиля Белинского, заражавшая читателей. Но Белинский второго периода, способствовавший сближению литературной критики с публицистической, был далек от воззрений Анненского на задачи критики.

Конечно, русское академическое литературоведение (Потебня, акад. Веселовский) и западноевропейская критика (Уайльд, Гурмон) оказали большее влияние на формирование критического метода Анненского, нежели русская критика XIX в. Целостная эстетическая система Белинского была достаточно далека от Анненского. Однако обращение к теме дает возможность понять амбивалентное отношение Анненского к Белинскому. В результате мы получаем более полную картину отношения к Белинскому модернистской критики, в которую включена и не лишенная противоречий точка зрения Анненского.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Розанов В. 50 лет влияния (Памяти В. Г. Белинского) // Русское обозрение. 1898. N 5. С. 282.
- 2 Там же.
- 3 Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1994. С. 506.
- 4 Там же. С. 511.
- 5 См.: <Анненский И.> А. Сальников (сост.). В. Г. Белинский о поэзии. СПб., 1898 // ЖМНП. Ч. 327. 1900. Янв. 3. паг. С. 8–9.
- 6 Сочинения А. С. Пушкина с объяснениями их и сводом отзывов критики. Т. 1. Лирические стихотворения. М.: изд. Л. Поливанова, 1887. С. VIII–IX.
- 7 <Анненский И.> В. Покровский. В. Г. Белинский как критик и создатель истории новой русской литературы. М., 1898 // ЖМНП. Ч. 333. 1901. Февр. 2. паг. С. 30.
- 8 Анненский И. Гончаров и его Обломов // Анненский И. Ф. Книги отражений. Л., 1979. С. 252. Далее ссылки на «Книги отражений» даются в скобках: (КО. С.)
- 9 Белинский В. Г. Стихотворения Аполлона Майкова. СПб., 1841 // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 13 т. Т. 6. М., 1955. С. 9.
- 10 Там же. С. 28.
- 11 Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1846 года // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 13 т. Т. 10. М., 1956. С. 41.
- 12 <Анненский И.> В. Покровский. В. Г. Белинский как критик и создатель истории новой русской литературы... С. 30.
- 13 Там же. С. 30.
- 14 Там же. С. 30–31.
- 15 Белинский В. Г. Собр. соч.: В 13 т. Т. 7. С. 349.
- 16 <Анненский И.> В. Покровский (сост). Сокращенная историческая хрестоматия. Пособие при изучении русской словесности. М. 1898 // ЖМНП. Ч. 328. 1900. Март. 3. паг. С. 13.
- 17 <Анненский И.> А. Сальников (сост.). В. Г. Белинский о поэзии... С. 10.
- 18 Мотольская Д. К. Исторический обзор методики преподавания литературы в дореволюционной школе // Уч. зап. ЛГПИ им. Герцена и ГИНПА. Т. II. Фак-т яз. и л-ры. Вып. 1. Л., 1936. С. 97.
- 19 От ученого комитета министерства народного просвещения // ЖМНП. Ч. 360. 1905. Июль. С. 40.
- 20 Там же. С. 44.

- 21 *Шляпкин И., проф.* По поводу рецензии проф. А. С. Архангельского // ЖМНП. Нов. серия. Ч. 4. 1906. Июль. 4. паг. С. 30.
- 22 От ученого комитета министерства народного просвещения // ЖМНП. Ч. ССCLX. 1905. Июль. С. 43.
- 23 От ученого комитета министерства народного просвещения 3. Записка члена ученого комитета В. В. Сиповского по вопросу о введении в курс истории русской словесности новейшей русской литературы // ЖМНП. Ч. 360. 1905. Август. С. 120.
- 24 Там же. С. 120.
- 25 Записка члена ученого комитета В. В. Сиповского... С. 139.
- 26 *Архангельский А.* Заметки на программу по истории русской литературы и теории словесности // ЖМНП. Нов. серия. Ч. 3. 1906. N 6. Июнь. Отд. 4. С. 65.
- 27 *Архангельский А.* Заметки на программу по истории русской литературы и теории словесности // ЖМНП. Нов. серия. Ч. 4. 1906. N 7. Июль. С. 14.
- 28 *Анненский И. Ф.* Заметки о преподавании методики русского языка и о курсе словесности в женских гимназиях // РГАЛИ. Ф. 6. Оп. 1. Ед. хр. 217.
- 29 *<Анненский И.> Ю. Верещагин.* Темы и задачи по истории и теории словесности: Пособие для составления сочинений и литературных бесед // ЖМНП. Ч. 354. 1904. Авг. Пар. 3. С. 138.
- 30 *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. I. С. 285.

## ТУРГЕНЕВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ «АПОЛЛОНА»

Л. ПИЛЬД

Тема «Тургенев в художественной прозе "Аполлона", как и более широкий ее аспект — «Тургенев в журнале "Аполлон"»<sup>1</sup>, — в литературе до сих не рассматривалась. Как указала М. О. Чудакова, Тургенев, наряду с Пушкиным и Лермонтовым, является тем автором классической литературы XIX в., чья поэтика была образцом для «аполлоновцев»-прозаиков<sup>2</sup>. Как считают авторы немногочисленных исследований, посвященных вопросам рецепции тургеневского творчества в литературе символизма, «старшие» и «младшие» символисты усматривали в творчестве Тургенева прежде всего отражение определенных идей (религиозных, общественных, эстетических)<sup>3</sup>. Интерес к поэтике произведений Тургенева как самоценной сфере представляет собой принципиально новый подход к творчеству Тургенева в культуре символизма. Осознанное, аналитическое осмысление проблем тургеневской поэтики характерно, как мы попытаемся показать, не только для авторов, работающих в литературно-критическом жанре, но и для писателей, создающих художественные произведения.

Целью нашей статьи является вычленение тех аспектов тургеневского творчества, которые преимущественно интересуют аполлоновцев-прозаиков. Предметом рассмотрения будут два прозаических текста, опубликованных в журнале в 1909—1910 гг.: «Неделя в Турене» А. Н. Толстого (1910, N 4), «Влас» Осипа Дымова (1909, N 1—3).

Одна из важных проблем поэтики, которая обсуждается на страницах журнала, — это проблема импрессионизма. Она переосмысливается заново в связи с отрицанием «идеологической» концепции импрессионизма в символизме, ориентированном на «утопический эстетизм»<sup>4</sup>. Интересно, что такое переосмысление происходит и у авто-

ров, склонных к утопическим построениям (М. Волошин). Так, например, повесть А. Толстого «Неделя в Турене» написана, как нам кажется, под влиянием волошинских концепций импрессионистической поэтики и творчества Тургенева. Поэтому прежде, чем мы обратимся к анализу повести, остановимся на некоторых положениях статьи Волошина «Анри де Ренье», опубликованной в четвертом номере журнала за 1910 г.

Концепция «неореализма», которую здесь излагает Волошин, складывается на основе своеобразного сочетания импрессионистической поэтики и поэтики символа. Синтез конкретного плана символа (импрессию, впечатления художника) и его глубинного плана (отражающего глубинные пласты сознания и вселенной, которые изоморфны друг другу) является, как считает Волошин, доминантой стиля прозы Анри де Ренье: «Я изображаю не явления мира, а свое впечатление, получаемое от них. Но чем субъективнее будет передано это впечатление, тем полнее выразится в нем не только мое "я", но мировая первооснова человеческого самосознания»<sup>5</sup>. Концепция Волошина, сложившаяся отчасти под воздействием гносеологии А. Бергсона<sup>6</sup>, в целом, конечно, чужда другим аполлоновцам-прозаикам (М. Кузмину, С. Ауслендеру, Б. Садовскому) своей «идеологичностью», стремлением установить отношения изоморфизма между художественным произведением и космосом. Однако, в отличие от символистов, ориентированных на мифопоэтическую утопию, для Волошина одинаково ценными оказываются все пласты символа: как непосредственная импрессия художника, воссоздающая деталь внешнего мира или оттенок душевного переживания, так и те глубинные смыслы, которые открываются за «впечатлением от мира» художника. Этим рядом глубинных смыслов символа для Волошина являются различные пласты культур прошлого, синхронно функционирующих в художественном произведении и сознании автора: «Восемнадцатый век <...> всюду сквозит под его масками текущей жизни и просвечивает сквозь узоры современности. Но на самом деле это вовсе не XVIII век, а старая культура Франции» (Лики творчества. С. 62). Сведение смысловых пластов символа к словесному воплощению конкретных культур (а не мистической реальности, например) как раз и роднит Волошина с другими аполлоновцами.

С концепцией символа, изложенной в статье «Анри де Ренье», Волошин связывает и имя Тургенева. На основании беглых упоминаний Тургенева в других литературно-критических работах Волошина можно заключить, что в целом отношение Волошина к Тургеневу было двойственным. Рассматривая русскую культуру как «растянувшуюся на несколько столетий» (т.е. как сложное целое, разные пласты которого развиваются неравномерно)<sup>6а</sup>, Волошин, в соответствии с этим представлением, строит схему эволюции русской литературы XIX в. Характерная черта развития русской литературы прошлого столетия — это, по мысли Волошина, существование ее в разных временных рядах. Драматургия Тургенева, наряду с произведениями Грибоедова и Островского, представляет собой, по Волошину, замедленное движение, в жанровом отношении определяемое как эпика: «В летнем затишье тургеневских пьес *время течет медленно и чувства сменяются неторопливо*» (Лики творчества. С. 362. Курсив мой. — Л. П.). Пьесам, превращающимся в эпос, противостоит литература, развивающаяся в другом, ускоренном ритме. Это, в частности, романы Достоевского, подготавливающие возникновение русской трагедии: «Грозовая сгущенность, сосредоточенная сила, физически ощущаемый полет времени <...> составляют характерную особенность всех романов Достоевского» (Лики творчества. С. 364).

Если творчество Достоевского, по Волошину, способствует наступлению нового периода в русской культурной жизни (восприятие трагедии ведет к ускорению душевных процессов, а последнее является знаком духовной революции), то пьесы Тургенева относятся, скорее, к тому типу литературы, которая отражает «национальные противоречия в формах тупой безысходности» (Лики творчества. С. 365). «Медленное течение времени» в художественном произведении, по Волошину, соответствует медленному освоению европейской культурной традиции. Другой характерной чертой тургеневских пьес является одноплановость действия (См. Лики творчества. С. 362). У Достоевского в романах наоборот: «Душа России вопит множеством голосов, каждая новая реплика изменяет соотношение между всеми действующими лицами» (Лики творчества. С. 364).

Замедленное течение времени и одноплановость действия в пьесах Тургенева является, по Волошину, следствием его «реализма». Ср.: «Реализм Тургенева, легко-

стью которого мы восхищаемся, все же гораздо тяжелее и плотнее, чем трепетные и изящные краски Ренье» (Лики творчества. С. 67). Метафорический ряд, характеризующий особенности поэтики реализма, образуется у Волошина посредством перенесения характеристик из сферы иконической изобразительности в сферу изобразительности словесной. В другом месте статьи «Анри де Ренье» реализм сравнивается с «живописью масляными красками», а в более ранней статье «Индивидуализм в искусстве» (1906) Волошин говорит: «Масляные краски заставили выйти художников из области бессознательных прозрений в область волевою и сознательную» (Лики творчества. С. 264). Сознательность здесь — синоним логического, то есть одностороннего и поверхностного отношения к действительности. Актуализация в высказывании о Тургеневе семантики «тяжеловесности» и «густоты» свидетельствует о том, что творчество Тургенева Волошин был склонен рассматривать как продукт логического сознания.

Однако, несмотря на сказанное выше, в Тургеневе Волошин усматривает и предтечу современного «неореализма»: «Их <Ренье и Тургенева. — Л. П.> объединяет аристократическая чуткость стилиа, любовь к старым дворянским гнездам, прозрачная ясность видения жизни» (Лики творчества. С. 67). Метафорическая характеристика особенностей тургеневской поэтики присутствует, как мы видим, и здесь. Если «плотность», «густоту», «тяжеловесность» Волошин считал атрибутами живописи масляными красками, то «ясность» и «прозрачность» характеризовали, по Волошину, акварельную живопись и, в первую очередь, живопись импрессионистов. «Прозрачная ясность слова» — метафора, актуализирующая многомерность смыслов, сокрытых в символе, и одновременно их ценностную равнозначность: «но символизм придал всем конкретностям жизни особую прозрачность. Точно на поверхности реки видишь отражение неба, облаков, деревьев, а в то же время из под этих трепетных световых образов сквозит темное и прозрачное дно с его камнями и травами» (Лики творчества. С. 62). Многомерность смыслов символа заключается, по Волошину, в сосуществовании разных временных рядов, заполняемых реалиями ушедших культур и современности. Проявление такой многомерности Волошин видит и у Тургенева — «любовь к старым дворянским гнездам» — и считает ее наиболее ценной чертой тургеневской поэтики, реализовавшейся

благодаря тургеневскому импрессионизму, психологической основой которого являются дологические формы художественного освоения реальности.

Таким образом, Волошина интересуют не только особенности поэтики Тургенева, но и то состояние сознания (тип восприятия, художественного освоения реальности), в котором находится художник, создавая свои произведения. Художественное сознание для Волошина — категория во многом историческая. Тургенев, в восприятии Волошина, предстает в качестве некоего переходного типа. Он находится на пути от поверхностно-логического восприятия действительности к целостному ее освоению (т.е. бессознательному восприятию). Из всех особенностей поэтики Тургенева Волошин обращает внимание только на его импрессионизм. Вне поля зрения остаются формы повествования, своеобразие жанров и литературных родов в его творчестве — то, что будет интересовать других авторов «Аполлона».

Как уже говорилось, во многом под влиянием эстетики Волошина написана повесть А. Н. Толстого «Неделя в Тургене», напечатанная в четвертом номере «Аполлона» за 1910 г. Обращает на себя внимание заглавие повести (известно, что позже, переделывая свои ранние произведения, А. Толстой его изменил)<sup>7</sup>. Оно явно сопряжено с проблематикой, актуальной для редакции и многих сотрудников журнала. Во-первых, вынесение в заглавие названия усадьбы, в которой происходит действие, связано не только, как нам кажется, с автобиографическим подтекстом повести<sup>8</sup>. Название усадьбы несомненно ассоциировалось у самого Толстого и у читателей первого варианта повести с фамилией русского классика (фонетически немного измененной), входившего в число наиболее любимых писателей Толстого в ранней юности<sup>9</sup>. Во-вторых, это связано с тем, что Тургенев — автор, значимый для редакции «Аполлона», и заглавие могло вызывать ассоциации с названием тургеневской пьесы «Месяц в деревне», о постановке которой в МХТ много писали в отделе хроники в связи с талантливими декорациями М. Добужинского к этой постановке<sup>10</sup>. Иллюстрации Добужинского к «Месяцу в деревне» публиковались на страницах журнала в течение 1909—1910 гг.

Заглавие повести Толстого «уменьшает» временной отрезок, обозначенный у Тургенева, — «неделя» — вместо

«месяц» и, таким образом, задает ключ к сюжету и поэтике этого текста. В цитируемой выше статье «Анри де Рень» Волошин называет А. Толстого в числе писателей, в творчестве которых «намечаются пути неореализма» («Лирика творчества». С. 60). По словам самого Толстого, Волошин, наставляя его на литературном пути, ориентировал именно на тургеневскую традицию: «Вы, наверно, должны быть последним в литературе, *носящим старые традиции дворянских гнезд*»<sup>11</sup> (курсив мой. — Л. П.). По-видимому, «Неделя в Турене» отразила размышления А. Толстого о своем литературном самоопределении и поэтому включает в себя элементы металитературной рефлексии, реализованные в художественной форме. В статье о Волошине 1909—1910 гг. Толстой назвал самой ценной чертой волошинского творчества импрессионистическую поэтику<sup>12</sup>. Вместе с тем, несколькими годами раньше, в Ученической тетради 1899—1900 гг., Толстой эту особенность, как наиболее для себя важную, подчеркнул у Тургенева: «Описания природы у него несравненны <...> Отличительным свойством его описаний служат *неуловимые с первого взгляда мелкие подробности и сравнения, которые придают художественность его описаниям*»<sup>13</sup> (курсив мой. — Л. П.).

Тургеневский мир представлен в повести многими традиционными мотивами и образами, связываемыми уже в сознании читателя XIX в. с творчеством Тургенева («крушение идеалов», «лишний человек», «рефлексия», «заглохший сад», «пруд», «портреты предков на стенах» и т.д.)<sup>14</sup>. Одним из основных объектов изображения в повести Толстого становится, как на это косвенно указывает заглавие, восприятие персонажами времени. Толстому было хорошо известно, что психологическое, или «внутреннее», время — тема, важная для Волошина, и что он решает ее в духе идей Бергсона (см., например, статьи «Аполлон и мышь» [1911], «Ногомедон» [1907]), ценностно противопоставляя «внутреннее» время историческому — «измеряемому числом».

Тема восприятия времени представлена наиболее зримо в эпизоде, где тетушка Анна Михайловна размышляет о неожиданном для нее поведении приехавшего племянника: «Сегодня тетушка считала против обыкновения невнимательно, думая о вчерашней сутолоке, о глухой борьбе со всем, что нужно искоренить <...> Нарушилось их давнее равновесие — будто маятник старинных

часов у стены в длинном ящике: тронули грубой рукой, заметался он, неровно отбивая такт, остановились и быстро побежали, нарушая мерность времени, резные стрелки» (С. 18)<sup>15</sup>. Время тетушки — это время, протекающее медленно, время патриархальных дворянских традиций, не меняющее своего ритма на протяжении нескольких веков. С приездом племянника Николушки мерность ритма нарушается вторжением совсем других ритмов, более быстрых. Однако совмещения нескольких ритмических рядов в сознании тетушки не происходит. Старый ритм нарушается — новый не образуется. В ходе дальнейшего развития действия тетушка предпринимает тщетные усилия возобновить прежнее медленное течение времени (увоз племянника в монастырь и т.п.).

Племянник Николушка, в противовес Анне Михайловне, живет параллельно в нескольких временных рядах (во всяком случае, пытается это делать чисто спонтанно): «Вдыхая ночной запах, вспоминал Николушка давнее, и детские сны сплетались в то, что было много лет назад здесь и в городе» (С. 12).

«Структура» этих воспоминаний персонажа достаточно своеобразна. Они начинаются с обостренного ощущения запаха («вдыхая ночной запах»), т.е. мимолетное ощущение дает возможность герою погрузиться в глубину собственного сознания. В самом воспоминании совмещены несколько временных и пространственных рядов: «детские сны» — то, что происходило когда-то давно, ночью; «то, что было <...> здесь» (в деревне) и «в городе» — т.е. преимущественно *днем*, и в разных пространственных точках. Мы видим, что здесь достаточно точно воспроизведена структура, описываемая Волошиным в статье «Анри де Ренье»: ощущение перспективы времени рождается из импрессионистического впечатления.

Однако Николушка не только переживает прошлое, расположенное в близких между собой, почти синхронных, точках, но и пытается совместить в сознании два типа течения времени, два несовпадающих ритма. Это — мерный ритм жизни тетушки, связанный с сохранением традиций дворянского прошлого (ср.: «Я хочу работать, — ответил Николушка скромно. — В детстве меня не учили этому <...> Исполняя волю Анны Михайловны, буду я работать». С. 10), и ускоренный ритм его собственной жизни: «Узнав о предстоящем поджоге, раскричался он,

грозя перестрелять всех мужиков, и упрекнув тетушку в потакательстве, вооружился с головы до ног». (С. 24).

Два разных типа восприятия времени соотнесены в повести с различным восприятием деталей внешнего мира. Восприятие тетушки (отчасти и повествователя) преимущественно «вещное». Она видит вещи, а не «впечатления от вещей». Их изображение у Толстого лишено зыбкости, переходности (это преимущественно описание домашнего интерьера): «Она <тетушка. — Л. П.> любила больше всего широкое кресло, обитое коричневым штофом, с пружиной, торчащей из мочалы <...> На нем родилась тетушка и все девять ее, теперь покойных, сестер» (С. 6); «перебрала в шкатулке бумажки с волосами давно умерших Туреневых, Налымовых, Ходанских, <...> костяной футляр для зубочистки разыскивала» (Там же). Вещь, находящаяся в процессе разрушения, как бы на грани перехода в небытие, является знаком исчезающего мира дворянской культуры. Именно эта особенность поэтики повести дает исследователям основание сближать ее стиль с поэтикой Гоголя, его «вещным» миром<sup>16</sup>. Своеобразная устойчивость, нетекучесть вещного интерьера у Толстого связаны с тем, что усадебный мир в повести как бы переживает последние мгновения своего существования, у него отсутствует перспектива.

Восприятие мира Николушкой и трезвым скептиком Африканом Семеновичем, напротив, подчеркнуто импрессионистично. Мир разрушенных вещей, попадая в их поле зрения, приобретает текучесть, подвижность благодаря тому, что он не является для этих персонажей (особенно для Николушки) единственной ценностью. Ср., например: «А дом, глядя в дымные луга багровыми окнами, поднялся по пояс из темных зарослей, оживший, утрюмо-нарядный, торжественный <...> Африкан Семенович взошел поспешно через балкон в залу, где двигалась по стене частой сетью тень решетки» (С. 34).

Импрессионистическое восприятие реальности становится в повести единственной сферой, где локализуется «красота». Это восприятие самоценно, бессознательно, лишено идеологических, в широком смысле этого слова, подтекстов и принадлежит, в частности, персонажу, чье поведение стремится к освобождению от условностей. Здесь, по-видимому, следует усмотреть отголосок волошинского представления о стадильности культурного развития. По Волошину, каждый новый цикл в раз-

витии человечества и отдельного человека начинается с дологического уровня осмысления реальности (см. его статьи «Пророки и мстители» [1906], «Откровения детских игр» [1907] и др.). Изображая Николушку, Толстой пародийно переосмысляет волошинскую идею о человеке, представляющем новый, только что зарождающийся, цикл культурного развития. А. Толстой уже в 1908 г. сомневался в необходимости концептуально-идеологической основы художественного творчества. В связи с этим он писал М. Волошину: «А сейчас в раздумье — так ли нужно искать жизни всей и будущей, не есть ли также истина в полном и прекрасном восприятии ее. Ведь люди усвершенствуются, сами не зная как и для чего, ведь дети — самые простые и мудрые существа, всего больше счастливы»<sup>17</sup>.

В литературе уже говорилось о том, что ранние произведения Толстого находятся в плане поэтики на грани модернистских исканий и реалистического творчества<sup>18</sup>. З. Г. Минц, в частности, рассматривает произведения раннего Толстого как модернистские стилизации<sup>19</sup>. По-видимому, можно говорить о пародийно-стилизованном изображении в повести концепции импрессионистической поэтики М. Волошина. Как было показано, концепция времени Волошина сопрягается у Толстого с представлением об импрессионизме в литературе. Импрессионизм как способ проникновения вглубь времени и пространства отрицается, утверждается самоценная значимость импрессионистического восприятия.

Генетически традицию импрессионистической поэтики Толстой связывает с Тургеневым. Тургенев для Толстого — писатель, чье наследие необходимо осваивать выборочно; поскольку тематика и проблематика его произведений устарела, то для современных писателей значимой становится его импрессионистическая поэтика. Еще в ранней юности она была оценена Толстым как основание для объективного, бестенденциозного освещения действительности. В Ученической тетради 1899–1900 гг. Толстой писал: «Тургенев выставляет природу действительную, чистую и прекрасную. Он не станет скрывать шипы у розы, но и не станет нарочно искать их, как делает Золя»<sup>20</sup>.

Пolemически заостряя свое понимание импрессионизма и тургеневского творчества по отношению к своему литературному учителю Волошину, Толстой считает тенден-

циозной и саму установку многих членов редакции журнала на художественное воспроизведение культур прошлого. Он усматривает в ней лишь проявление ничем не оправданного эстетизма, так как один из объектов эстетизации — русская дворянская культура — безвозвратно канул в прошлое. Вместе с тем, повесть Тостого вполне вписывается в контекст программных деклараций «Аполлона». Продуктивным для себя ее автор (по крайней мере в рамках этой повести) считает обращение к поэтике, не имеющей, с его точки зрения, концептуально-идеологической подосновы.

К осмыслению тургеневской проблематики и поэтики обращается и Осип Дымов в повести «Влас». Повесть написана с ориентацией на традицию русской повествовательной прозы середины XIX в. Цитатный пласт, восходящий к творчеству прозаиков и поэтов классической литературы прошлого столетия, включает в себя преимущественно отсылки к текстам, отражающим периоды «кризиса идеологических ценностей» в русской культуре. Это «Рудин» (1856) и «Новь» (1877) Тургенева, «Дедушка» (1870) Некрасова, «Подросток» (1874–75) Достоевского, «Вадим» (1833–34) Лермонтова. Нас будет интересовать в повести функция смыслового пласта, связанного с литературой XIX в., и место тургеневского творчества в рамках этого семантического комплекса, как оно понимается Дымовым.

Литература XIX в. представлена в повести большей частью именами и фамилиями писателей и их персонажей. Эти имена и фамилии являются метонимиями — знаками восприятия творчества того или иного автора в целом. Конкретный подбор имен отражает, по крайней мере, две точки зрения: точку зрения демократически настроенной интеллигенции конца XIX в. (время действия в повести) и авторскую позицию. Так, например, «лермонтовские» имена (Вадим, Ольга, Юрий, восходящие к роману «Вадим» Лермонтова и совпадающие с именами ряда дымовских персонажей) являются знаками актуализации лермонтовской проблематики в эпоху Надсона. Авторская же позиция детально раскрывается в отдельной главе, посвященной Достоевскому.

Фамилия Достоевского в тексте не фигурирует. Характер проблематики угадывается в заглавии («Каторжник»), фамилии героя (Краснянский — совпадение суффикса и окончания) и, наконец, более явно — в портрете героя:

«Высокий, с поднятыми плечами и голубыми, ушедшими под лоб, очень серьезными глазами от того, что плечи широки, угловаты и подняты к затылку, глаза ушли под лоб и строги <... > У него светлая, не длинная борода, короткие негустые русые волосы, строгие усы. Из под отворотов черного пальто виден край белого воротника и черный галстук»<sup>21</sup>. По многим деталям этого портрета («ушедшие под лоб голубые глаза», «русые волосы», «светлая борода») можно узнать описание внешности Достоевского в мемуаристике, художественной прозе и изображение его на фотографиях и портретах художников. Кроме того, это единственная глава в повести, где мы находим имитацию повествовательной манеры конкретного автора.

Главный герой в поступках и мыслях подчеркнуто предвосхищает чужое мнение (мнение каторжника) и параллельно, думая за каторжника, пытается реконструировать его «предвосхищение» в мыслях (т. е. воссоздать «слово с оглядкой» другого человека). В этом можно усмотреть пародийное переосмысление приемов повествования Достоевского: «Я держал себя так потому, чтобы этим заранее оборониться от каторжника. Он не любит меня, смотрит свысока. Он знает, что я воспользовался его отсутствием и обокрал его, но так как он каторжник, он должен делать вид, что добр, великодушен, и не имеет права быть злым, как бы ему этого не хотелось. В глубине же он, конечно, нас всех презирает, важнюка» (О. Дымов. С. 64). В главе, о которой идет речь, с одной стороны, степень обобщения в метонимии повышается (каторжник — Достоевский), с другой — цитация получает более конкретный характер (имитируется повествовательная манера Достоевского).

Функционально сопоставимым с такого рода цитированием оказываются прямые цитаты из поэмы Некрасова «Дедушка»: «Раз у отца в кабинете / Саша портрет увидал...» (О. Дымов. С. 41). Сдвиги по отношению к основной форме цитирования становятся в повести значимыми. В цитатах такого типа конкретизируется позиция автора повести по отношению к включенному в текст пласту русской литературы XIX в. и, прежде всего, к текстам Достоевского и Некрасова (само заглавие повести, видимо, необходимо рассматривать как цитату из Некрасова и Достоевского, в творчестве которого этот некрасовский образ подвергается переосмыслению — ср. одноименную главу в «Дневнике писателя» за 1873 г., а также рецен-

цию этого образа в «Подростке»). Их общими признаками являются, с точки зрения Дымова, преимущественный интерес к социальной проблематике, изображение болезненной раздвоенности сознания и мрачная эмоциональная тональность.

Такое восприятие Достоевского нельзя назвать специфически присущим эпохе «безвременья», скорее, здесь Дымов отразил программные установки редакции «Аполлона» с ее неприятием гиперидеологизированного творчества.

Наконец, глава, посвященная собственно тургеневской проблематике, также спроецирована на современное Дымову восприятие Тургенева. Сама фамилия Тургенев в тексте не встречается, она заменяется фамилией Рудин. Главный герой отождествляет себя с Рудиным, прочитав одноименный роман. Фамилия Рудин и в этом случае оказывается знаком, замещающим все тургеневское творчество. Это соображение подтверждается тем, что в главе встречаются еще два «тургеневских» имени: Елена и Марианна. Тургеневская проблематика представлена здесь несколькими тематическими комплексами: это красота природного мира, переживаемая героем, платоническая любовь к женщине и эстетизированное восприятие персонажем социальных проблем. Именно в этой главе герой освобождается на какое-то время от мучительной психологической раздвоенности: «Я сливаюсь с тем высоким, строгим, умным, и уже нет Рудина. Я единственный» (О. Дымов. С. 115).

Тургеневский мир оказывается для автора повести тематически и эмоционально многоаспектным. Важно отметить функциональную равноценность этой многоаспектности. Любовные переживания столь же значимы для героя, как и социальный аспект судьбы девушки, в которую он влюблен. Если другие имена и фамилии, замещающие в повести тексты Лермонтова, Некрасова, Достоевского, создают вокруг себя мрачный, болезненно-напряженный эмоциональный ореол, то фамилия Рудин порождает светлую эмоциональную тональность (ср.: «Я глажу ее волосы и вдруг — не знаю — целую. Она верит мне <...> Она ушла — теперь я сладкий раб!» О. Дымов. С. 115), которое перемежается с настроением меланхолической грусти: «Я смотрю на мать: у нее морщины, у нее седые волосы, — как мне ее жаль! Я встаю из-за стола и выхожу во двор. Боже мой, луна...» (О. Дымов. С. 112).

Тургеневский мир получает у Дымова интерпретацию, близкую концепции Тургенева у И. Анненского (см. его статью «Умиравший Тургенев» в первой «Книге отражений») <sup>22</sup>. На первый план выступает Тургенев-шопенгауэрианец, сомневающийся в разумной и целесообразной организации природы-космоса и поэтому концентрирующий свое внимание на сфере искусства. Однако если у Анненского больше подчеркнут агностицизм Тургенева (во многом восходящий к Шопенгауэру), то в повести Дымова актуализируется субъективно-идеалистический пласт шопенгауэровской философии (см., напр., главу «Лже-дни»), и этот же аспект доминирует в «тургеневской» главе. Источником эстетического отношения героя к миру является его собственное вдохновение, его «лунатизм» — глава называется «Лунатик», — а не объективный мир как мистическая, логическая или материальная субстанция.

Стилистической доминантой повести Дымова, как известно, является импрессионистическая поэтика <sup>23</sup>. Однако глава «Лунатик» все-таки выделяется на фоне многих других по степени гущенности импрессионистических деталей. Название главы метафорически соотнесено не только со смысловым наполнением этой части повести, но и с импрессионистическим стилем (ощущения и впечатления, составляющие психологическую основу импрессионизма в искусстве, уподобляются «лунатическим» состояниям и реакциям). Импрессионизм осмысливается Дымовым как стиль подчеркнуто неидеологический, позволяющий обнаруживать в реальности ее многогранность. Дымов выделяет, по сути дела, в поэтике Тургенева «субъективный» пласт (импрессионистический стиль) и «объективный» (бестенденциозное отношение к описываемому материалу).

На сочетание противоположных друг другу повествовательных приемов у Тургенева указывает М. Кузмин в статье «О прекрасной ясности» («Аполлон» 1910, N 4). Кузмин говорит здесь о трех типах так называемого «стилизма» в прозе. К первому типу он относит стилизованную прозу, где писатель воспроизводит не только особенности литературного жанра эпохи, но реконструирует и «язык» этой эпохи (Пушкин, Лесков). К другому типу относятся, по Кузмину, «Песнь торжествующей любви» Тургенева и «Огненный ангел» Брюсова. В этих произведениях автор не занимается воссозданием «языка» эпохи,

а реконструирует лишь соответствующий литературный жанр. По отношению к Тургеневу здесь речь идет, вероятно, о явлении, которое позже, уже в литературоведении XX в. получит название стилистического «монологизма»<sup>24</sup>. Кузмин здесь имеет в виду однообразие повествовательной манеры Тургенева вне зависимости от конкретного жанра произведения и, по-видимому, рассматривает эту особенность манеры Тургенева как проявление «субъективности» в поэтике. Основание сделать такой вывод дает соседство Тургенева с Брюсовым в кузминской классификации.

В статье «Художественная проза "Весов"» («Аполлон» 1910, N 9) Кузмин, анализируя роман Брюсова «Огненный ангел» и называя его «указательным столбом будущего романа», подчеркивает важность гармонического сочетания в рамках одного прозаического произведения различных, часто противоположных, приемов повествования («Аполлон», 1910, N 9. Отд. I. С. 38 – 39). Основным достоинством романа Брюсова Кузмин, таким образом, считает смысловую и жанровую полидоминантность. «Субъективность» Брюсова (под которой подразумевается автобиографический подтекст романа) и его «объективность» (в частности, безукоризненное воссоздание жанра немецкой автобиографической хроники XVI в.) как раз и образуют, по Кузмину, основу для такой полидоминантности. В случае же Тургенева такой основой будет сочетание языкового монологизма с реконструкцией жанра итальянской новеллы эпохи Возрождения.

Таким образом, как видно из анализа повести Дымова и из высказываний Кузмина о Тургеневе, тургеневская проза актуальна для аполлоновцев не только в связи с переосмыслением функции импрессионистической поэтики в период «кризиса символизма», но и как образец расширения гармонического сочетания разных повествовательных приемов.

Своеобразие позиции «аполлоновцев» по отношению к тургеневскому творчеству заключается в попытке целостного его освоения. Тургенев, по сути дела, единственный автор среди прозаиков классической русской литературы XIX в., чья поэтика становится в журнале объектом литературно-критической и художественной рефлексии. В целом можно говорить о двух направлениях в эстетических исканиях «аполлоновцев» в области поэтики прозы.

Во-первых, это ориентация на создание текстов со *строгой архитектурной*, проявляющейся на разных уровнях организации художественного произведения. Целый ряд авторов публикует в журнале прозаические тексты, которым присущи четкая композиция, лаконичность синтаксиса, преимущественно «внешний» психологизм в характеристиках героев, внесказовые формы повествования. К числу таких текстов относятся «Сын белокаменной Москвы» и «Погибший пловец» Б. Садовского, «Ставка князя Матвея», «Ночной принц» и «Пастораль» С. Ауслендера, «История Исминия» С. Соловьева, «Путешествие Джона Фирфакса...» М. Кузмина. Все названные произведения написаны с доминирующей ориентацией на поэтику Пушкина. В них строго выдержан жанр стилизации, импрессионистическая стилистика, для них, в целом, не характерна. Проза Пушкина для «аполлоновцев» является образцом *объективности и стройности* архитектурной текста. Проза Тургенева становится для авторов, печатающихся в «Аполлоне», знаком сочетания разных повествовательных, тематических, образных и жанровых структур, в рамках пушкинской объективности и стройности. Произведения, ориентированные на тургеневскую традицию, «повторяют» структурно ряд черт, присущих «пушкинским» текстам. Им также свойственны лаконичный синтаксис и стройная композиция; преимущественно «внешний» психологизм и внесказовость. Однако, в отличие от перечисленных выше «пушкинских» текстов, как «Неделя в Турене» Толстого, так и «Влас» Дымова, характеризуются сочетанием различных жанровых образований. Произведения Толстого синтезируют черты бытового повествования и стилизации, повесть Дымова — бытового и исторического повествования. В повестях Толстого и Дымова, в отличие от упомянутых рассказов Ауслендера, Садовского и «Путешествия Джона Фирфакса» Кузмина, импрессионистическая стилистика противопоставлена другим стилевым манерам: у Дымова — пародируемому «аналитическому психологизму» Достоевского; у Толстого — конкретному, «вещному», восходящему к гоголевской поэтике, описанию реальности. Сочетание различных стилевых манер находим и в прозе М. Волошина («прозой» Волошина можно считать его перевод из Анри де Ренье, опубликованный в «Аполлоне», где импрессионистическая поэтика сочетается с поэтикой символа), и в рассказе Кузмина «Опасный страж» (1910, N 11),

который представляет собой жанровый синтез «идеологического» рассказа и стилизации<sup>25</sup>. Эти авторы усматривают в тургеневской прозе проявление эстетической нормы не только потому, что у Тургенева можно найти синтетические структуры в рамках одного произведения (сочетание «исторического» и «архетипического»<sup>26</sup>, романа и новеллы<sup>27</sup>, стилистического монологизма и строгой выдержанности жанра чужой эпохи), но также и потому, что творчество Тургенева в целом представляет собой пример совокупности нескольких литературных родов и жанров (поэзия, проза, драматургия; роман, новелла, очерк, стихотворение в прозе и т.д.). Синтетизм жанровых и повествовательных структур в творчестве Тургенева и называется той историко-типологической параллелью, которая связывает прозу «Аполлона» с творчеством Тургенева как целостной системой.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 О журнале «Аполлон» см.: *Корецкая И.* «Аполлон» // *Русская литература и журналистика нач. XX века.* М., 1984. Вып. 2.
- 2 См. об этом: *Чудакова М. О.* Сергей Ауслендер // *Русские писатели. Биограф. словарь.* М., 1992. Т. 1. С. 121.
- 3 О рецепции произведений Тургенева в символистской традиции см.: *Ашимбаева Н. Т.* Тургенев в критической прозе И. Анненского // *Изв. АН Казах. ССР. Серия филологич.* 1984. N 1; Брюсов о Тургеневе (публ. С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова) // *Тургенев и его современники.* Л., 1977; *Астман М.* Тургенев и символизм // *Записки русской академич. группы в США.* New York. 1983. Т. XVI.
- 4 В книге Д. С. Мережковского «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы» тургеневский и чеховский импрессионизм интерпретируется как стилистическая основа мистического постижения реальности (см.: *Мережковский Д. С.* Эстетика и критика. М., 1995. Т. 1. С. 176; 208 – 209).  
О классификации течений внутри символизма см.: *Миц З. Г.* Об эволюции русского символизма // *А. Блок и основные тенденции развития русской литературы нач. XX века: Блоковский сборник VII.* Тарту, 1986.
- 5 *Волошин М.* Лики творчества. Л., 1989. С. 62. (В дальнейшем ссылки на это издание в тексте с указанием в скобках названия сборника и страницы).

- 6 См. об этом: *Wallrafen Claudia*. Maks. Voloschin. Künstler und Kritiker. Slavistische Beiträge. Bd. 153. München, 1982. S. 205–224.
- 6а Ср.: «Постепенно идя культурно-историческими путями, мы растянулись на несколько столетий» (Лики творчества. С. 117).
- 7 См.: Толстой А. Н. Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1951. Т. 1. С. 645–646.
- 8 См.: Там же. С. 647.
- 9 См.: Крюкова А. Н. А. Н. Толстой и русская литература. М., 1990. С. 111.
- 10 См., напр.: Тугенхольд Я. Московские выставки // Аполлон. 1910. N 4. С. 54; Лукомский Г. Художественная жизнь Москвы // Аполлон. 1910. N 5. С. 69–70.
- 11 Заметка А. Н. Толстого. 1908 г. // А. Н. Толстой о литературе и искусстве. С. 391.
- 12 См.: Толстой А. О Волошине / Публ. и вступ. статья А. Хайлова // А. Н. Толстой. Материалы и исследования. М., 1985. С. 219.
- 13 Ал. Толстой и Самара: Из архива писателя. Куйбышев, 1982. С. 271.
- 14 О жанре «усадебной повести» см.: Щукин В. К эволюции жанра усадебной повести в русской литературе XIX века (Тургенев и Чехов) // Slavica XXIII. Debrecen, 1986.
- 15 «Аполлон», 1910, N 4, отд. III. С. 18. (В дальнейшем ссылки в тексте с указанием в скобках страницы).
- 16 См.: Крюкова А. Н. Указ. соч. С. 128.
- 17 Из писем Ал. Толстого к Макс. Волошину / Публ. и вступ. статья В. П. Купченко // Лит. обозрение. 1983. N 1. С. 110.
- 18 Келдыш В. А. Русский реализм начала XX в. М., 1975. С. 209.
- 19 См.: Минц Э. Г. К изучению периода «кризиса символизма» (1907–1911) // Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 881. 1990. С. 15.
- 21 Дымов О. Рассказы. СПб., 1912. С. 56. (В дальнейшем ссылки на это издание в тексте с указанием в скобках фамилии автора и страницы).
- 22 См. об этом: Пильд Л. И. Анненский — интерпретатор И. С. Тургенева // Русская культура XX века: метрополия и диаспора. Блоковский сборник XIII. Тарту, 1996.
- 23 См.: Усенко Л. В. Импрессионизм в русской прозе нач. XX века. Ростов, 1988. С. 170–198.
- 24 О формах повествования у Тургенева см.: Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. Л., 1979. С. 326–329; Шаталов С. Е. Проблемы поэтики И. С. Тургенева. М., 1969. С. 129; Чудаков А. П. О поэтике Тургенева — прозаика // И. С. Тургенев в современном мире. М., 1987.

- 25 О «тургеневском» подтексте рассказа М. Кузмина «Опасный страж» см.: *Лильд Л.* Иван Тургенев на страницах «Аполлона» // *Тыняновский сборник. VIII.* Рига. (В печати).
- 26 См. об этом: *Лопман Ю. М.* Проза Тургенева и сюжетное пространство русского романа XIX столетия // *Slavica. XXIII.* Debrecen, 1986. С. 20.
- 27 См.: *Ковач А.* Искусство Тургенева: Синтез и многообразие жанровых структур // Там же.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В  
«ПРИГЛАШЕНИИ НА КАЗНЬ» В. В. НАБОКОВА  
(об одном из подтекстов романа)

А. ДАНИЛЕВСКИЙ

*Scripti et animam levavi*

Ныне общепризнано: игровой элемент — доминирующий в прозе Набокова, установка на игру с читательским восприятием — структурирующий фактор его поэтики.

Быть может наиболее репрезентативным в этом отношении является роман «Приглашение на казнь» (1934—35 гг.<sup>1</sup>), — его игровая прагматика становится очевидной уже при поверхностном ознакомлении с текстом произведения. С одной стороны, универсальность проблематики романа (провоцировавшая сопоставления с аналогичным универсализмом Ф. Кафки) сочетаются здесь с довольно четкой локализацией: обилие в набокковском тексте русских имен, характерной лексики и идиоматики, наконец, даже фраз типа «говорю вам русским языком и повторяю»<sup>2</sup>, вынуждает полагать, что место изображаемых событий — Россия. Этому, однако, явно противоречит слишком «нерусское» имя главного героя — Цинциннат Ц. (а равно и имя его матери — Цецилия Ц.<sup>3</sup>) — и, например, сомнительный в этом же отношении пейзаж: крепость, в которой содержится в заключении герой, расположена на скале, окруженной виноградниками (см.: 4; 23).

Сходным образом организовано и время романного действия. Девятнадцатый век характеризуется в тексте как «мифический» (см.: 4; 14), 1926-й год — как давнопрошедший (см.: 4; 75); сообщается, что городские утренние газеты «как всегда кишели» ц в е т н ы м и фото (см.: 4; 12) и упоминаются «наполовину заросшие очертания аэродрома и строение, где содержался почтенный, дряхлый <...> самолет», на котором в столь же «мифические» времена

городские «купцы летали в Китай» (4; 24). Все это как будто вынуждает отнести время действия «Приглашения на казнь» (далее — ПнК) как минимум к концу XIX столетия. Но одновременно в тексте сообщается, что передвижения по городу совершаются его обитателями в основном при посредстве архаичного гужевого транспорта — «старого шарабанчика» (4; 76), «старой, облупившейся коляски» (4; 124), либо сделанных «в виде лебедей или лодок» «электрических вагонеток» (4; 41, ср.: 13 и 127), тогда как нечто отдаленно напоминающее автомобиль — «заводные, двухместные "часики"» (4; 41), — крайне немногочисленны и располагают ими лишь одиночки — «франты» (4; 126).

Подобного же рода неоднозначностью, доходящей до абсурда противоречивостью отмечены также и весь предметный мир ПнК (вплоть до вскользь упомянутых здесь архитектурных объектов<sup>4</sup>), и сами его центральные события, — одновременно вполне возможные (укорененные в действительности и прежде всего — в России, — вспомним хотя бы «казнь» Достоевского и других петрашевцев на Семеновском плацу в Петербурге) — и, напротив, неральные, фантазмагорические (так, например, до сих пор авторитетные читатели рассуждают о том, совершилась ли казнь Цинцинната «на самом деле» — или в некоем отвлеченном умозрительном плане<sup>5</sup>).

Причиной тому — сознательная и принципиальная установка Набокова на противоречивость и многозначность текста (и, соответственно, на возможность его различных интерпретаций), гетерогенность эта входила в художественное намерение автора и имеет игровую природу. Она есть средство для расширения смысловой нагрузки текста и повышения его информативности. Итак: возможность такого рода повышения семантики текста имплицитно содержится в нем, заложена в него автором, но реализация этой возможности зависит от читателя: от уровня его интеллекта, объема его культурной (прежде всего — историко-филологической) памяти и, самое главное, от его, читателя, предрасположенности, готовности к игре, — интеллектуальной игре-соперничеству с автором (подобной игре в шахматы, столь любимой и чтимой Набоковым и столь соблазнительной для его персонажа-палача).

Очевидная противоречивость текста ПнК — лишь одна из множества «подсказок» Набокова читателю, с помощью

которой тот, при желании, мог бы актуализировать те или иные подтексты романа (выступающие здесь как система подразумеваемых потенциальных смыслов).

Именно за счет задействования широкого набора такого рода «подсказок»-сигналов, предусмотрительно инкорпорированных в текст автором, и достигается актуализация в ПнК «темы» жизнедеятельности русского революционера-демократа, мыслителя и литературного критика Н. Г. Чернышевского, темы его политического и идеологического противостояния существующему строю и его казни (г р а ж д а н с к о й казни) царским правительством, а равно и связанных с этими основными подтем — русского XIX века, Петербурга и мн. др.

Прежде всего это достигается за счет насыщения словесной ткани ПнК множеством текстуальных переключек с другим романом Набокова, — с «Даром» (1932—38 гг.<sup>6</sup>), точнее — с его скандально известной IV-й главой, являющей собою беллетризованную «биографию» Чернышевского, написанную от лица аполитичного эстета Годунова-Чердынцева.

Первое, что в этой связи обращает на себя внимание, — упоминание и «цитирование» в обоих романах вымышленного их автором философа-экзистенциалиста Делаланда<sup>7</sup>. «Цитаты» эти (в ПнК в качестве эпиграфа ко всему тексту, — см.: 4;5; в «Даре» — в размышлениях Чердынцева по поводу написанной им «биографии» и сразу вслед за нею, — см.: 3; 277) — откровенная набоковская «подсказка-указание» внимательному читателю, понуждающая его соотнести меж собой тексты, в которых эти цитаты содержатся. Не менее очевидна переключка в описании любимой зимней забавы юных Чернышевского и Цинцинната (см.: «Его <в саратовской семинарии> прозвали "дворянчик", хотя он и не чуждался общих потех. Летом играл в козны <... > Зимой же, в снежном сумраке, зычно распевая гекзаметры, мчалась под гору шайка горланов на громадных дровнях <... >» — 3; 192; ср.: «Он был легок и ловок, но с ним не любили играть. Зимой городские скаты гладко затягивались снегом <и это — в местности, где произрастает виноград! — А. Д.>, и как же славно было мчаться вниз на "стеклянных" сабуровских санках...» — 4; 13).

Казалось бы, эти переключки можно расценить как случайные, обусловленные параллельной работой Набоко-

ва над обоими романами<sup>8</sup>. Но дело в том, что Набоков сам указывает на сложную спроецированность Цинцинната Ц. на Чернышевского — реальное историческое лицо и героя IV-й главы «Дара». Указывает не прямо, а посредством тщательно закамуфлированных намеков-ребусов, рассчитанных лишь на внимательного и вдумчивого читателя, вдобавок склонного к разгадыванию головоломок. В этом плане особенно показателен пассаж, описывающий занятия юного Цинцинната в мастерской игрушек: «Работая <...>, он долго бился над затейливыми пустяками, занимался изготовлением мягких кукол для школьниц, — тут был и маленький волосатый Пушкин в бекеше, и похожий на крысу Гоголь в цветистом жилете, и старичок Толстой, толстоносенький, в зипуне, и множество других, например: застегнутый на все пуговицы Добролюбов в очках без стекол<sup>9</sup>. Искусственно пристрастясь к этому мифическому девятнадцатому веку, Цинциннат уже готов был совсем углубиться в туманы древности и в них найти подложный приют <...>» (4; 14). Как видим, XIX век представлен здесь как эпоха, неактуальная для восприятия текста. Но это — «ложная подсказка» (для отвода глаз невнимательного, не склонного к игре читателя), поскольку несколькими страницами ранее именно этот век, точнее — его середина, введен в качестве важнейшего коррелята изображаемых в ПнК событий, — описанием герба родного города Цинцинната, «а именно: доменная печь с крыльями» (4; 7), в котором без труда опознается Малый государственный герб Российской империи, введенный Александром II 11 апреля 1857 г. (алый щит со св. Георгием Победоносцем на груди широко распростершего крылья черного двуглавого орла). Далее важны фамилии упомянутых в вышеприведенном отрывке классиков и порядок их ввода. В 1922 г. А. М. Ремизов включил в «Кукху» (которую, кстати, Набоков наверняка читал) такое свое наблюдение: «За все мои литературные годы <...> из встреч и разговоров я заметил сочлененность именную — парность имен: когда одно произносишь, другое уж на языке, как водород и кислород, как Анаксимен и Анаксимандр —

Горький — Леонид Андреев

<...> Бунин — Куприн <...>»<sup>10</sup>.

Упоминание в перечне Цинциннатовых игрушек рядом Пушкина и Гоголя конечно же выдержано в духе этой

«сочлененности». Тем самым как бы задается инерция, по которой читатель сам начинает подыскивать «сочленяемые» пары двум другим фамилиям — Толстого и Добролюбова. В этой связи приведем такое утверждение Р. В. Иванова-Разумника (повторяющее, в свою очередь, утверждение Н. К. Михайловского): «<...> существуют писатели, которые по тем или иным причинам являются в нашем представлении ассоциированными и тесно связанными попарно. <...> одной из наиболее неразрывных пар считаются Л. Толстой и Достоевский <...>»<sup>11</sup>. Упоминание Толстого, таким образом, призвано привести на ум читателю ПНК имя Достоевского, а через него — и имя Чернышевского (как человека схожей судьбы — то же революционера и жертвы сходной по замыслу к а з н и <sup>12</sup>); о Добролюбове же и о Чернышевском сам Набоков устами Годунова-Чердынцева заявляет: «Дружба соединила этих двух людей вензельной связью, которую сто веков неспособны распутать (напротив: она лишь укрепляется в сознании потомков)» (3; 232)<sup>13</sup>. Как видим, *nomina sunt odiosa*, но подсказаны (*sapienti sat*) и, тем самым, актуализированы в сознании читателя ПНК.

Но уже само название произведения — «Приглашение на казнь» — есть достаточно откровенное указание и емкая характеристика того, что реально произошло с Чернышевским, которого царские власти, страшившиеся его публичного инакомыслия, но не имевшие достаточных юридических оснований для суда, упрятали в Петропавловскую крепость<sup>14</sup>, где (по заключению Годунова-Чердынцева, — см.: 3; 242–246) создали ему все условия для того, чтобы сам Чернышевский, своими же руками, изготовил «компромат» на себя, что он и сделал, написав «Что делать?»

Как помним по IV-й же главе «Дара», важная роль при этом отводилась властями заблаговременно (на 4 дня раньше Чернышевского) посаженному сюда же, в Петропавловку, Д. И. Писареву: этот, по определению Чердынцева, «опасный сосед» (3; 246) предназначен был декамуфлировать в своих критических статьях «тлетворный» (3; 249) характер писаний Чернышевского в крепости, что, опять-таки, и произошло: «8-го октября он <Писарев> послал из крепости для "Русского Слова" статью "Мысли о русских романах", причем Сенат уведомил генерал-губернатора, что это не что иное, как разбор романа Чер-

нышевского, с похвалами сему сочинению и подробным развитием материалистических идей, в нем заключающихся» (3; 248)<sup>15</sup>. В ПнК сюжетная линия «Цинциннат — м-сье Пьер» (он же — Петр Петрович) очевидно спроецирована на сюжетную линию «Чернышевский — Писарев» в «романе» Чердынцева. В этой связи напомним, что палач оказывается «опасным соседом» своего подопечного в будущем действе казни<sup>16</sup> на четвертый день после вынесения тому смертного приговора<sup>17</sup> (см.: 4; 5—31); насмешки Годунова-Чердынцева над «каким-то извращенным эстетизмом» (3; 249) Писарева, над его пошлым «эпикурейством» и болезненным эротизмом (см. там же) находят свое соответствие в изображенной в фарсовом ключе «лекции» м-сье Пьера «о наслаждениях жизни» (4; 87), прочитанной им Цинциннату в присутствии директора тюрьмы (см.: 4; 86—89, см. также 82—83). Наконец, даже феска, в которой, по свидетельству Чердынцева, Писарев сидел в крепости (см. 3; 244), отзывается в ПнК «парчовой тубетейкой» (4; 86) и халатом «в ярких разводах» (4; 92), носимых палачом в камере<sup>18</sup>.

Вернемся к изображению казни в ПнК: она подготовлена и как бы даже осуществлена (см.: 129—130), но существование Цинцинната на этом не обрывается, — даже напротив... Здесь очевидна аналогия описанию Чердынцевым гражданской казни Чернышевского, по ходу которого этот насмешливый «биограф» восклицает: «Между тем Чернышевского поспешно высвободили из цепей и мертвое тело повезли прочь. Нет, — описка: увы, он был жив, он был даже весел!» (3; 251)<sup>19</sup>. Можно указать и на ряд имеющихся здесь же других переключек, с той, однако, существенной оговоркой, что все, имеющее в «Даре» отношение к Чернышевскому, в ПнК переадресовано не Цинциннату, а м-сье Пьеру. Так, изображая казнь 19 мая 1864 г. на Мытнинской площади Петербурга, «часов в 8 утра» (3; 250), Чердынцев пишет: «<...> показалась казенная карета. Из нее вышли необычайно быстро <...> Чернышевский в пальто и два мужиковатых палача; все трое скорым шагом прошли по линии солдат к помосту. <...> Шел дождь <...> Вдруг из толпы чистой публики полетели букеты. Жандармы, прыгая, пытались перехватить их на лету. <...> мгновениями можно было наблюдать редкую комбинацию: городской в венке. Стриженные дамы в черных бурнусах метали сирень. Между тем Чернышевского поспешно высвободили из цепей и

<...> повезли прочь. <...> Студенты бежали подде кареты, с криками: "Прощай, Чернышевский! <...>" Он высовывался из окна, смеялся, грозил пальцем наиболее рьяным бегунам» (3; 250). А вот что происходит в преддверии казни Цинцинната, рано утром (см.: 4; 123), когда палач везет его в «старой, облупившейся коляске» (4; 124) на Интересную площадь: «Несколько девушек, без шляп, спеша и визжа, скупали все цветы у <...> цветочницы <...>, и наиболее шустрая успела бросить букет в экипаж, едва не сбив картуза с головы Романа. М-сье Пьер погрозил пальчиком» (4; 125)<sup>20</sup>.

Вспомним, наконец, и обвинение, приведшее педагога, учителя дефективных детей Цинцинната на плаху: «Обвиненный в страшнейшем из преступлений, в гносеологической гнусности, столь редкой и неудобосказуемой, что приходится пользоваться обиняками вроде: непроницаемость, непрозрачность, препона; приговоренный за оное преступление к смертной казни <...>» (4; 40). Не откровенная ли это проекция на случай Чернышевского, бывшего педагога (в Саратове, в училище будущих офицеров в Петербурге) и Учителя молодого поколения России, «властителя дум» (3; 193), изолированного (подобно Сократу<sup>21</sup>) властями от общества, — в надежде уберечь это общество от его проповеди м а т е р а л и з м а ?<sup>22</sup>

Обратимся теперь к истории взаимоотношений супружеской четы Чернышевских и сопоставим ее с взаимоотношениями Цинцинната и Марфиньки<sup>23</sup>. Цинциннат знал о многочисленных супружеских изменах Марфиньки, неоднократно даже становился их свидетелем (см.: напр.: 4; 35 и 81), поскольку она и не думала их скрывать, а, напротив, даже бравировала ими (см., напр.: 4; 17, 35, 115), — и страдал из-за этого. А вот комментарий Чердынцева к признанию Ольги Сократовны: «<...> изменяла мужу <...>: "Канашечка-то знал... Мы с Иваном Федоровичем <Савицким, польским эмигрантом> в алькове, а он пишет себе у окна". Канашечку очень жаль, — и очень мучительны, верно, были ему молодые люди, окружавшие жену и находившиеся с ней в разных стадиях любовной близости, от аза до ижицы» (3; 211). Добавим также, что Марфинька, как и Ольга Сократовна (см.: 3; 211, 263 и 470), истеричка (см., напр.: 4; 35).

Главное занятие Цинцинната в тюрьме, в преддверии казни — сочинение либо писание писем жене. О пись-

мах же Чернышевского к жене, писавшихся им все время его пребывания в Петропавловке, Чердынцев специально упоминает как о лучшем из того, что составляет рукописное наследие мыслителя («желтый алмаз среди праха многочисленных трудов» — 3; 244).

Вспомним далее ожидание Цинциннатом тюремного свидания с женой: его ему долго не разрешают (см.: 4; 19, 22, 32, 38—39 и др.), Цинциннат от расстройства даже перестает есть (см.: 4; 7—8, 64 и др.), когда же свидание все-таки дозволяют, оно происходит в присутствии тюремной администрации, палача, родственников Марфиньки и даже ее очередного любовника (см.: 4; 55—61). С другой стороны, известно — и Чердынцев тоже об этом сообщает, — что Чернышевскому долго не позволяли повидаться в крепости с женой, в знак протеста против чего он объявил голодовку; в итоге свидание состоялось, но в присутствии тюремного персонала (см.: 3; 246—247). В этой же связи следует упомянуть и «отчет» Годунова-Чердынцева о поездке Ольги Сократовны на свидание с мужем в Сибирь: «Доктора Павлинова <сопровождавшего Чернышевскую> не пустили дальше <Иркутска>: вместо него поехал жандармский ротмистр Хмелевский <...>, пылкий, пьяный и наглый. <...> Но свидание не удалось: удивительно, как все то горькое и героическое, что жизнь изготавляла для Чернышевского, непременно сопровождалось привкусом гнусного фарса. Хмелевский, вясь, не отступал от Ольги Сократовны, в цыганских глазах которой скользило что-то загнанное, но и манящее, — вопреки ее воле, быть может. За ее благосклонность он даже будто бы предложил устроить побег мужу, но тот решительно отказался. Словом, от постоянного присутствия бесстыдника было так тяжело (а какие мы строили планы!), что Чернышевский сам уговаривал жену пуститься в обратный путь, и <...> она это и сделала, пробив <...>, после трехмесячного странствия, всего четыре дня — ч е т ы р е д н я, читатель! — у мужа, которого теперь покидала на семнадцать с лишним лет» (3; 254—255). Параллель этой — не совсем соответствующей реальности — версии Чердынцева усматривается во втором и последнем визите Марфиньки в крепость. Для того, чтобы повидаться с обреченным мужем, Марфиньке пришлось «одарить» своей «благосклонностью» вначале директора тюрьмы, а затем, уже в ходе свидания, еще и палача (который утверждал при знакомстве с Цинциннатом, что в

тюрьму он попал из-за своей попытки помочь тому бежать из крепости, — см.: 4; 62, а затем, вкупе с директором разыграл фарс «освобождения» Цинцинната посредством подкопа, — см.: 4; 90—992 и след.); свидание здесь, как помним, тоже «не удалось»: Цинциннат сам настоял на удалении Марфиньки задолго до истечения отпущенного им времени, — в этом случае — навеки (см.: 4; 116—117).

Двое детей Цинцинната, которые «не от него» «и снова не от него» (4; 17), — дефективные дети, уроды. В параллель к этому можно вспомнить сомнения и страдания Чернышевского по поводу появления на свет его второго сына, Виктора (разумеется, в подаче Годунова-Чердынцева, — см.: 3; 210—211), а также историю жизни его первого сына Александра, душевнобольного (см.: 3; 264—267).

Завуалированное отражение получила в ПНК и деятельность Чернышевского как прозаика и поэта. Со скептическим отношением Годунова-Чердынцева к литературно-критическим работам своего героя и с насмешками по поводу его прозаических («бездарный беллетрист» — 3; 248) и поэтических опусов, не отвечавших (опять-таки, по мнению Чердынцева) даже его собственным эстетическим критериям, перекликается в ПНК, например, следующее сожаление Цинцинната: «Не умея писать, но преступным чутьем догадываясь о том, как складываются слова, как должно поступить, чтобы слово обыкновенное оживало, чтобы оно заимствовало у своего соседа его блеск, жар, тень, само отражаясь в нем и его тоже обновляя этим отражением, так что вся строка — живой перелив; догадываясь о таком соседстве слов, я, однако, добиться его не могу, а это-то мне необходимо для несегодняшней и нетутошней моей задачи» (4; 52—53).

В крепости Цинциннат читает титанический по объему «современный роман, который <...> на свободе прочитать не удосужился <...> Идея романа считалась вершиной современного мышления. Пользуясь постепенным развитием дерева <...>, автор чередой разворачивал все те исторические события, <...> коих дуб мог быть свидетелем. <...> Был в полторы страницы параграф, в котором все слова начинались на “п”.

Автор, казалось, сидит <...> в вышних ветвях Quercus'a — высматривая и ловя добычу. Приходили и уходили различные образы жизни <...> Естественные

же промежутки бездействия заполнялись учеными описаниями самого дуба, с точки зрения дендрологии, орнитологии, колеоптерологии, мифологии, — или описаниями популярными, с участием народного юмора. Приводился <...> подробный список всех вензелей на коре с их толкованием. Наконец немало внимания уделялось музыке вод, палитре зорь и поведению погоды.

<...> Это произведение было бесспорно лучшее, что создало его время <...>» (4; 69–70). Столь причудливым образом Набоков явно намекает на увлечение Чернышевского историей (в крепости тот «окончил к зиме перевод Шлоссера, принялся за Гервинуса, за Маколея» — 3; 244; позднее переводил «том за томом "Всеобщей истории Георга Вебера"» — 3; 263), а равно и на его энциклопедистские и популяризаторские устремления<sup>24</sup>.

Думается, что сказанного достаточно для вывода о спроецированности Цинцинната Ц. на Н. Г. Чернышевского, а города, в котором он жил и в крепость которого его заключили, — с Петербургом<sup>25</sup> и Петропавловской крепостью<sup>26</sup>, — спроецированности и определенного отождествления с ними. Но в задачу Набокова, очевидно, входили одновременно и тождественность и НЕтождественность — Цинцинната и Чернышевского, родного города первого — и Петербурга, крепости в ПнК — и Петропавловки. Набоков, как уже не раз было сказано, приглашает своего читателя к игре, — в том числе и к игре определенностью/неопределенностью, сходством/различием. Образ Цинцинната наделен многими чертами Чернышевского, но в то же время этот образ гораздо шире, объемнее конкретной исторической личности и ее жизненной судьбы. В ПнК мы имеем дело с принципиальной открытостью центрального образа.

Точно так же мы можем с известной долей условности говорить о тождестве упоминающихся в ПнК улицы Садовой (см.: 4;10, 125 и др.) — с реальной петербургской Садовой, Тамариных Садов (см.: 4;10, 15, 24, 108 и др.) — с комплексом Марсова поля и Летнего сада<sup>27</sup>, дома «с белесыми колоннами, фризами на фронтоне» — с Михайловским дворцом, не забывая, однако, что это одновременно и они самые, и НЕ они. В ПнК и в IV-й главе «Дара» Набоков представил две пародии на жизнь и деятельность Н. Г. Чернышевского: в «Даре» — пародию сниженную, пародию-карикатуру (при этом полемично-

заостренную по отношению к эстетике пародируемого лица, изложенной в его «Эстетических отношениях искусства к действительности»), в ПНК — пародию высокую, — более трагичную, нежели то было в действительности, версию жизни Чернышевского (хотя не обошлось без иронии и тут: в ПНК великий революционер-демократ как бы помещен в условия того социально-политического и государственного устройства, о котором он в свое время мечтал и к которому звал своих современников<sup>28</sup>, — иными словами Цинциннат Ц. — это Чернышевский в условиях тоталитарного общества<sup>29</sup>). Это не означает, что, по Набокову, «подлинный Чернышевский» есть «среднее арифметическое» двух версий его жизнеописания, хотя и это вероятно. Жизнедеятельность Чернышевского для Набокова — интересный и эстетически «выгодный» материал для художественного осмысления и преломления, материал для создания истории жизни и страданий человека вообще, человека как такового, вне зависимости от времени и места.

1981—1990—1993—1995 гг.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 О времени и обстоятельствах создания романа см.: *Носик Б.* Мир и Дар Набокова: Первая русская биография писателя. М., <1995> С. 309—313 и след.
- 2 *Набоков В.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 4. С. 8 (далее все цитаты из произведений Набокова и ссылки на них даются по этому изданию с указанием тома и страницы в основном тексте в скобках).
- 3 Еще более показательны в этом отношении имена директора тюрьмы и палача, фигурирующих то как Родриг Иванович (он же — Родион) и м-сье Пьер, то как Родриго (см.: 4; 89) и Петр Петрович (см.: 4; 97).
- 4 Подразумевается описание (в сцене визита палача и Цинцинната к «отцам города» накануне казни) «театрально освещенного подъезда» «с белесыми колоннами, фризами на фронтоне» (4; 105), в котором соположение последних элементов — очевидный архитектурный нонсенс.
- 5 См., напр.: «"Приглашение на казнь" Набокова, в котором внешняя реальность настолько призрачна, что когда Цинцинната <sic!> казнят, то я не совсем уверен, что его казнят, это какая-то иллюзия казни, это какое-то монофизитское представление об иллюзорных страданиях, которых на самом деле

- нет и которые проходят как дурной сон» (*Померанц Г. Открытость бездне: Встречи с Достоевским. М., 1990. С. 109*). Ср. с высказанным в феврале 1937 г. мнением В. Ф. Ходасевича: «Цинциннат не казнен и не не-казнен, потому что на протяжении всей повести мы видим его в воображаемом мире, где никакие реальные события невозможны» (Цит. по: *Ходасевич В. Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк, 1954. С. 250*).
- 6 В этой связи см.: *Носик Б. Указ. соч. С. 303–356 и след.*
- 7 См. об этом примечания О. Дарка к текстам ПнК и «Дара»: 4; 463 и 3; 479.
- 8 В этой связи см. след. свидетельство биографа Набокова: «Писать "Дар" он начал со вставной книги. С книги о Чернышевском, которую пишет его герой. Так казалось легче начать»; «В разгар работы над биографией Чернышевского Набоков наткнулся на идею <...> В. А. Жуковского, желавшего упорядочить смертную казнь, которую Василий Андреевич рекомендовал совершать под звуки сладостной <...> музыки и желательно за закрытой дверью <...> Набоков (как и Чернышевский до него) пришел в ярость, прочитав эти рекомендации. Подобно отцу, Набоков был противником смертной казни. От этих вот рассуждений о смертной казни мысль его, вероятно, и потекла к Цинциннату Ц., к новому роману...»; «Первый его <"Приглашения на казнь"> вариант был написан за две недели упоенного труда — с конца июня до середины июля <1934 г.>. Позднее началась доработка, в ходе которой Набоков отвлекался иногда, обращаясь к своему исследованию о Чернышевском <...>» (*Носик Б. Указ. соч. С. 304; 313; 310*).
- 9 В данной связи укажем на переключку одних и тех же деталей в изображении Добролюбова в ПнК и в IV-й главе «Дара» как на еще одно звено, объединяющее два этих текста, — ср.: «<...> и вот он подходит, в наглухо застегнутом форменном сюртуке с синим воротом, разящий честностью, нескладный, с маленькими близорукими глазами <выделено нами. — А. Д.> и жидковатыми бакенбардами <...> и представляется <...>: Добролюбов» (3; 232).
- 10 *Ремизов А. Кукха: Розановы письма. <Берлин>, 1923. С. 56.*
- 11 *Иванов-Разумник Р. А. И. Герцен и Н. К. Михайловский. Сравнительная характеристика их мировоззрений // Вопросы жизни. СПб., 1905. № 8. С. 148–149.*
- 12 Эту переключку судеб Достоевского и Чернышевского отмечают все биографы последнего, на которых «ссылается» в своем «романе» Годунов-Чердынцев, но сам он ее игнорирует, — подобного рода умолчание весьма знаменательно.

- 13 К сказанному остается добавить, что все перечисленные в ПНК писатели — Пушкин, Гоголь, Толстой и (критик и поэт) Добролюбов — суть объекты осмысления в наиболее известных литературно-критических выступлениях Чернышевского и самой своей «обоймой» опять-таки должны (по мысли Набокова) «выводить» читателя на него. Правда, возражение против такого заключения может вызвать отсутствие в перечне имени Тургенева, чьи произведения вызвали к жизни самую известную критическую работу Чернышевского — «Русский человек на гendez-vous». Ответ на это возражение приготовил сам Набоков, устами Годунова-Чердынцева указавший на наличие «двойничества» и «какой-то мистической связи между Чернышевским и Тургеневым» (3; 224). Т.е. вновь *popina sunt odiosa*, т.к. включение в перечень имени Тургенева значительно облегчало бы читателю ПНК разгадку ребуса, а это для Набокова нежелательно.
- 14 В этой связи см. вывод Чердынцева: «Дело, затеянное против Чернышевского, было призраком; но это был призрак действительной вины <...>» (3; 42, ср. в др. месте: «Так в лице Чернышевского был осужден его — очень похожий — призрак; вымышленную вину чудно подгримировали под настоящую» — 3; 250). Думается, что переключка этого модуса «призрачности» с призрачным, фантазмагорическим характером всего происходящего в ПНК очевидна.
- 15 Ср. в др. местах: «У нас есть три точки: Ч, К, П. Проводится один катет, ЧК. К Чернышевскому власти подобрали <...> <провокаатора> Владислава <...> Костомарова <...> Проводится другой катет, КП. Писарев в «Русском Слове» пишет <...> Николай Гаврилович сидел в Алексеевском равелине, в близком соседстве с <...> Писаревым, заключенным туда за четыре дня до того: проводится гипотенуза, ЧП, и роковой треугольник утвержден» (3; 242—243); «<...> он начал писать «Что делать?», — и уже 15 января послал первую порцию <...> для «Современника», который с февраля был опять разрешен. Тогда же разрешено было и «Русское Слово», после такого же восьмимесячного запрета; и, нетерпеливо ожидая журнальной поживы, опасный сосед уже обмакнул перо» (3; 245—246); «Правительство, — говорит Страннолюбский <биограф, выдуманный Годуновым-Чердынцевым. — А. Д.> с одной стороны позволяя Чернышевскому производить в крепости роман, а с другой — позволяя Писареву, его союзнику, производить об этом же романе статьи, действовало вполне сознательно, с любопытством выжидая, чтобы Чернышевский весь выболтался, и наблюдая, что из этого получится — в связи с обильными выделениями его соседа по инкубатору» (3; 249).
- 16 В этой связи весьма знаменательным представляется нагнетание слова «сосед» в обращении палача к Цинциннату —

«мой милый сосед» (3; 49), «милый сосед» (3; 91); см. также досаду уже Цинцинната на «доброхотство соседа» (3; 118).

- 17 С убийственной — «палаческой» — ролью Писарева и его тюремных писаний в судьбе Чернышевского очевидно сочетаются слова м-сье Пьера в сцене «официального» знакомства двух участников предстоящей казни: «Будем продолжать, — сказал м-сье Пьер. — За это время мне удалось близко сойтись с соседом. <...> Мы полюбили друг друга, и строение души Цинцинната так же известно мне, как строение его шеи. Таким образом, не чужой, страшный дядя, а ласковый друг поможет ему взойти на красные ступени, и без боязни предастся он мне, — навсегда, на всю смерть. Да будет исполнена воля публики <выделено нами. — А. Д.>!» (4; 101).

Здесь же следует упомянуть и о мотиве «двойничества», эксплицитированном в сюжетной линии «Цинциннат — м-сье Пьер» (взять хотя бы тот факт, что им обоим по 30 лет, — см.: 4; 46, или случай, когда палач «заместил» Цинцинната, выполнив за него его супружеские обязанности по отношению к Марфиньке, — см.: 4; 114–115) и отражающем аналогичность деятельности Чернышевского и Писарева (литературная критика, революционный демократизм) и отношения преемственности между ними (это последнее, кстати, подчеркнуто актуализировано Чердынцевым: «<...> бедняга Белинский (предшественник) <...> — <...> полупомешанный Писарев (преемник) <...>» — 3; 194).

- 18 Показательно, что на Цинциннате, в свою очередь, — «распахивающийся черный халатик, слишком большие туфли <...>, философская <выделено нами. — А. Д.> ермолка на макушке», тогда как «псевдофилософ» (по Чердынцеву) Чернышевский изображен во время его пребывания в тюремной камере «в байковом халате, в картузе» (3; 244).
- 19 См. также далее: «"Увы, жив", — воскликнули мы, ибо как не предпочесть казнь смертную <...> тем похоронам, которые спустя двадцать пять бессмысленных лет выпали на долю Чернышевского. Лапа забвения стала медленно забирать его живой образ, как только он был увезен в Сибирь» (3; 252).
- 20 Еще переключка: в описании казни у Годунова-Чердынцева мельком упомянуты «два мужиковатых палача», — ср. в ПнК: «<...> вошел <в камеру Цинцинната> розовый м-сье Пьер <...> и за ним еще двое, в которых почти невозможно было узнать директора и адвоката: осунувшиеся, <...> одетые оба в серые рубахи, обутые в опорки <...> <М-сье Пьер>: Вот это мои помощники, Родя и Рома, прошу любить и жаловать. Молодцы с виду плюгавые, но зато усердные» (4; 120); ср. также изображение преддверия казни (акцентировка на

стремительности движения к плахе, аналогичная чердынцевской): «Родион и Роман соскочили с козел <экипажа>; все трое затеснили Цинцинната.

<...> До эшафота было шагов двадцать, и, чтобы никто его не коснулся, Цинциннат принужден был побежать» (4; 127).

- 21 Кстати, имя Сократа обыгрывается в ПНК: в выступлении перед казнью заместителя управляющего городом, извещающего зрителей о том, «что сегодня вечером идет с громадным успехом злободневности опера-фарс "Сократись, Сократик"» (4; 128), как обыгрывается оно и в IV-й главе «Дара» в связи с упоминанием тестя Чернышевского, саратовского врача Сократа Васильева: «Усугубилась его манера логических рассуждений — «в духе тезки его тестя», как вычурно выражается Страннолюбский» (3; 255). В этой же связи отметим, что и изображение тестя Цинцинната в ПНК определенно ориентировано на скульптуру М. М. Антокольского «Смерть Сократа» (в том числе — и на позу, в которой представлен у него античный философ), — см.: «Старый отец Марфиньки, — огромная лысая голова, мешки под глазами <...> Тесть <...> сел в <...> кресло, поставил с усилием толстую <...> ногу на скамеечку и, злобно качая головой, из под тяжелых век уставился на Цинцинната, которого охватило знакомое мутное чувство при виде <...> морщин около его рта, выражающих как бы вечное отвращение, и багрового пятна на жилистом виске, со вздутием вроде крупной изюмины на самой жиле» (4; 55–56).

- 22 Полагаем, что все, сказанное о гетерогенной природе ПНК и о сложной спроецированности его главного героя на Н. Г. Чернышевского, позволяет корректировать общепринятую среди набоковедов точку зрения, согласно которой образ Цинцинната Ц. восходит к древнеримскому патрицию Цинциннату Кезону Квинкцию (см., напр., примеч. О. Дарка к ПНК: 4; 463). Генетическая связь набоковского героя с этим последним несомненна, но столь же (если не более) несомненна и его связь с Цинциннатом Луцием Квинкцием (отцом предыдущего), древнеримским (V в. до н.э.) политическим деятелем, считавшимся (согласно Ливию и др.) современниками образцом республиканских добродетелей, скромности, доблести и верности гражданскому долгу.

Продолжая же аргументацию в пользу версии «Цинциннат Ц. — проекция на Чернышевского» и памятуя при этом о склонности Набокова к словесной и звуковой игре, напомним, что буква "Ц", начинающая имя и фамилию героя, непосредственно соседствует в русском алфавите с "Ч", в латинском же ("C") — зачастую функционально ее замещает.

- 23 Само ее имя, равно как и внешний вид и многие черты ее характера очевидно позаимствованы Набоковым у образа Марфиньки из гончаровского «Обрыва».
- 24 В этой связи см., напр., след. иронический пассаж из IV-главы «Дара»: «Истинный энциклопедист, своего рода Вольтер, с ударением, правда, на первом слоге, он написал, не скупясь, тьму страниц <...>, перевел целую библиотеку, использовал все жанры вплоть до стихов и до конца жизни мечтал составить «критический словарь идей и фактов» <...> Об этом-то он пишет жене из крепости, со страстью, <...> с ожесточением рассказывая о тех титанических трудах, которые он еще совершит. Далее, все двадцать лет сибирского одиночества, он лечился этой мечтой; но, познакомившись за год до смерти со словарем Брокгауза <ср. с "параграфом", «в котором все слова начинались на "п"». — А. Д.>, увидел в нем ее воплощение. Тогда он возжаждал Брокгауза перевести <...>, почитая такой труд венцом всей своей жизни; оказалось, что и это уже предпринято» (3; 210).
- 25 В этом отношении особенно примечательно уже упомянутое (см. прим. 4) «стильное», но несовершенное с архитектурной точки зрения описание «театрально освещенного подъезда» «с белесыми колоннами, фризами на фронтоне» (4; 105). «Несовершенство» это обусловлено стремлением Набокова перечислить в короткой фразе возможно большее количество наиболее характерных признаков архитектурного облика Петербурга; одновременно это описание служит отсылкой к «петербургскому тексту русской литературы» в одном из эмигрантских его «изводов», — ср.: «Город Растрелли, Томона и Воронихина, город светлых колонн и холодных фронтонов <...>» (Темиряев Б. <Анненков Ю.> Домик на 5-ой Рождественской // Современные записки. Париж, 1928. N 37. С. 196).
- 26 В описании места Цинциннатова заключения постоянно акцентируется момент тождества, одноприродности крепости и скалы, лежащей в ее основании (см., напр.: «<...> крепость громадно высилась на громадной скале, коей она казалась чудовищным порождением» — 4; 23, ср. 5). Тем самым подключается ассоциативный ряд, актуальный для «петербургского периода русской истории» и «петербургского текста русской литературы»: скала — камень — апостол Петр («На сем камне...») — Петр Великий — город св. Петра — Петроград — Петропавловская крепость — Вороний камень в основании памятника Петру I (Медный всадник) и т.д.
- 27 Отождествление их с Тамариными Садами достигается посредством включения еще одного ряда культурно-исторических ассоциаций: Тамарины Сады — (грузинская) царица Тамара — (российская) царица Екатерина II — Царицын лут (будущее Марсово поле) — Летний сад и т.д.

В этой связи укажем также на разительное соответствие маршрута воображаемого путешествия Цинцинната из крепости к себе домой (см.: «Оставив за собой <...> громаду крепости, он заскользил вниз по крутому, росистому дерну, <...> пересек дважды, трижды извивы главной дороги, которая, <...> стряхнув последнюю тень крепости, полилась прямее, вольнее, — и по узорному мосту через высохшую речку Цинциннат вошел в город. Поднявшись на изволок и повернув налево по Садовой, он пронесся вдоль седых цветущих кустов. <...> Изредка наплыв благоухания говорил о близости Тамариных Садов» и т.д. — 4; 9–10) реальному соотношению пешеходно-транспортных артерий в историческом центре Петербурга: северо-западные ворота Петропавловки — Кронверк — Стрелка Васильевского острова — Дворцовый мост через Неву — вверх по Невскому проспекту — поворот с него налево на Садовую улицу — движение по ней мимо парков Михайловского дворца и Инженерного замка — Марсово поле и Летний сад...

- 28 Выражаясь фигурально, после осмеяния в IV-й главе «Дара» Чернышевский, «перейдя» в ПнК, оказывается в ситуации и условиях реализованной утопии «Четвертого сна Веры Павловны».
- 29 Проницательные высказывания на этот счет см. в кн.: *Варшавский В. Незамеченное поколение.* <М., 1992>. С. 217–222 (репринт нью-йоркского изд. 1956 г.).

«О Т. П. МИЛЮТИНОЙ,  
ЕЕ ВОСПОМИНАНИЯХ...»

Тамара Павловна Милютина — «интересный мемуарист со своей темой и со своим голосом. Темы продиктованы биографией, историей; решение их, голос, интонация автора — типом духовности», — так писала в 1990 г. З. Г. Минц, предваряя публикацию главы из воспоминаний Т. П. Милютиной «Люди моей жизни. Сыновьям» в 10-м «Блоковском сборнике».

За прошедшие годы мемуары Т. П. Милютиной, начатые в 1960-х гг. по настоянию З. Г. Минц, значительно выросли в объеме и постоянно продолжают пополняться. Отрывки из них активно публиковались. Перечислим наиболее значительные публикации:

Автобиография // Вестник РХД. 1988. N 152. С. 182—192.  
Юрий Галь (Из воспоминаний. *Люди моей жизни. Сыновьям*) // Уч. зап. Тартуского ун-та. Вып. 917: Блоковский сборник, XI. Тарту, 1990. С. 123—146. (Предисловие: *Минц З. Г. О Т. П. Милютиной, ее воспоминаниях и о поэте Юрии Гале* // Там же. С. 107—122).

И. А. Лаговский // Вестник РХД. 1990. N 159. С. 263—270.  
Второе странствие // Таллинн. 1990. N 1. С. 116—123.

Три года в русском Париже // Уч. зап. Тартуского ун-та. Вып. 881: Блоковский сборник, X. Тарту, 1991. С. 141—167;  
Вестник РХД. 1991. N 162—163. С. 269—305.

Год 1940-й // Таллинн. 1991. N 6. С. 134—141.

Протоиерей Николай Бежаницкий // Вестник РХД. 1993. N 168. С. 141—143.

Одна из пятидесят восьмых // Вышгород. 1994. N 1. С. 66—96; 1995. N 4. С. 23—108.

Толчком для создания публикуемой ныне части воспоминаний явилась встреча Т. П. Милютиной с сотрудниками кафедры русской литературы Тартуского университета

в мае 1994 г. Мы просили рассказать о Тарту 1920-30-х годов, о жизни и судьбах русской интеллигенции в Эстонии, поскольку жизнь Т. П. Милютиной и ее семьи — это яркая и замечательная страница из истории русской диаспоры.

Тамара Павловна Милютина, урожденная Бежаницкая, родилась 1 июля (н. ст.) 1911 г. в Юрьеве (Тарту). Ее дед протоиерей Николай Бежаницкий — настоятель Тартуской Георгиевской церкви, — в свое время спасший от смерти группу участников революционных событий 1905 года, был расстрелян большевиками 14.I.1919 г. Мать — Клавдия Николаевна Бежаницкая (1889—1979) — студентка медицинского факультета Тартуского университета, в 1923 г. стала первым в Тарту врачом-фтизиатром, основательницей и заведующей пункта по борьбе с туберкулезом, а в 1928 г. — туберкулезной лечебницы. Одновременно с 1922 по 1940 г. К. Н. Бежаницкая была врачом Больничной кассы и пользовалась в городе безграничным уважением, доверием и любовью всех слоев населения, независимо от национальной принадлежности, за свою открытость, доброту и бескорыстие, готовность оказать не только врачебную, но любую помощь при самых опасных и неблагоприятных обстоятельствах. При всех режимах она открыто помогала арестованным и при советской власти не избежала ссылки в Сибирь.

Тамара Павловна еще гимназисткой стала участницей первого в Тарту кружка РСХД, и вся ее жизнь оказалась связана с Движением. Была она членом и Общества Русских студентов при Тартуском университете, одного из центров русской культурной жизни в Эстонии. Первый муж Тамары Павловны — Иван Аркадьевич Лаговский (1889—1941) — был преподавателем Богословского института в Париже, одним из секретарей РСХД, редактором «Вестника РСХД», поэтому первые годы замужества Т. П. прошли в Париже, в кругу известных религиозных философов и деятелей Движения.

В 1940 г. жизнь Т. П. круто изменилась, был арестован и потом расстрелян И. А. Лаговский (см.: Дело РСХД в Эстонии // Вестник РХД. 1995. N 171), в июле 1941 г. арестована она сама. Начались долгие «странствия» по тюрьмам, лагерям, ссылкам, окончившиеся лишь в 1957 г., когда она вернулась в Эстонию со вторым мужем Иваном Корнильевичем Милютиным (1906—1973) и двумя родившимися в Сибири сыновьями.

Прожив более 30 лет в Таллинне, Т. П. вновь переселилась в Тарту в 1989 г. И сразу вокруг нее стали собираться люди всех возрастов и самых разнообразных занятий: кто вспомнить былое, кто расспросить и послушать воспоминания, кто взять почитать книгу, кто прочесть свои стихи или рассказы. Дом гостеприимен и всегда открыт для новых знакомств, любое культурное начинание или просто доброе дело находят в нем живой отклик. Тамаре Павловне присущи удивительная сосредоточенность на жизни духа и способность распространять духовную энергию на окружающих. Это черты личности, но и черты круга, черты поколения. Публикуемые воспоминания возвращают нас к истокам такой душевной организации и началу такого внутреннего жизнеустройства.

Воспоминания «1920-е годы в Эстонии — моими глазами» начинаются с того момента, когда десятилетняя Тамара Бежаницкая с бабушкой Марией Ивановной (урожд. Казариновой) возвращаются домой в Эстонию из Крыма, где оказались в 1916 г.: в 1916-20 гг. К. Н. Бежаницкая была врачом Красного Креста на Кавказском фронте (то на Кавказе, то в Крыму). До марта 1922 г. Клавдия Николаевна не смогла покинуть Крыма и была вынуждена работать врачом в совхозе и домах отдыха близ Евпатории, пока наконец ей тоже удалось оптироваться в Эстонию, куда она в конце 1921 г. отправила свою мать и дочь.

«1920-е годы в Эстонии...» завершаются рассказом о счастливом свадебном путешествии Т. П. Лаговской. Продолжение воспоминаний — «1930-е годы» будут опубликованы в одном из следующих изданий кафедры русской литературы. Надеемся, что в ближайшие годы выйдет отдельным изданием и полный текст мемуаров «Люди моей жизни. Сыновьям».

Л. К.

## 1920-е ГОДЫ В ЭСТОНИИ — МОИМИ ГЛАЗАМИ

Т. МИЛЮТИНА

В двадцатые годы Эстония звала своих уроженцев вернуться, и мамина сестра — Зинаида Николаевна Дормидонтова, преподаватель русского языка и литературы, автор многих учебников, по которым в Эстонии учились и выслала в Крым нужные документы. Маму, как врача, из Крыма не выпустили. Она смогла вырваться только через полгода. Боясь, что мы погибнем от голода, мама решила отпустить нас одних — меня, десятилетнюю, и бабушку, потерявшую после возвратного тифа память. Каким-то чудом — через всю вздыбленную Россию — мы добрались до Москвы, где в эстонском посольстве уже были присланные тетей Зиной для нас деньги. Московские знакомые были предупреждены ею о нашем появлении и приняли нас — грязных и, наверное, вшивых. Условия, в которых они жили, топя железную печку собственной мебелью, и вся заплыванная семечками и окурками Москва — навсегда впечатались в мою память.

Потрясающим контрастом со всем этим развалом была Эстония. Наш эшелон, состоявший из набитых оптантами товарных вагонов, прибыл в Нарву в 2 часа ночи. Нас повели в баню, одежду отправили в прожарку, вещи — в дезинфекцию. Под утро мы попали в чистейшее помещение карантина с аккуратно застеленными кроватями. Поразил меня утренний завтрак! Не успели мы прийти в себя, как назвали фамилию — Бежаницкая — и бабушке вручили пакет с еще теплыми котлетами и другой едой. Оказывается, наша дорогая тетя Зина заранее написала своей коллеге — учительнице Нарвской школы, прося ее следить за прибывающими эшелонами (списки оптантов вывешивались), и, увидев нашу фамилию, сразу же нести нам еду.

Были первые числа января 1922 года.

Через две недели за нами приехала тетя Зина и увезла нас в Тарту. И вагон с обитыми красным плюшем скамейками, и квартира тети Зины, полная чудесных книг — художественных изданий классиков, роскошных монографий художников, альбомов-открыток с картин Третьяковской галереи, богатой библиотекой моей двоюродной сестры Тани\*, которая была только чуть старше меня, — воспринимались как чудо. Я сразу же была одета в Танины платья — всего было много, все было красиво.

Из карантина я привезла корь и заразила не только Таню, но и ее двух подруг, которые стали и для меня подругами на всю жизнь, — Валю и Лену Мюленталь.

Болела я чудесно: бабушка, чуть отодвинув темную занавеску на окне, читала мне интереснейшие книги. После крымских лепешек из растертых между плоскими камнями пшеничных зерен (заработок врача), поджаренных на дельфиньем жире, еда в тети Зинином доме была фантастически разнообразна и вкусна.

Чудесное лето прошло под Тарту, на хуторе, где тетя Зина снимала дачу. Столько было ягод и грибов, столько было выпито молока и съедено всего вкусного, что из заморыша я стала нормальной одиннадцатилетней девочкой и осенью поступила во второй класс русской гимназии Товарищества преподавателей. По нынешнему счету это был пятый класс средней школы. Окончила ее в 1929 г. — за год до этого гимназия стала городской.

Должна признаться, что гимназией я тяготилась, училась средне, хотя почему-то считалась хорошей ученицей; много и увлеченно читала.

Тарту моих школьных лет был немецко-прибалтийский, уютный, чистый, полный молодежи университетский город. Студенты и школьники носили форменные фуражки, и это очень украшало прохожих на улицах. Всюду мелькали студенческие деккели — белые и многоцветные «краски» корпорантов. Корпораций было много. Устраивались факельные шествия, в дни своих юбилеев очередная корпорация разъезжала на паро-конных экипажах (цвейшкеннер). Наш замечательный преподаватель истории — Берент — всегда по улице шел, окруженный студентами. При встрече с ученицей снимал шляпу, склоняясь

---

\*Впоследствии — врач-лаборант Татьяна Сергеевна Белиовская.

в поклоне. Мгновенно все студенты срывали со своих голов «деккели». Книголюб, обладатель большого собрания редких книг — адвокат Эдельгауз — преподавал в старших классах гражданствоведение. Задумчиво глядел в журнал, выбирая, кого вызвать, постукивал карандашом и произносил: «Госпожа Бежаницкая, прошу вас» — и я, с душой ушедшей в пятки, принималась отвечать. Русские педагоги были совершенно другими.

Благодаря моей тете Зине мои школьные годы прошли очень интересно. Переехав в Таллинн, она стала преподавателем русского языка и литературы в Русской городской гимназии, позднее ее инспектором. Вместе с другим преподавателем — Владимиром Сергеевичем Соколовым — вела замечательный литературный кружок, многим определивший дальнейший путь жизни. Кроме того, они каждое лето устраивали для старших школьников поездки в ближайшие страны Европы. Мне кажется, что ни одна русская гимназия в Эстонии этого не делала.

В Таллиннской гимназии училась моя троюродная сестра — тоже Тамара Бежаницкая, как и я. В экскурсии она никогда не ездила, так что меня спокойно включали в список. Мама нужна была как сопровождающий врач. Стоимость поездки нас двоих чуть только превышала мамины отпускные деньги, так что была вполне доступна. Внесенные каждым участником экскурсии деньги покрывали железнодорожные расходы, экскурсоводов, билеты в музеи и на выставки, обеды в столовых. Жили все в вагоне — у каждого было свое спальное место. В очередном маленьком городке вагон ставился на запасных путях. В больших городах жили в школах. Эстония всегда славилась своими продуктами — ветчиной, копченой колбасой, нечерствеющими пряниками, сыром. У всех был взят с собой запас продуктов. В обязанность молодых людей входило принести утром и вечером чайники кипятка и свежие булки. Днем в столовой плотно обедали, в городе покупали овощи и фрукты для вечернего ужина. Так я побывала в Латвии, Финляндии, Польше, Австрии и Чехословакии. Мама, использовав на поездку свой отпуск, принималась работать, а добрая тетя Зина брала меня к себе, на снятую ею в Тойла или Гунгербурге дачу. Чудесное лето продолжалось.

В Тойла — не часто, — но видели Игоря Северянина. Дачников было много. Наши соседи весело уверяли, что проходя мимо домика, в котором жил Северянин у сво-

ей — единственной законной — жены Фелисы, слышали, как он посылает ее в погреб за салакой: «Сходи вниз, в лазоревое царство и принеси осалаченную тарелку». Не ручаюсь за правдивость, но похоже. Мы дружили с очень симпатичной девочкой, которая жила в Тойла со своей мамой, зарабатывавшей шитьем. Девочку звали Валя Лотарева, говорили, что она дочь Игоря Северянина.

В Тойла был чудесный парк вокруг Елисеевского дворца, жестоко уничтоженного во время войны. Мы покупали у садовника букеты сирени — махровой и необычных оттенков. Сирень любила жена Елисеева. На втором этаже дворца показывали комнату, где она покончила с собой.

В Гунгербурге (Нарва-Йыесуу) тетя Зина снимала комнату в Шмецке — так назывался дальний ряд дач, очень красивых, с деревянной резьбой. Несколько из них принадлежали отцу Ирины Борман, которая писала стихи, была умным и своеобразным человеком, дружила с Игорем Северяниным.

Я проснулся в слегка остариненом  
И оновеном тоже слегка —  
Жизнерадостном доме Иринином  
У оранжевого цветника.

Так писал о ее доме Игорь Северянин. Дважды мы были на концерте Северянина. Он приплывал в Гунгербург из Тойла — на лодке! Очень трудным было начало концерта — Северянин хмурился, неохотно читал стихи, потом вдохновлялся аплодисментами и овациями и начинал почти петь.

О том, как свободно было с русским языком и как люди понимали шутку, говорит один пустячный эпизод. Одноклассница и подруга моей двоюродной сестры — Марина Верцинская (в будущем жена Константина Аренсбургера — председателя «Общества русских студентов», артиста и режиссера) — написала Тане письмо из Таллина со следующим адресом: «В Гунгербург среди морей, средь чудеснейших полей, по улице Луговой — в доме Дормидонтовой. Дома номер позабыт, но душа одно твердит — тридцать семь помножь на два — и получишь все сполна!» Смеющийся почтальон вручил Тане это письмо. Номер дома был 74.

В начале двадцатых годов большинство государств Европы стало странами русского рассеяния. Чужбина для многих на долгие годы обернулась житейским неблагополучием и физическим трудом.

Прибалтика, в которой было коренное русское население, заняла совершенно особое место и воспринималась как оазис, в котором жизнь русских продолжалась в обычных условиях.

Прибывшая из Петербурга и Пскова интеллигенция соединилась с коренными русскими из городов, пополнила состав преподавателей школ, гимназий и университета.

Русские крестьяне по-прежнему обрабатывали землю Печорского и Изборского края, жители побережья Чудского озера занимались рыболовством и выращивали лук. Русские рабочие трудились на Нарвской мануфактуре и заводах Таллиннских предместий.

За «железным занавесом», который для Эстонии был поверхностью Чудского озера, — уничтожали церкви и монастыри. Эстония по-прежнему была украшена нетронутыми Печорским и Пюхтицким монастырями. Ничем не нарушалась церковная жизнь, в школах преподавался Закон Божий. Дети учились в русских начальных школах и гимназиях. Благодаря прибывшим из России, преподавательский состав был исключительным. Особенно в Печорах.

Многие окончившие гимназию в Таллинне, Нарве или Печорах, приезжали в Тарту, чтобы поступить в университет. Талантливые молодые люди могли получить образование в Пражском университете, который давал русским стипендии. Доступным был и русский богословский институт в Париже.

Настойчиво желавшим изучить английский язык — можно было поехать в Англию — там всегда находилась работа, чтобы прожить какое-то время. Незабываемы рассказы Алексея Соколова, одного из самых талантливых молодых людей в Тарту. Труднейшее материальное положение семьи и ранний брак не дали ему возможности кончить университет. Несмотря на это, он был гораздо образованнее и начитаннее большинства студентов. «Черепаший пастух» — так назвал Алексей Соколов свои впечатления об английской жизни. Устные рассказы его невозможно забыть.

Первая его работа была — побелить потолок в квартире старой дамы. Леша заверил даму, что будет осторожен: на полу был драгоценный паркет. Сразу же упал с ведром белил с разбегавшейся стремянки. Дама беспокоилась — не ушибся ли Леша! Одно время был помощником садовника в старинном именье. Никогда не получал прямых распоряжений. Ему говорили: не кажется ли ему, что ветка слишком низко свисает? Он быстро шел и спиливал. Однажды ему надо было привести в порядок что-то на островочке посреди мелководного пруда. Алексей не воспользовался плоскодонной лодкой, на которой переправлялись на островок, а, надев сапоги, перешел: вода выше колен не доходила. Жена помещика даже заболела — так был унижен фамильный пруд!

Учение в Тартуском университете было платным. Вступительных экзаменов не было — надо было только представить свидетельство об окончании гимназии. Русская общественность очень помогала студентам: устраивались благотворительные вечера, собирались деньги. Университет освобождал от платы только тех, кто очень хорошо учился.

Большое значение имело «Общество русских студентов», где были устроены бесплатные обеды. Это очень помогало: финансово благополучных почти не было, стипендии получали очень немногие, общежитий не было — надо было снимать комнату.

Параллельно существовали русские корпорации — «Славия», «Этерна», недолгое время «Бозтея». Была даже женская корпорация «Сороритас Ориенс», устроенная тетей Зиной. Но корпорации с их немецкими обычаями, поединками и кутежами как-то чужды были русскому характеру и не оставили следа. А «Общество русских студентов» оставило!

«Общество» не только объединяло студентов разных факультетов и возрастов, но было как бы центром русской общественной жизни. Все русские культурные мероприятия устраивались при участии «Общества русских студентов»: лекции приезжавших профессоров, прием артистов и писателей, благотворительные вечера с интересной программой, веселые и серьезные субботники. Все это делало интересной жизнь, прививало хороший вкус, повышало культурный уровень.

Рижское издательство быстро и дешево выпускало литературные новинки — все достойное внимания в советской литературе и переводы зарубежных «бестселлеров».

Большое значение имел в Тарту «Магазин русской книги», собственником которого был Владимир Александрович Чумиков, просвещеннейший человек, обладатель большого собрания редких и ценных книг. Он почти всегда находился в магазине. Его помощницами были Валерия Михайловна Мюленталь (мои подруги Валя и Лена были ее дочери) и Раиса Владимировна Вильде (брат которой — Борис Вильде — стал героем французского Сопротивления). В магазине царила атмосфера доброжелательности, многие заходили ради общения с умными и начитанными людьми. Подобная обстановка была в Таллинне, в книжном магазине Алексея Алексеевича Булатова. Там была известная читальня. Привлекали туда не только книги, но личность самого хозяина.

Такое же значение имела в Тарту «Русская библиотека», где ее заведующая — Татьяна Николаевна Шмидт — могла посоветовать чтение.

В Латвии и Эстонии издавались русские газеты. Павел Иртель — на собственные деньги — издавал в Таллинне литературно-художественный альманах «Новь», красивый и полиграфически, и по содержанию.

Дважды в год — осенью и весной — Рижский драматический театр, с прекрасными артистами и интересным репертуаром, приезжал на гастроли в города Эстонии. Это было событие, которого ждали. Дело осложнялось тем, что весенние гастроли почти всегда совпадали с днями Великого поста. Наш замечательный — добрый, но строгий священник — отец Анатолий Остроумов осуждал нас, школьников, и запрещал ходить на театральные постановки, но не ходить было совершенно невозможно. Однажды я заслуженно пострадала. Ставилась пьеса «Глина в руках горшечника». На нее, действительно, школьникам не надо было идти. Учитель математики Дмитрий Львович Шумаков, когда увидел меня, закрыл глаза рукой, — значит, донес не он. Я, к несчастью, была старостой класса. Директор настойчиво пытался узнать, кто еще был из класса. В бальнике за полугодие мне была поставлена тройка по поведению.

В Тарту были и свои театральные постановки, но очень посредственные. Запомнилась постановка пьесы

Дм. Львовича Шумакова «Дом радости» — о школе. Замечательна она была тем, что все действующие лица были прекрасно загримированы под наших преподавателей. Пьеса ставилась в школе: преподаватели смотрели с неудовольствием, ученики злорадствовали — все в пьесе были противными.

На зимние каникулы или я уезжала в Таллинн и проводила их очень интересно в доме умной и жизнерадостной тети Зины, или приезжала к нам Таня. Однажды, когда мы были пятнадцатилетними, — она привезла скарлатину. Мы обе долго болели в палате заразной больницы. Благодаря моей маме болели празднично и интересно: она ежедневно навещала нас, принося книги и вкусное, а потом тщательно мылась и меняла одежду.

За время моей болезни в школе много прошли. Догнать все было нетрудно, кроме английского. Мама устроила меня брать уроки у Александра Григорьевича Черткова. Чрезвычайно красочная личность! Не знаю, как он оказался в Эстонии, — семья его жила в Париже. Жил он в маленьком одноэтажном домике, отдельно стоявшем во дворе. Дом был полон черных кошек. В мое время их, кажется, было 33! Все началось с того, что Черткову подарили котенка — очаровательную черную кошечку. Назвал он ее Кили-Кили — что-то индусское. Первых котят удалось раздать, но последующих... Беда была в том, что Чертков был толстовцем по убеждениям (родственником толстовского Черткова), твердо стоял на том, что никого нельзя убивать, сам был вегетарианцем, топить рождавшихся котят не мог. Тайно это делали соседи, но все равно кошек было множество. Чертков пытался приучить кошек к овсянке, возмущался, что они требуют рыбу и мясо.

Чертков увлекался теософией, оккультизмом, всем индусским... На уроки я ходила с увлечением — мы читали Оскара Уайльда. Иногда Чертков уходил в другую комнатку и возвращался оттуда более оживленным. Неодобрительные слова знавших, что он наркоман, увы, были справедливы. Человек он был интереснейший, и я ему многим обязана. Ходила я к нему на уроки в одном и том же платье, которое по возвращении домой сразу же снималось и вывешивалось в дровяной сарайчик проветриваться.

Чертков бывал у нас, подчеркивал свое вегетарианство и уверял, что даже от съеденного яйца у него начинаются страшные судороги. Но во всем печеном и вкусном всегда есть яйца — особенно в пасхе и куличах! Ел с большим удовольствием — судорог не было!

Английский язык он преподавал в нашей гимназии. Очень своеобразно ставил оценки за диктовки. Работы проверяли два хороших ученика и ставили пять тому, у кого было наименьшее число ошибок, и двойку тому, у кого наибольшее. Остальным отметки вычисляли арифметически.

\*\*\*

Все школьные годы я дружила с Леной Мюленталь. Дружба продолжается и до сих пор. У Лены было много подруг — все тянулись в ее добрый, гостеприимный дом, к ее маме — Валерии Михайловне. В школе мне очень помогало то, что я сидела в одном ряду с Леной, по-настоящему хорошей ученицей. К ней, перед началом урока, сбегались девочки, умоляя быстро рассказать заданное. Я внимательно слушала и, если меня вызывали, хорошо отвечала.

Валерия Михайловна Мюленталь и ее дочери Валя и Лена жили в частично принадлежавшем им доме.

Муж Валерии Михайловны очень рано умер от туберкулеза, он был прибалтийским немцем, прекрасным человеком европейской и русской культуры. Сама Валерия Михайловна была русским человеком, в самом высоком значении этого слова. В ее московской семье (она была урожденная Маркелова) — и родство с поэтом Майковым, и свойство со Скрябиными.

За домом был большой сад с деревьями, кустами, лужайками, где мы играли в «казаки-разбойники» и «платки». Это — горка напротив театра «Ванемуйне», на которой сейчас сквер с газонами, деревьями и дорожками. По-прежнему высокая стена, сложенная из валунов, подпирает эту горку со стороны улицы Ванемуйне; деревянных домов больше нет.

Я очень часто бывала у Лены. Валя и Лена прекрасно пели. Несмотря на очень скромные материальные возможности, добрая Валерия Михайловна взяла к себе нашу одноклассницу, сбежавшую от очень нехорошей мачехи, и дала ей образование в школе мед. сестер.

Иногда мы засиживались и оставались на ужин. Обычно это бывала жареная картошка и чай из сушеных яблочных кожурок. За столом было так интересно, остроумно и весело, что все казалось гораздо вкуснее, чем дома.

Мы с мамой жили вдвоем — бабушка так и осталась на попечении тети Зины и была у нее в Таллинне. Деревянный одноэтажный домик в Заречной части Тарту, по улице Киви 71 — стоит до сих пор. Правая половина домика — была наша квартира, где жила мама, я и наш очень любимый фокстерьер Фомка. Часть кухни была отделена занавеской — это была «комната» нашей прислуги Матильды. Человек она была пожилой, одинокий, очень своеобразный. По-русски она не говорила, нами командовала, прекрасно готовила и любила блеснуть, но предварительно всегда устраивала маме сцену протеста, когда слышала, что будут гости. А гости к нам часто не только приходили, но приезжали и у нас гостили. Теперь, вспоминая, я удивляюсь, как все помещались: комната было три — гостиная, столовая и наша с мамой спальня. Освещение — керосиновые лампы, отопление — дрова. Благодаря Матильде, я заговорила по-эстонски, а наша кладовка (в Эстонии она называлась шафрейка) была полна банками с вареньем и всякими соленьями и маринадами.

Город был украшен молодежью и жил уютной жизнью.

Ботанический сад был хорош и летом, и зимой. Одна из оранжерей была только для орхидей. Они зацветали почти одновременно, это было событие — все ходили ими любоваться. А зимой на прудах Ботанического сада был каток, по вечерам играл оркестр.

С весны до осени оживленным и нарядным был Эмбах (Эмайги). Лодочная станция Редера имела не только легкие весельные лодки на разное количество пар весел, но прекрасные парусники и байдарки. Все это плыло и несло вверх по течению до Квиссенталя.

В Тарту любили праздники и умели их праздновать. В конце ноября у лютеран начинались рождественские адвенты. По воскресеньям люди вечером поднимались на Домберг к развалинам монастыря и слушали хоралы, которые исполняли спрятавшиеся в развалинах студенты.

Праздники праздновались одновременно и православными, и лютеранами. 24-го декабря елки зажигались во всех домах. Рождество было настоящим детским празд-

ником. Новый год был праздником взрослых, праздником гражданским — с балом, вечерами, катаньем на санях.

В Тарту был и свой собственный торжественный, но грустный день: каждое 14 января вспоминали зверское убийство уходящими «красными» заложников в 1919 г. Среди убитых было три православных священнослужителя — епископ Платон, протоиереи — о. Михаил Блейве, настоятель Успенского собора, и о. Николай Бежаницкий, настоятель эстонской православной церкви, — мой дедушка. Убит был пастор лютеранской церкви — Траутотт Хаан, несколько эстонцев и евреев. Это было горестное событие для всего города. Приезжал митрополит. После литургии в Успенском соборе служилась торжественная панихида. Посреди церкви стояли не только священники всех православных приходов — эстонских и русских, но и пасторы лютеранских церквей. Крестный ход с хоругвями и иконами, с поющим хором шел к погребу Кредитной кассы, где было совершено убийство. В 1929 г. там была сооружена часовня. Представители еврейской общины ждали выхода крестного хода из церковной ограды и присоединялись к процессии. Все были едины.

В 1940-м г. это было прекращено, часовня разрушена.

В 75-ю годовщину — 14 января 1994 г. лютеранский и православный приходы на собранные деньги установили мемориальную доску на стене того здания, где было совершено убийство (теперь это детская библиотека).

А Пасха! Богослужения Страстной недели и Пасхальная ночь — это всегда событие. Очень украшал праздники колокольный звон — в первый день Пасхи каждый мог подняться на колокольню и звонить. Три первых дня Пасхи еду не готовили: все было приготовлено заранее — и куличи, и пасха, и крашеные яйца, и запеченый окорок, и студень, и пироги, и бульон. Первыми гостями были дворник и почтальон. Так же было и на Новый год, с той только разницей, что на Новый год они получали деньги, а на Пасху они были еще и гостями, которых угощали.

К сожалению, не все русские семьи так благополучно жили. Правильно написала Вера Ивановна Поска-Грюнталь в своей книге «See oli Eestis. 1919–1944» в главе о докторе Бежаницкой: «Кроме огромного числа пациентов у нее была еще другая общественная задача — помогать своим соотечественникам, которые в годы 1918–1919 бежали от коммунистов в Эстонию и здесь пытались вновь

устроить свою жизнь. Теперь, когда многие, в 1944 году выбравшиеся в свободный мир, сами испытали, что означает быть беженцем — мы понимаем, что наше отношение к своим беженцам могло бы быть более справедливым».

Мне кажется, что из уехавших за границу очень мало кто это понял. Не понимают и в девяностые годы.

Самые добрые, дружеские чувства, единомыслие и полное взаимное понимание — связывали мою маму с Валерией Михайловной Мюленталь (для меня — тетей Вале́й) и с доктором Элизабет Фогель (для меня — тетей Лизой). Эта настоящая дружба перешла в дружбу нас, детей — Вали и Лены Мюленталь (Лена моя одноклассница) и Музы Фогель (в замужестве Мадаус). Добрые и верные чувства наших семей продолжают и в девяностые годы. Валерия Георгиевна Ляпунова и Елена Георгиевна Мюленталь с 1945 г. живут в Нью-Йорке, Муза Мадаус — в Гамбурге. Переписка держит нас в курсе наших радостей и горестей. Их материальную помощь со времени нашего возвращения из Сибири в 1957 г. (т.е. в течение 35 лет!) невозможно исчислить.

В конце тридцатых годов у мамы началась дружба с Верой Ивановной Поска-Грюнталь (дочерью Яана Поска), которая продолжалась долгие годы даже после маминного возвращения из Сибири — в переписке из Швеции.

И хотя из этих трех ближайших друзей только Валерия Михайловна Мюленталь была по крови чисто русским человеком, — доктор Фогель была прибалтийской немкой, а Вера Поска-Грюнталь эстонкой, — все они выросли на русской культуре, и это было их богатством, как и многих интеллигентных эстонцев, получивших образование в России.

И доктор Клавдия Николаевна Бежаницкая, и доктор Елизавета Карловна Фогель — были врачами на постоянной зарплате, никогда не бравшие с больных денег. Доктор Фогель была врачом Социального Обеспечения, в просторечье — врачом для бедных, доктор Бежаницкая с 1923 г. начала борьбу с туберкулезом, была врачом и заведующей Тартуского тубдиспансера.

В книге Веры Поска-Грюнталь «*See oli Eestis. 1919–1944*», изданной в Швеции в 1975 г. на эстонском языке, в главе «Доктор Клавдия Бежаницкая» написано: «Для нее все люди были одинаково ценными — независимо от национальности, вероисповедания, общественного положения.

<...> Ее отношение к больным было необычным, она давала им не только чисто медицинскую помощь — к этому прибавлялось еще и душевное лечение, она заботилась о психическом равновесии своих больных».

Все это можно сказать и докторе Фогель.

\*\*\*

Гостеприимным и добрым был дом Масловых. Моя мама бывала там не только как гостья, а и как врач. Ната Маслова, студентка химического факультета, была туберкулезной, мама следила за лечением.

Невозможно забыть, как я первый раз попала в этот дом и увидела Митю Маслова. Мама взяла меня с собой. Дверь открыл Митя, совершенно забинтованный — были видны только глаза и сделаны какие-то щели для дыхания. Оказывается, накануне, чтобы развлечь сестру и ее гостей, Митя поджег ракету в Натаиной комнате! Окно на зиму плотно заклеено, стены в коврах — ракета металась, обжигая ловившего ее Митю, наконец вырвалась в открытую форточку.

Митя усадил меня в своей комнате в кресло, сам уселся на край письменного стола, и на меня обрушился настоящий ливень стихов. Я слушала, как зачарованная, мне не было еще 16-ти, все было для меня ново. Так Митя взял надо мной опеку. Великая ему за это благодарность. В первый раз это были стихи Есенина. Его собственные стихи, никогда и нигде не печатавшиеся, — очень душевные и хороши. Митя сильно заикался, но стихи читал гладко.

Семья Масловых была необычайна не только для того времени. Ольга Константиновна — мать Мити и Наты — разошлась со своим мужем — купцом Василием Романовичем Масловым и вышла замуж за другого. Но что-то не сладилось в этом браке, она вторично разошлась и поступила гувернанткой к своим собственным детям! Василий Романович переселился в очень неудобную квартиру над своей лавкой, предоставив свой дом с садом в полное владение Ольги Константиновны и детей. По воскресеньям братья Масловы — Василий и Изот Романовичи — имели право прийти и попить чаю с пирогами, послушать и посмотреть на Ольгу Константиновну, которую очень чтили.

У нас стал бывать друг Мити Маслова — как я тогда думала — тоже поэт, студент-химик Борис Нарциссов. Родители его жили на Чудском озере, отец был учите-

лем, семья была большая, жили трудно. Борис кончил гимназию, поступил на химический факультет, очень необдуманно сделал предложение Митиной сестре Наталье Васильевне, которая была его значительно старше и уже кончала химический. Получив отказ, не счел для себя возможным продолжать бывать у Масловых.

В Америке, где Борис Нарциссов прожил вторую половину своей жизни, вышло несколько сборников его стихов, а после смерти, по его желанию, жена издала книгу его рассказов, названную «Письмо к самому себе. Адресат неизвестен». В первом рассказе, того же названия, Борис говорит о Масловском доме, о Мите, называя его Витькой, о Нате, называя ее Татой, восторженно о Черткове, называя его Учитель, и очень правильно и хорошо об Ольге Константиновне: «Дом был старозаветный, местных сторожилов с достатком, и уж если должен быть в городе праведник, чтобы город стоял, то Витькина мать и была такой праведницей. Ее нет давно на свете... а тогда она кормила меня, гимназиста, отощавшего без мамы и папы в городе, да приятелю моему, жившему со мною, в кастрюльку ужин накладывала. И не за эту кормежку вспоминаю я ее, как праведницу, а за бесконечную доброту и доверие к людям. Так вот, пока мы с Витей были в одном классе гимназии, Витькина мама придумала следующее: я буду приходить по вечерам и заниматься с Витькой по всем грамотам, а она будет кормить меня ужином, а по воскресеньям обедом. Так прошел один гимназический год — я окончил гимназию и был принят в университет, а Витька остался. Я продолжал с ним заниматься по-прежнему <...> Ум у Таты был быстрый и насмешливый, а язык острый... она была очень наблюдательной и сразу ловила слабые и смешные стороны окружающих».

Борису было тяжело остаться без уюта и поддержки Масловского дома. Мне кажется, что он прилепился к нам именно потому, что никак его нельзя было заподозрить в жениховстве: маме было в 1927 г. 37 лет, мне только что исполнилось 16. Борис принялся «опекать» меня, думаю, из соперничества с Митей. Борис читал мне не только стихи, но, главным образом, Фрейда! Водил на каток и на субботники в «Общество русских студентов» и, конечно, к цветущим орхидеям.

Из Таллинна приезжал к свои родным Юрий Иваск. Семья их была необычной: два брата-эстонца, люди рус-

ской и европейской культуры (один стал известным экслибрисистом), — женились на двух сестрах из прекрасной московской русской семьи. Так как такие браки православная церковь не одобряла, то они венчались в один и тот же час в двух подмосковных церквях. Родившиеся в одной семье Юра, а в другой семье Леля (живущая в Тарту Елена Удовна Кульпа) были больше, чем двоюродные, они чувствовали себя родными.

Однажды пришедший к нам Юра Иваск застал у нас Бориса Нарциссова. Оба были совершенно разные — единственное, что было общим — высокий рост. Борис был очень красивый, с темными волосами, синими глазами и вспыхивающим на щеках румянцем. А Юра был совершенно белесый, в веснушках. Оба тогда уже были «личности незаурядные» — поэты! очень друг перед другом важничали, даже говорили как-то в нос. «Да, да, я помню, — говорил Юрий Иваск, — был у вас и интересный школьный журнал. Там был рисунок — что-то гнойное — кажется назывался «Зловонный палец»?

— «Прокаженный перст»! — строго и сухо сказал Борис. Не знаю, как удержалась от смеха моя мама, — мне пришлось выскочить в кухню!

Чтобы кончить рассказ о Борисе того времени, придется забежать вперед. У Гриммов собирались, чтобы слушать стихи Марии Владимировны Гримм. Были приглашены Масловы, маму просили привести Бориса Нарциссова. В гостиной все сидели на поставленных в круг старинных стульях, с высокими резными спинками. Мама и я сидели напротив Мити и Наты Масловых. Я напряженно смотрела на Нату — очередь читать стихи дошла до Бориса. Он встал, зашел за мой стул и взялся руками за его спинку. Я представила себе его синие глаза, впившиеся в лицо Натальи Васильевны так же, как его руки впились в мой несчастный стул. Он знал свои стихи наизусть — это были его «Орхидеи»:

В сырых лесах Мадагаскара,  
Средь лихорадочных болот,  
Струя таинственные чары,  
Цветок неведомый растет.

Как крылья бабочек пестрея  
С земли взбираясь на кусты,  
Пятнисто-белой орхидеи  
Цветут жемчужные цветы.

Болото влажно пахнет тиной. . .  
 Но заглушая терпкий яд,  
 Переплетаясь с ним невинно,  
 Струится тонкий аромат.

А из-под листьев орхидей,  
 Свисая с веток и суков  
 Выходят матовые змеи  
 Бессильно нежных черенков.

И кто в кустарник заплетенный  
 Цветами странными войдет —  
 Тот забывает, опьяненный,  
 Весь мир и запах нежный пьет.

Он видит дивные виденья,  
 Неповторимо сладкий сон  
 И в неизбывном наслажденьи  
 Безвольно долу никнет он.

Над ним качает орхидея  
 Гирлянды бабочек-цветов  
 К нему ползут бесшумно змеи  
 Бессильно-нежных черенков.

И в тело медленно впиваясь,  
 И кровь и соки жадно пьют —  
 И к обреченному спускаясь,  
 Цветы острее запах льют.

Стихотворение произвело ошеломляющее впечатление. Все видели, к кому оно обращено. Ничего общего не было у прекрасной, строгой и совершенно чистой Наталии Васильевны с этим колдовским, очень гумилевским стихотворением. Самолюбивому Борису хотелось отомстить. Окончив, он просил прощения у хозяев, что должен уйти. Несколько дней не приходил к нам.

\* \* \*

Весной 1927 г. в моей жизни, да и не только в моей, произошло большое событие — я услышала о русском студенческом христианском Движении.

Один день провела в Тарту жившая в Париже Софья Михайловна Зернова — центральный секретарь русского студенческого христианского движения. До этого она побывала в Риге, а после Тарту поехала в Таллинн. Собрание в Тарту было в «Обществе русских студентов».

Софья Михайловна рассказывала о жизни русской молодежи в странах русского рассеяния, о помощи югослав-

ского и чехословацкого правительств и многих благотворительных организаций стран Европы, которая дала возможность тысячам молодых русских эмигрантов получить высшее образование. Студенты понимали, что русская культура неразрывно связана с православием, и осознавали ту опасность, в которой она находится в Советском Союзе, и объединялись в кружки.

Осенью 1923 г. в замке Пшеров (Чехословакия) прошел первый съезд русских студентов в Европе. Это стало возможным благодаря помощи ИМКА (Христианский союз молодых людей) и Всемирной студенческой христианской федерации. На этой конференции, кроме студенческой молодежи стран русского рассеяния, были религиозные философы, высланные в 1922 г. из Советского Союза — о. Сергей Булгаков, Н. Бердяев, А. Карташев и В. Зеньковский. Так началось Русское студенческое христианское движение.

После приезда Софьи Михайловны Зерновой, покрывшей всех своей красотой, молодостью, и убежденностью, — в Латвии и Эстонии возникли кружки Движения, в основном, из кружков ИВКА (Христианский союз молодых женщин).

В Тарту кружок возник совершенно самостоятельно по инициативе и вдохновению Дмитрия Маслова — поэта и вечного студента. Кружок был чрезвычайно своеобразный и очень интересный и по темам, и по составу участников. Великие спорщики, еженедельно собиравшиеся под гостеприимным кровом масловского дома, — были, по-моему, самыми интересными русскими людьми в Тарту. Юрист, приват-доцент Иван Давыдович Гримм (интереснейшая семья Гримм приехала в 27-ом г. из Праги), Василий Александрович Карамзин — «конный апостол», как его называли за его военную выправку и религиозность, высланный из Таллинна эстонскими властями за «слишком активную русскость», Владимир Николаевич Пашков — замечательный тартуский врач и общественный деятель, две студентки, кончающие химический факультет, — сестра Мити Маслова Наталья Васильевна, ставшая потом женой Ивана Давыдовича Гримма, и ее подруга Татьяна Михайловна Фомина (в замужестве Осипова) — впоследствии химик Нарвской мануфактуры и организатор и руководитель Движения в Нарве. Три совершенно не от мира сего студента: Дедик Круг, Гигоша Иртель и Ми-

тя Маслов. И, наконец, я — единственная школьница, которая была только слушательницей.

После очередного доклада начинались бурные дебаты, которые продолжались за чайным столом, душой и хозяйкой которого была мать Мити и Наты — Ольга Константиновна. Кончалось все это очень поздно, и Митя всех разводил по домам. А я на уроках в школе всю неделю мечтала о следующем собрании.

Дедик Крут изумил нас в первое же свое появление в кружке: он не знал названия улицы, на которой он жил, и не умел объяснить, где она находится. Хорошо, что Тарту — маленький город и русские друг друга знают. Удалось добиться, что в одном с ним доме живет пианист Гамалея. Дедика проводили до дому... Рассказывали о нем следующее: его остановила полиция, поскольку ловили какого-то мошенника, и полицейские вежливо спрашивали у всех молодых прохожих паспорт. На удивление — паспорт у Дедика был, но он даже дату своего рождения не мог правильно сказать. Полицейский отвел его в участок. Там, по счастью, находился задержанный преподаватель «Палласа» — у него с собой не было паспорта — он подтвердил, что это Георгий Крут, ученик Высшей художественной школы. Полицейский, качая головой, отпустил Дедика.

Георгий Крут окончил в Тарту «Паллас», продолжал свое художественное обучение в Париже, куда переехала его семья, стал монахом и известным иконописцем. Замечательны его иконы. Есть его книга «Мысли об иконе», собранная и изданная после его смерти. О нем много написано. По его смирению, он — брат Григорий.

Гигоша Иртель — брат Павла Иртеля, издававшего в Таллинне альманах «Новь», которым могло бы гордиться любое европейское издательство, — окончил в Париже Богословский Институт, стал монахом — отцом Сергием.

Митя (Дмитрий Васильевич) Маслов оказал большое влияние на нас — тогда совсем молодых — своей вдохновенной любовью к поэзии, своими стихами, душевной чистотой и искренней верой.

Очень украсил русский Тарту приезд из Праги в 1927 г. семьи профессора римского права — Давыда Давыдовича Гримм. И он сам, и его сын Иван Давыдович — оба стали читать лекции на юридическом факультете Тартуского университета. Оба были интереснейшими собеседниками для своих умных гостей. А мы — молодежь — совершенно

очаровались женой Ивана Давыдовича — Марией Владимировной, читавшей нам свои стихи. Особенно одно было пленительно, написанное о себе самой:

Венцом уложенные косы, под ними легких дум игра. . .  
Люблю дымок от папиросы, у желтой лампы вечера.

Чад старой книгой иль картиной пробора узкого наклон  
И дружбу умную с женщиной, который не в тебя влюблен.

До приезда Гриммов настоящей профессорской семьей была только семья профессора Михаила Анатольевича Курчинского. Стиль семьи всегда определяет личность жены. Любовь Александровна даже внешне была, как королева. Она была красивая, умная, добрая, очень деятельная, но без всякой житейской суеты. У Курчинских, раз в неделю, по-моему, по пятницам, собирались знакомые на своеобразные литературные чтения. Рижское издательство необычайно быстро переводило и издавало европейские новинки, широко выпускало все интересное из печатавшегося в Советском Союзе. Любовь Александровна читала вслух, все рукодельничали. Обычно же русские семьи общались на днях рождений и именин, где определяющим было убранство и обилие праздничного стола и велись житейские пересуды. Маме моей, как врачу, прощали неучастие в таких застольях.

На все интересное мама брала меня с собой — к Курчинским обязательно.

Литературные собрания бывали в доме Ленкиных. Там собиралось, наверное, большинство «пишущих» русских мужчин. В мои 15 лет я как-то не сумела их оценить. Они мне что-то не нравились, не нравятся и сейчас. Наиболее ярким был Владимир Федорович Александровский. Потом он сделался эстонцем — Вальмаром Адамсом, — но остался таким же экстравагантным, как и в свой русский период.

Мне очень нравилось и была нашим добрым и верным другом жена Николая Петровича Ленкина — Серафима Константиновна.

\*\*\*

Движение в Прибалтике разрасталось. После Софьи Михайловны Зерновой в апреле 1927 г. приезжал профессор Н. А. Бердяев. Им были прочитаны три лекции: «Душа современного человека и христианство», «Марк-

сизм, ницшеанство и христианство», «Религия и наука». Художник Климов нарисовал Бердяева, беседующего с молодежью, рисунок хранится в архиве Б. В. Плюханова.

На Пятом Общем съезде Движения, проходившем во Франции, в местечке Клермон, уже были два представителя рижских кружков — Надя Истомина (Надежда Павловна Буковская) и Николай Петрович Литвин. На съезде были разработаны основные положения устава Движения:

«Русское Студенческое Христианское Движение за рубежом имеет своей основной целью объединение верующей молодежи для служения Православной церкви и привлечение к вере во Христа неверующих. Оно стремится помочь своим членам выработать христианское мировоззрение и ставит своей задачей подготовить защитников веры и церкви, способных вести борьбу с современным атеизмом и материализмом. Движение состоит из местных объединений. Общими органами РСХД являются общий съезд, Совет и Центральный секретариат».

Председателем Движения был профессор Василий Васильевич Зеньковский, священником Движения — протоиерей Сергей Четвериков.

Было решено созвать первый прибалтийский съезд Движения. Он состоялся 1–6 августа 1928 г. в Латвии, в пятидесяти километрах от Риги, в старом православном женском монастыре — Преображенской пустыни. Съехалось около 60 человек, из них четверо из Парижа — Василий Васильевич Зеньковский, Лев Александрович Зандер, о. Лев Липеровский и швейцарец Густав Густавович Кульман. На фотографии я насчитала десять человек из Эстонии.

Великое счастье, что не только написана, но и издана книга Бориса Владимировича Плюханова «РСХД в Латвии и Эстонии» (Париж, 1993). Она вместила воспоминания активных, идейных участников Движения, сохранила содержание докладов на замечательных движенческих съездах. Книга продала не только земную жизнь самого автора (она вышла через неделю после его смерти), но и тех, чьи воспоминания и письма приводятся в ней. Все это стало возможным благодаря пониманию, уму и доброте Никиты Алексеевича Струве — директора издательства ИМКА-ПРЕСС, — сразу же принявшего в печать книгу.

Съезд в Преображенской пустыни меня совершенно ошеломил. Природа, встречи с движенцами из других

городов, церковные богослужения, замечательные доклады наших руководителей, распахнувшие горизонты, заставлявшие нас думать, — это неповторимая атмосфера движенских съездов.

\*\*\*

Не успела я прийти в себя, как было решено не пропускать возможности послать кого-нибудь из Тарту на общий съезд Движения, который должен был проходить около Амьена (во Франции) с 10 по 16 сентября 1928 г. Но студенты не могли пропускать начало занятий и отсутствовать в сентябре. Митя Маслов не считал для себя возможным принимать от Движения деньги и придумал поехать с экскурсией в Париж, а там отстать от нее и быть на съезде. Небольшие деньги были, и решили послать меня, только что перешедшую в последний класс гимназии. Иван Михайлович Тофф — наш директор — меня отпустил, сказав, что пропущенное я догоню, а это будет мне духовный багаж на всю жизнь.

В Риге я была поручена ехавшему на съезд Димитрию Владимировичу Буковскому, студенту юридического факультета, впоследствии активному члену Рижского и Даугавпилсского Единения, написавшему прекрасные воспоминания. Я была скромная, перепуганная девочка, а Димитрий Буковский был уверенный в себе, кончающий студент, влюбленный в свою невесту. Паровозы в те времена топились углем. Влюбленный все время стоял в коридоре, высовывал голову в открытое окно и шептал пламенные слова. А моя обязанность была вытаскивать кусочки угля, попавшие ему в глаза. Кроме того, на станциях он часто бежал опускать написанные им письма, а я изводилась от страха, что он не успеет вскочить обратно в вагон. Мы ехали двое суток, никаких спальных мест у нас не было. Я сидела, а его голова лежала на моей подушечке, на моих коленях. Так что кто кому был поручен?

Так я оказалась во Франции на шестом Общем съезде Движения — единственная школьница. «Вот каких делегатов присылает Прибалтика, даже с косой!» — сказал наклонившийся надо мной улыбающийся человек. Это был Иван Аркадьевич Лаговской — мой будущий муж.\*

---

\*Подробнее о съезде Т. П. Милютина пишет в своих воспоминаниях «Три года в русском Париже» (см.: Уч. зап. Тартуского

После съезда к нам — рижской студентке Жене Македонской и ко мне — подошел профессор Федотов, протянул мне ключ от своей квартиры в Латинском квартале и сказал, что семья его уже на даче и он уезжает — квартира две недели будет совершенно пуста, и мы можем в ней жить, чтобы посмотреть Париж. Вот было чудо! Денег у нас было мало, в гостинице мы бы жить не смогли. Для нас это было большое благо! Так для меня Георгий Петрович Федотов и остался чутким, деликатным, нежным и внимательным. И как странно было мне потом слышать мнение других, да и самой видеть его в споре. Оказывается, он считался самым беспощадным спорщиком.

Мы целую неделю пробыли в Париже. Вечером просто падали от усталости. Помогали нам осматривать удивительный город — по очереди — отец Лев Липеровский и Иван Аркадьевич Лаговский. Кормили нас в столовых обедом. Утром и вечером мы — из экономии — ели только булку, запивая ее сидром. Не понимая, что это хотя легкий, но все-таки алкоголь, радовались дешевизне этого яблочного напитка и своему легкомысленному и бездумному настроению. Мы все никак не уезжали из Парижа. Поезд в Тарту приходил в два часа ночи. Моя мама три ночи подряд ходила к поезду! Приехав, я не могла остановиться и перестать восторженно рассказывать. Проспала до вечера, была разбужена, накормлена и снова спала до утра. Пришла в гимназию — писали сочинение на литературную тему. Моя любимая учительница — Нина Борисовна Срезневская — дала мне тему: «Париж»! Ничего и никогда в жизни я не писала с таким удовольствием!

Так начался мой последний школьный год, который стал годом волнений и переживаний. У Лены Мюленталь открылся туберкулез, она тяжело болела, закончила вместе с нами, освобожденная от экзаменов. Ее нет на нашей выпускной фотографии. Потом для нее последовали годы лечения в Давосе.

Что-то странное и непонятное начало твориться в семье Гриммов, которая для всех нас была идеалом семьи: старшая пара — профессор Давыд Давыдович Гримм и его жена Вера Ивановна; молодая пара — Иван Давыдович, статный, с военной выправкой, умный, остроумный,

интереснейший рассказчик и его жена Мария Владимировна — красивая, женственная, с русыми косами, пишущая стихи, умеющая создать вокруг себя атмосферу возвышенного, отрешенного от житейского. И, наконец, прелестный пятилетний Костя. И все это рухнуло!

Любая обычная семья покрыла бы порицанием поведение молодой женщины. Но тут сказалось высокое благородство семьи Гримм: с самого начала взаимное увлечение Марии Владимировны Гримм и Василия Александровича Карамзина стало считаться встречей двух, предназначенных друг для друга душ. Мне впечаталось в память, как Иван Давыдович просил у моей мамы разрешения для этой влюбленной пары бывать у нас, так как ему было невыносимо смотреть, как они были вынуждены в любую погоду гулять по дорожкам парка, не имея никакого пристанища. У Гриммов встречаться они не могли, а женщине прийти в комнату одинокого мужчины — в те времена — считалось позорным. Будущее показало, что все, действительно, было возвышенно и чисто, что это была настоящая любовь, но мне было обидно за Ивана Давыдовича.

О Марии Владимировне Карамзиной теперь много написано — и Верой Владимировной Шмидт, знавшей и любившей ее, и Любовью Николаевной Киселевой, и Вадимом Николаевичем Макшеевым, мальчиком знавшим Марию Владимировну и в Эстонии, и на сибирском поселении. Я горжусь тем, что имею его рассказы, автобиографическую повесть «У разбитого зеркала» — с дарственными надписями, интересные письма этого замечательного человека.

Я считаю Вадима Макшеева чудом. Пятнадцатилетним он был увезен на поселение, на гиблые торфяные болота Васюгана, похоронил там сестренку и мать (отец умер в лагере), остался один, прожил там среди сельских жителей (бывших раскулаченных) двадцать лет — и ничего не утратил из своей врожденной интеллигентности. Каковы сила наследственности и личная одаренность! Так остался жить в Сибири, в Томске, стал писателем. Я считаю, что знакома с ним лично: я видела его — очаровательного трехлетнего мальчика, сидящего на плечах у Ивана Давыдовича Гримма. Для прочности Димочка Макшеев всунул свои пальчики в уши Ивана Давыдовича, а тот крепко держал его свисающие ножки и, смеясь, показывал, что ничего не слышит.

Семья Гриммов была драгоценна еще и тем, что к ним приезжал Владыка Сергей Пражский. Что это был за удивительный епископ! В моей дальнейшей жизни мне посчастливилось видеть достойнейших архипастырей, но даже среди них епископ Сергей Пражский светится своей особой сияющей добротой, заботой о своих духовных детях, заинтересованностью в их судьбах. В первый свой приезд в Тарту он был с младшим сыном философа Петра Бернгардовича Струве — Аркадием, который нам всем очень понравился, и мы, вслед за Гриммами, звали его — Адя (теперь я знаю, что это дядя Никиты Алексеевича Струве). Тогда еще все было в семье Гриммов благополучно, хотя на сохранившейся фотографии Василий Александрович Карамзин стоит за стулом Марии Владимировны.

Очевидно, о трагических событиях и близившемся разводе писалось в письмах, и Владыка воспринял все, как обычную историю женской измены и полное непонимание святости брака.

\* \* \*

Весной 1929 г. я кончала гимназию, которая была уже городской, и предстоял экзамен по математике. Узнав об этом, ученики в панике бросились брать уроки — преподаватель математики был у нас очень несовершеннолетний. Большинство обратилось к молодому человеку, в силу обстоятельств не кончившему университета, но блистательно готовившему студентов по высшей математике. Я восприняла как чудо, что математика, казавшаяся мне непонятной и ненужной, вдруг стала осмысленной и гармоничной. Задачи на экзамене показались преувеличенно простыми.

Сразу после окончания гимназии, в начале июня 1929 г., мы с мамой поехали в экскурсию с Таллиннской Русской Городской Гимназией. На этот раз это были Австрия и Чехословакия. Чудо, а не экскурсия. После увлекательнейшей Вены мы ехали вдоль Дуная в чем-то очень стеклянном — я не уверена, но, по-моему, это был трамвай. Какой был противоположный берег, какие замки были на нашем пути! Одно только — Дунай голубым не был. И Братислава, и Брно были чудесны, но лучше всего были Татры. Горная гостиница была высоко на берегу озера (Штрбске Плесо — горный курорт). А кругом вершины!

Впереди была Прага. На маму была возложена миссия быть у Владыки Сергия, подробно рассказать ему трагедию семьи Гримм и постараться изменить его осуждающее отношение.

У меня были свои волнения: с осени шла переписка с Иваном Аркадьевичем — он помогал в работе школьного кружка. Предполагалась встреча. Где-то недалеко от Праги был съезд Движения.

Мы попали в Прагу в замечательные дни памяти Яна Гуса. Наши экскурсанты стояли на краю тротуара и смотрели на идущую мимо процессию. Шли молодежные организации — «Соколы» — лилово-красные ментики, соколиное перо на шапочке, «Орлы» — голубые ментики, орлиное перо. За каждым отрядом шли молодые девушки данного городка или местечка. Как яркие и хороши были их национальные костюмы с бесчисленным количеством накрахмаленных юбок, чуть выглядывавших одна из-под другой! Вечером, подсвеченные красными прожекторами, фонтаны казались гигантскими кострами!

Разговор Владыки Сергия с мамой был долгим. Сначала за чайным столом — так обычно всех принимал Владыка, сам хозяйничая, наливая чай и угощая вареньем. Потом я была отправлена на кухню, белоснежную и чистейшую, где отец Серафим, келейник Владыки, в большом медном тазу варил абрикосовое варенье. Я была представлена «тетечке» — хозяйке этой квартиры — старой, приветливой, очень Владыкой чтимой. В молодости она была певицей в театральном хоре. Из уважения к «тетичке» Владыка ничего не хотел менять в комнате. Поэтому там остались зеркала, очень меня вначале удивившие, и даже фотография молодой «тетички».

В конце 1994 г. я получила из Калифорнии от Ольги Петровны Раевской-Хьюз (бывшей в Тарту в октябре на конференции) сборник воспоминаний о Владыке Сергии Пражском, составленный ею. Какая это светлая книга! Я будто снова все увидела. . .

Отец Серафим был в прошлом белый офицер. Он и несколько молодых офицеров надеялись освободить царскую семью, но было уже поздно. К Владыке он попал в предельном отчаянии, на пороге самоубийства. Владыка его спас.

За два дня до отъезда группа нашей экскурсии, ходившей в обсерваторию, попала под грозовой ливень. Со-

вершенно мокрые мы вбежали в школу, где остановилась экскурсия. Встретившая нас тетя Зина сказала, что меня кто-то ждет. Это был Иван Аркадьевич.

Весь следующий день мы ходили по чудесной Праге. Иван Аркадьевич все время был с экскурсией, много говорил с мамой, был серьезный разговор со мной, очень меня перепугавший. На следующий день мы уезжали домой, в Эстонию. На вокзале нас провожали Владыка Сергей с отцом Серафимом, Владимир Николаевич Кульман и Иван Аркадьевич. Владыка широко перекрестил группу наших экскурсантов, не сводивших с него глаз, благословил маму и меня. Прощаясь, Иван Аркадьевич поцеловал руку не только маме, но и мне, чего не надо было делать. Все сразу же заподозрили что-то особенное.

Разлука была недолгой — с 4 по 11 августа проходил второй съезд РСХД в Прибалтике. Он был устроен в Печерах, в монастыре. Это был самый праздничный из всех прекрасных Прибалтийских съездов.

Печерский съезд был и самым многолюдным — около трехсот участников, половина из которых была из Латвии.

Докладчики были не только из Парижа — отец Сергей Четвериков, Лев Александрович Зандер, Лев Николаевич Липеровский, Иван Аркадьевич Лаговский, но и местные — епископ Печерский Иоанн, Василий Васильевич Преображенский и Александр Иванович Макаровский — историк, покоровший все сердца рассказом об истории Печерского монастыря, а затем и об Изборске, во время поездки на четвертый день съезда в Изборск. Все смотрели с Городища в сторону далекого Пскова. В хорошую погоду можно было видеть собор.

На съезде и в поездке был Павел Францевич Андерсон, верный друг русских и Движенья, директор издательства ИМКА-ПРЕСС. Чудесно сказано о нем в книге Б. В. Плюханова: «Он впился биноклем в белое облачко-храм, долго внимательно рассматривал его, потом опустил бинокль, перекрестился православным крестом и сказал: "Сподобил Бог!"»

В предпоследний день съезда исповедь началась во время всеобщей и продолжалась до двух часов ночи. На следующий день почти все шли к причастию.

Осенью я поступила на филологический факультет. Была наивна и неосведомлена, воображала, что это изучение поэзии и литературы. Разочарование было полное: это была латынь и праславянский язык и лекции Стендера-Петерсона, тогда уже известного ученого, ужаснувшего меня своим «формальным методом». Дополнительно я записалась на «Историю искусства» — это было утешением — и бегала на лекции швейцарского физиолога Флейша. Моя двоюродная сестра Таня тогда училась на медицинском факультете и очень его хвалила. И немецкий я не так-то знала, и к медицине была равнодушна, но какое удовольствие и счастье слушать талантливого человека!

Я сразу же вступила в «Общество русских студентов», и как это было хорошо и интересно. Освоиться с «Обществом» всем новичкам помогал Митя Игнатов-Зея — такой душа-человек! — добрый и остроумный, не устававший возиться с новичками.

\*\*\*

С 3-его по 5-е января 1930 г. в Латвии, в Режице был Религиозно-Педагогический съезд. В нем принимало участие около 80 человек из городов Латвии и Эстонии (Валка, Нарвы, Печер, Ревеля и Юрьева). Руководили съездом Лев Александрович Зандер, который был тогда секретарем Прибалтики, и приехавший из Парижа Иван Аркадьевич Лаговский. Участниками были педагоги, студенты и школьники.

Очень хороши и интересны были доклады, но в моей памяти остались вечерние прогулки с Иваном Аркадьевичем. После съезда он уехал в Латвию, выступал с докладами о положении церкви в Советском Союзе, о борьбе с неверием. В начале февраля он приехал в Тарту, жил у Гриммов, день проводил у нас. Еще стояла нарядная, по вечерам светящаяся и звенящая елка. 8-го февраля он уезжал в Париж. По просьбе Ивана Аркадьевича в этот вечер у нас был отец Анатолий Остроумов, который и совершил обручение. Сияла огнями елка, на наши левые руки были надеты кольца. Долгие годы я разбирала елку только после 8-го февраля.

Иван Аркадьевич делал по пути остановку в Валке. Там замечательная семья Желниных — четверо детей студенческого возраста — создала кружки Движения. Иван Аркадьевич очень жестикулировал, когда говорил. Мне не хотелось, чтобы увидели кольцо, и я забинтовала ему

палец. Просила его держать руку в кармане, хотя это и не полагается. Ничего не помогло — его поздравляли, рука была сразу же разбинтована.

\* \* \*

В марте наша жизнь совершенно изменилась: мама на три месяца была назначена заместителем главврача туберкулезного санатория в Таагепере (на юге Эстонии). Я бездумно бросила университет и апрель, май, июнь прожила с мамой в Таагепере. Вокруг санатория, который размещался в замке, был парк, переходящий в лес. В первый раз в жизни я видела весну — каждый ее шаг. Незабываемо!

В конце июня приехал Иван Аркадьевич. Поселился внизу, в поселке. В июле — с 20-го по 30-е — в Пюхтицком монастыре должен был быть третий Прибалтийский съезд Движения.

Больные в санатории очень полюбили маму. Маленький автобус, который должен был отвезти нас до железной дороги, — был полон цветов. Маму провожали молодой врач и представитель от больных. Все заранее было обдумано: на полпути, в районном управлении, была наша регистрация. Провожающие маму были нашими свидетелями, цветы говорили сами за себя.

Регистрацию мы браком не считали. Иван Аркадьевич поселился, как и прежде, у Гриммов, а потом уехал на деловой съезд, который был в Пюхтицком монастыре. Было 70 человек — делегаты из Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии и Франции. С 24-го начался собственно съезд. На него приехало столько народу, что он оказался таким же многочисленным, как и Печерский.

Начался съезд трагически — во время литургии первого дня привезли гроб со сгоревшим мальчиком.\* После литургии, открывавшей съезд, была заупокойная литургия и похороны. Это придало особую серьезность съезду.

---

\*Недавно в тартуской «Русской газете» от 21-го февраля 1995 г. педагог Светлана Ситникова рассказала о своих родных, прекрасной нарвской семье, очень мне близкой (две дочери-движенки, сгоревший мальчик — их брат): «Заходила гроза. Надо было спешно сгребать сено. Толе очень не хотелось идти, но отца не ослушаешься. Молния ударила в граблевище, когда брал охапку сена. Вспыхнул факелом».

Съезд проходил все время на открытом воздухе, на лужайках. Часто над нами кружил военный самолет. Это всех встревожило, а оказалось, что муж одной из участниц съезда был военным летчиком и так приветствовал свою милую жену.

После съезда Иван Аркадьевич опять жил в замечательной семье Гриммов, ставшей теперь очень «мужской»: Марии Владимировны больше не было — она жила в Кивиыли, став женой Василия Александровича Карамзина.

6-го августа 1930 г. в Тартуском Успенском соборе было наше венчанье. Парижане еще не уехали, и нас венчал о. Сергей Четвериков, посаженными отцами были Василий Васильевич Зеньковский и Давыд Давыдович Гримм. Главными шаферами были Иван Давыдович Гримм (хотя разведенному это не полагается) и Митя Маслов. Свадебное застолье было у нас, мы использовали для этого и квартиру наших эстонских соседей. Говорились веселые и остроумные речи. Василий Васильевич сказал, что все привыкли к тому, что Тамару похищает демон, но тут утешает то, что похититель из Аркадии, т.к. Аркадьевич! Все гости провожали нас на ночной поезд. Мы забыли большую корзину со всякими вкусными вещами, приготовленную для нас мамой, и в дороге утешались яблоками, поднесенными нам в Риге движенцами. Были накормлены в Берлине — между поездами — в прекрасной семье Владимира Сергеевича Слепяна, который был руководителем «Витязей». Так как их квартира оказалась в 1945 г. в советской зоне Берлина — Владимир Сергеевич отбывал срок в сибирских лагерях.

Иван Аркадьевич говорил, что у него было чувство, что он женился на новорожденной — так неостановимо я плакала всю дорогу. Я не могла понять, как я — уже взрослая (месяц, как мне исполнилось 19 лет) — могла променять свою маму, друга моего — на этого, наверно, хорошего, но чужого человека.

В Париже, на Северном вокзале, нас встречала Аня Смирнова, наша таллиннская движенка, — с ключами от квартиры Милицы и Николая Зерновых, которые на месяц уехали на Корсику и позаботились, чтобы у нас было пристанище до отъезда тоже на юг.

В Париже я прожила три с половиной года из десяти лет моего по-настоящему счастливого замужества.

## ПИСЬМА А. С. ШИШКОВА К ЖЕНЕ

(1797 – 1798 гг.)

Часть 2\*

Л. КИСЕЛЕВА

7

Дрезден Февраля от 21 числа 1798 года.  
Друг мой Дарья Алексеевна! Я получил от тебя почти вдруг два письма, первое писанное от 10 го генваря пришло ко мне третьява дни, а другое от 26 числа того же месяца, получил я севодни. Благодарю тебя, что ты часто ко мне пишешь, только жаль, что по незнанию о месте пребывания моего посылаешь их через Вену, отчево оне очень долго до меня идут. Первое письмо с лишком месяца было в дороге, а ежели бы послано было прямо в Дрезден, то бы через шестнатцать дней могло притти. Теперь уж ты знаешь, где я, и последнее твое письмо было писано тогда, когда уже письма мои из Вены были близко Петербурга: ибо ты пишешь от 26, а курьеру по моему расчоту надлежало быть 27 или 28 в Петербурге. Последнее письмо к тебе и к брату послал я отселе с офицером нашим Сент-При<sup>1</sup>, которое надеюсь ты дней через шесть получишь. Ты пишешь ко мне, что братнина свадьба отложена до моего ответа. Я очень благодарю брата за ево дружеское ко мне в таком деле уважение, но впрочем ежели подлинно он только для одново етова не сделал ее прежде, так уж его назвать можно излишним. Он знает, что всякое ево желание не может мне быть противно, как скоро он находит в том свое щастие. Надеюсь, что вы прежнее мое письмо верно получите, я об етом не распространяюсь; а только пожалуйста уведомите меня о всем, что до сего касатся

---

\*Часть 1 см.: Труды по русской и славянской филологии: Литературоведение. – 1 (Новая серия). Тарту, 1994. С. 215–241.

будет, но обстоятельнее, потому что это меня очень интересует. Ты писала ко мне о денгах: ежели ты можешь сама без нужды обойтись, то пожалуй дай: я охотно на это соглашаюсь. Жаль мне, что я во время отправления отсель курьера об этом не знал, а то бы прислал отселе таких вещей, которые по нужнее для сего случая; но я получил ваши письма уже спустя несколько дней после курьера; однако может быть из посланных к тебе вещей чтонибудь для етова годится. — Ну мой друг, теперь скажу тебе как здесь поживаем. В прошедшее воскресенье вздумал я представится здешнему двору. Поутру представлен был венским посланником (для того что наш болен) Курфиршту<sup>2</sup>, жене его, сестре, двум братьям и их женам<sup>3</sup>. Все они удостоили меня своими разговорами. Вечеру был на куртаке, или по здешнему на парламенте, где пригласили меня с Курфирштиною играть в карты, в вист один роберт. На кануне того дня разослал я ко всем билеты, и ко мне также все прислали. После того звали на некоторые в здешних знатных домах собрания, а третьява дни у Курфиршта обедал. Завтра обедаю у венскаго посланника, а на вечер зван к первому здешнему министру Лосю. Хотя я в единственном говорю, однако нас двое, потому что где я, там и Павел Иванович, об этом ты можешь сказать батюшке его и матушке, что я без него никуда не езжу. Часто у меня спрашивают: Ето ваш сын? а Курфирштина аногдась у меня спросила: Ето атьютант ваш? — Поклонись пожалуйста от меня Ивану Павловичу и Анне Петровне и скажи им, что б они не взыскали на мне, что я к ним особливых писем не пишу, а впрочем были бы уверены, что я всякое попечение о сыне их имею. — Теперь настал пост<sup>4</sup> и все здешния веселья прекратились: и так мы вечер почти всякой день проводим у министра нашего Местмахера, к которому часто приходят ктонибудь из посланников, или здешних, по полтине играть в рокомболь. Анагднясь речь дошла до Александра Ивановича и Катерины Алексеевны, он мне сказал, что с ними очень знаком по Остерманову дому и просил, что б я написал к ним поклон, также и к Натальи Ивановне с которою говорит, что часто игрывал в рокомболь. — Он старик очень доброй, и я его люблю. — До етих пор было здесь время все худое, мокрое; а дни с четыре тому назад сделалась прекрасная погода и так тепло и сухо, как у нас в июне месяце: я очень был рад етому и всякое утро ходил пешком гулять. Вчера попалась мне на встречу принцеса

Марияна, Курфирштова сестра, которая кажется предобрая и преласковая: она остановилась и долго со мною разговаривала. Окрестности здесь довольно хороши, и город невелик, что тотчас выдешь в поле, а это и хорошо для пешеходной прогулки. Здоровьем своим хотя я не могу похвастать, ибо случаются такие времена, в которые тож все со мною делается что и прежде, однако ж не так часто и не так сильно: покрайней мере лекарства не всегда бывают нужны. Впрочем все ково я ни вижу единогласно советуют мне ехать в Карлсбад, только не прежде июня месяца, и что б наблюдать строгой диет. Но так как это еще не от меня зависит, то не умею тебе ничево об етом сказать. — Ну моя душа, кажется все что на ум мне взбрело, я к тебе написал. — Прощай севодня. Пора ложится спать.

22 числа.

Я лишь теперь отобедав у венскаго посланника приехал домой, и так как почта отходит отсель завтра поутру рано, то я и спешу отослать ето письмо севодни, дабы завтра не опоздать. Казаринову от меня поклонись и поблагодари за приписку. Я желаю, что б тот соус, о котором он ко мне пишет, был ему всегда вкусен и не произвел ни малаго уменьшения в веселости его нрава. — Поклонись также Якову Ивановичу и всем моим знакомым. Катерину Алексеевну благодарю за приписку. Очень мне жаль, что вы теперь все вместе, а меня с вами нет; но так и быть. Прощай, моя душа. На етих днях ожидаю от тебя писем в ответ на те письма, которые ты с посланным отсель от меня курьером чайтельно получила, равно как и посылки, которые из Вены и отселе я послал. Засвидетельствуй от меня мое почтение Ивану Логиновичу и Катерине Ильинишне; также Осипу Михайловичу, коли его увидишь. Бог с тобой, будь здорова.

А. Ш.

Любезному брату Ардалиону Семеновичу приношу мой поклон. Я надеюсь, что ты письмо мое скоро получишь, оно послано с офицером нашим Сент-При; а за тем желаю тебе всево тово, чево ты сам себе желаешь. Только прошу уведомляй меня по чаще, что с тобою делатся будет, дабы я обо всем подробнее знал; а ежели тебе будет некогда, так заставляй Дарью Алексеевну. Про-

щай, братец, будь здоров и люби вернаго своего друга  
Александрю

P. S. Забыл еще сказать тебе, друг мой Д. А. Ты все хлопочешь о доме. Хорошо коли найдешь гораздо по лучше етова и недороже тысячи рублей, а коли в етакую цену не сыщешь, или и сыщешь, да не лучше, то я бы по тех пор советовал оставатся в етом. Впрочем я отдаю тебе на волю, что хочешь, то и сделай. Я бы желал, что б вы с Ардалионом как нибудь сладили, что б жить не порознь, когда намерение его окончится, разумеется, ежели ето будет возможно и удобно: ибо мне кажется можно в етом и ему и нам найти свои выгоды. —

8

Дрезден, Марта 3/14 дня 1798 году.

Друг мой Дарья Алексеевна. Кучку писем твоих в торопости писанных я получил, и тебя за оныя благодарю. Ты уведомляешь меня о найме дома, а не пишешь чей он, то я и не знаю как на етом письме сделать надпись; надпишу в старой дом и поставлю побольше подателю, что б не поленился тебя от искать. В последних письмах своих ты беспокоишься, сомневаясь, все ли письма твои до меня дошли. Все, мой друг, только я получил их поздно, потому что оне делали не малой крюк, идучи сюда через Вену. Теперь уже ты давно о пребывании моем известна, и так нет никакой надобности посылать их через Вену, а пиши прямо в Дрезден на имя посланника нашего Местмахера. Я очень рад, что ты все посланные от меня вещицы получила. Благодарю за присылку денег, которые я получил исправно, а что ты удивляешься зачем я об них писал, то моя душа скажу, что здесь живучи денежки надобны, а что ты говоришь со мною их много, так то не мои. На содержание мое и на проезды жалует мне государь, но когда захочется что на свои прихоти издержать, на то надобно иметь свои собственные. Думаю я запастись здесь столовым бельем и рубашками, потому что сии вещи здесь славятся, однако ж так как я цены им хорошенько не знаю, то и не худо ежели б ты меня об етом уведомила приценясь в Петербурге. Здесь скатерть в 18 локтей длиною с четырьмя дюжинами салфеток, самая тонкая и хорошая стоит 325 рублей; штука полотна тонкаго почти как батист и плотнаго в шесдесят локтей (или аршин) сто дватцать рублей. — Ето главныя вещи. Впрочем ежели тебе что на-

добно, то не худо ежели бы ты той вещи, которую иметь желаешь, прислала образчик и назначила петербургскую цену; я бы по етому образчику мог приискать и увидеть, сходно ли ее купить здесь или нет. — Я прилагаю при сем образчик полотну, из котораго ты увидеть можешь, как оно в сравнении с петербургскою ценою. — Теперь могу я тебя обстоятельнее уведомить о моем пребывании. Я получил позволение ехать в Карлсбад, но так как воды пить начинают не прежде июня месяца, то и думаю я оставатся до тех пор в Дрездене, а в половине или в исходе мая ехать туда. Между тем хотелось бы мне для себя самого (а паче для Павла Ивановича) съездить в ближайšie отсель города, как то Лейбциг, Гамбург и проч., что б из любопытства побывать в них; и хотя кажется по данному мне позволению оставатся здесь до моего излечения могу я сие сделать, однакож поелику я имею еще время исполнить сие по получении ответа, того ради лучше разсудил я об этом спросится. О сем писал я к Петру Алексеевичу Обрескову<sup>5</sup> и письмо сие здесь прилагаю, отошли к нему; а буде паче чаяния он болен и никуда не выезжает, так как при отправлении курьера он лежал в постеле и насилу мог несколько строк написать ко мне, в таком случае съезди ты к Ивану Павловичу и поговори с ним об етом. Буде по его мнению надобно будет о том доложить, так по проси его, что б доложил. Впрочем так как сии маленькие поездки касаются до собственного нашего любопытства, то мы их на собственной свой щот сделаем, а предприть и кончить их успеем потому, что в Карлсбад не прежде начинают съзжатся как в начале июня месяца, и так до тех пор мне ехать туда не зачем, а надобно дождатся того времени. — Меня Карлсбадскими водами многие здесь ободряют, а многие и пугают: говорят что действие их сильно, и что от многих болезней оне пользуют, однако ж не редко и вред приключают, а особливо ежели чуть кто от строгаго диета себя не воздержит. И так во все время приготавлиуюсь я осудить себя на всякое терпение и воздержание в пище, и все то с точностию исполнять, что мне предписывать будут. — По сие время благодаря бога я довольно здоров, хотя припадок мой не проходит и не могу обходится без помощи лекарств. Сырая и холодная погода не позволяет еще много ходить пешком, однакож провертываются иногда и такие дни, в которые я стараюсь делать сие движение. Не далеко отселе есть сад или роща наполненная фазанами, а как я до всяка-

го рода птиц охотник, то часто хожу туда смотреть как они там летают и разгуливают. Ныне продолжается здесь экспозиция: то есть всякаго рода художники приносят все свои работы, которые они в течение года сделали, и выставляют их в отведенном нарочно для сего доме, на показ публике, и можно туда ходить всякой день по утру и после обеда. И так мы часто туда ходим, хотя и нет отменно хороших работ, однако ж довольно любопытно все сие видеть и читать имена, кто что сделал. Вот напрасно ты не пришлешь сюда соломенных своих картин<sup>б</sup>, я бы их выставил. Между прочими вещами полюбился мне вышитой шелками фазан, и мне бы хотелось его купить, да не могу добиться толку продают ли. — Поклонись от меня Катерине Ильинишне, и поблагодари ее за письмо, которое, как кажется мне, писала она прежде, нежели мое письмо получила. Скажи ей что я во всех ее печалях или радостях истинное участие приемлю. Также по благодари Данилу Григорьевича за напоминовение обо мне. А Катерине Александровне скажи, что я десять червонцев ее получил, и буду стараться исполнить ее приказание, только истинно не знаю, что купить; янтаря здесь нет, однако ж денежки ее худо ли хорошо ли, но будут во чтонибудь превращены. — Поговори брату Ардалиону, что б он с Галициным сделался, как можно будет без убытка. — Крайне досадно мне слышать, что ты в письмах своих жалуешься на людей; что они пьянствуют, и что делаются в доме некоторые пропажи. Ежели наемные делают, так можно их тотчас согнать, а ежели свои, так попроси ковонибудь, что б их хорошенько наказали. Воровства ненадобно ни когда оставлять без отыскания, и кто хоть раз у меня в етом приличится, тово уж я ни под каким видом держать не стану. — Ну прости, моя душа, бумаги уж немного остается, а мне хочется еще на щот Катерины Алексеевны немножко погулять.

Матушка Катерина Алексеевна, нынешняя — право, не знаю как назвать — и будущая — также не знаю. — Письмо ваше отдал я Местмахеру, и позвольте мне здесь на происходившую при етом акцию сделать некоторую обсервацию, и объявить вам мою спекуляцию. Он бедной болен в подагре, однакож когда получил ево, то откуда взялись ноги, какие пошли рассказы о гуляньях по дачам, о почтении, какое он к вам имеет, и что по вас может судить какая любезная женщина должна быть моя жена, по елику она вам сестра и проч. и проч. и ето с таким восторгом, с

таким удовольствием изъясляющим видом, что подагра при сих воспоминаниях уже ни под каким видом не осмелилась ни одной черты лица его наморщить. Одним словом старик мой сделался в пятнатцать лет. Воля ваша, а такое нежное напоминание о давно прошедшем времени — хоть кому в глаза бросится. Да и письмецо ваше, коли его по внимательнее разобрать — значит нечто: тут пришлось какая то чашечка, да уж я ныне со всем не та, и вы бы меня не узнали — подобныя выражения — одним словом, сказать пословицею Александра Ивановича — ой жена, ну уж что говорить! — однако шутки оставя, он право вас очень помнит и почитает, и хотел к вам сам писать, а между тем просил меня вам кланяться и Александру Ивановичу тож. — Прощайте, кланяйтесь от меня Александру Ивановичу, а любезному брату Ардалиону поручаю поклонится от меня Софье Александровне.

Р. S. Образчики положу: 1й сто дватцать рублей 2й сто десять.

Может быть Петр Алексеевич, или Иван Павлович, скажут, что это такое дело, о котором нет никакой надобности докладывать, и что это само по себе разумеется, в таком случае ты только не замедли меня уведомить о их ответе. Да также на прошедшей почте писал я к Григорью Григорьевичу Кушилеву<sup>7</sup> письмо о книгах, и может быть ему не удастся скоро ответ ко мне написать, то справя только получил ли он это письмо и меня о том уведомь.

9

Дрезден. От 19 марта 1798 года.

Друг мой Дарья Алексеевна. Я уже начинал скучать, что так давно не имею от тебя писем; однако ж вчера получил, писанное от 2 марта, и сколько сперва ему обрадовался, столько после опечален был услыша о болезни Катерины Алексеевны. Усердно желаю, что б сие мое письмо нашло ее совершенно здоровою. Не знаю душа моя для чего тебе вздумалось послать ко мне письмо в Карлсбад. Я не прежде думаю ехать туда, как в половине мая, да ежели бы и уехал туда, то лучше бы было сюда написать, потому что отсюда ко мне тотчас бы переслали зная где я, а там никто не знает, что я за человек, и где нахожусь, то и не могут ево прислать сюда. Однако ж ежели оно не пропало, так я постараюсь ево отыскать. Катерину Ильинишну поблагодари от меня за приписку в твоём письме, и скажи,

времени еще столько же заберет, то на весь вояж его, на содержание как его так и человека его, из отпущенных с ним денег не останется более двух сот червонных. Из етова они увидеть могут надобность прибавки. Буде же Ивану Павловичу и Анне Петровне покажется, что я сыну их на собственные издержки и покупки много даю, то я и так за ето на него иногда ворчу, однако ж полагая, что сумма ета не такая большая, за которую бы они на него подосадовать могли, не препятствую ему в его желаниях. Вот, мой друг, что ты им сказать от меня можешь, а лучше ежели письмо сие им покажешь, дабы они знали à peu près во что им вояж сына их обойдется.<sup>10</sup> — Ну что ж мне еще к тебе написать, кажется мне уж я в письмах своих обо всем тебя уведомил, что мы здесь делаем и как поживаем. Через две недели будет в Леициге, (которой отселе верст семдесят) ярмонка; и так мы собираемся туда ехать, а потом возвратимся опять сюда, и отселе уже поедем в Карлсбад. Я с нетерпением буду ожидать от тебя писем, что б знать получаешь ли ты мои письма, которые я по почте тебе писал, также что б услышать лучше ли Катерине Алексеевне и совсем ли она выздоровела. По проси Якова Ивановича, что б он поклонился от меня Петру Алексеевичу Обрескову. Прощай мой друг. Кланяйся брату Ардалиону и всем нашим.

Верной твой друг А. Ш.

Дрезден. Марта 25 дня 1798 году.

Друг мой, Дарья Алексеевна. Я недавно к тебе писал и теперь опять начинаю, только не знаю когда к тебе ето письмо пошлю; стану продолжать покудова по больше накопится, а между тем ты подробнее будешь знать о приключаяющихся со мною обстоятельствах, и о местах, где я теперь нахожусь. Теплой севоднишней воздух и ясная погода поутру вызвали меня со двора. Зашли мы к Местмахеру, которой садился в карету с тем, что б ехать загород прогуливаться. Он пригласил нас сесть с ним, на что мы согласились и поехали четверо: он, дочь ево, я и Кутайсов. Выехав загород и проезжая чрез весьма приятныя поля доехали мы до местечка называемого Реизевиц, где находится изрядной домик и сад, куда летом многие ездят прогуливаются. Не подалеку от сего местечка начинается лежащая между высокими горами узкая и далеко простирающаяся долина, известная под именем *Valée de*

ploun<sup>11</sup>, и весьма прекрасная: горы идущие по обеим сторонам оной инде усыпаны большими деревьями, а инде суть каменные превысокие утесы, на которые смотреть страшно, и коих подошву омывает текущая по долине быстрая речка, называемая Веизериц. На крутизнах гор и в низу оных встречаются во многих местах селения, дома, мельницы, и не большие садики с плодовитыми деревьями. Чрез сию речку, неподалеку от местечка Реизевиц, сделан на арках прекрасный каменный мост с железными перильцами. Строитель сего моста был некто майор Винтер, котораго неприятели старались распусть слух, что мост сей непрочен построен, и что при малейшем наводнении сей речки быстрина воды его изломает. Винтер услыша о сем велел в стену сего моста вколотить железный крюк, с тем что б его на оном повесить, как скоро мост водою поврежден будет. Сей крюк и теперь торчит в стене, хотя Винтер уже давно умер, и не было никогда нужды совершить сей его строгий суд самому себе изреченный. В нескольких саженьях от сего моста сделан каскад, по которому вода быстро течет, и как по сей реке сплавливают в город дрова, то оные безпрестанно по ней плывут и падают с сего каскада, что делает зрелище сие и приятным и забавным. Обрадовавшись толь теплаго дня долго мы прогуливались по сей долине и нарвали несколько полевых цветков, начавших изрядно показываться. Напоследок поверотясь назад заехали мы в Реизевиц, где сидя в саду написались кофию, и поехали обратно в город. Стобедали у князя Путятина. После обеда пошли пешком в одно из предместий здешних, называемое Фридрихс-штад. Это также весьма изрядная прогулка: вышед из городских ворот войдешь тотчас в Цвингер: сим именем называют некоторой замо́к, или немалую площадь окруженную зданиями, позади которых идет канал одетый камнем. В сих зданиях помещены кунсткамера, кабинет эстампов, большой зал для публичных собраний и проч<sup>12</sup>. Прошед в ворота сего замо́ка и по мосту чрез помянутый канал, и поворотя в правую руку представляется длинная улица, усаженная по обеим сторонам толстыми и высокими деревьями, составляющими прекрасный прешпект простирающийся до вышеупомянутой речки Веизериц, протекающей мимо Фридрихс-штада и впадающей в реку Эльбу. Между прочими домами и строениями, простирающимися по обеим сторонам сего прешпекта или алеи, находится длинное здание, в котором хранятся в горшках лимонныя, апель-

синья и других разных родов дерева, кои летом выносятся оттуда и обставляется ими площадь Цвингера. Прошед сию оранжерею встречается небольшой летний домик принца Максы<sup>13</sup> с садом позади онаго и весьма приятными местами простирающимися до самой Эльбы. От сего домика поворота в лево и прошед по каменному мосту, идущему чрез речку Веизериц, придешь в предместье Фридрихс-штад, от котораго в правую руку до реки Эльбы лежит обширный луг с прешпектами, идущими в разные стороны, усаженными по обеим сторонам высокими деревьями, и составляющими весьма изрядныя места для прогулки. Проходя тут до самого вечера на возвратном пути зашли мы к Местмахеру, и потом пришли домой, где я взял в руки перо и ну к тебе писать. Ежели всякой день по столько буду марать, то напоследок столько накопится, что ты и в неделю не прочитаешь. Прощай, моя душа.

от 28 числа.

Поздравляю тебя, мой друг, с севоднишним праздником, светлым воскресением. Желаю, что б ты проводила его весело, и что б Катерина Алексеевна после болезни своей став здоровее прежняго в состоянии уже была качаться на качелях и скакать на доске. Любезнаго брата Ардалиона и Софью Александровну поздравляю с радостию, что пост прошол. — Мы здесь также постились и ходили в церковь, которая в доме у нашего посланника, маленькая, но весьма изрядная. Кутайсов говел и приобщался, а я нет; однако севодня был у обедни. Вчера в вечеру ходил я в католицкую здешнюю церковь слушать огромной музыки и пения<sup>14</sup>; севодня по утру там же был, и прошол оттуда во дворец с поздравлением к Принцу Антонию, у котораго на сих днях родилась дочь, потом на половину к Курфиршту для поздравления его с праздником. Обедали ж мы все, сколько здесь есть русских, у Местмехера. Севодни, как и у нас, все было здесь в самом величайшем наряде. Курфирштская фамилия вся в брильянтах, придворныя дамы в богатых робах, посланники и весь город в лучшем своем одеянии. Гвардейской полк в параде: сей полк весьма хорошо одет и состоит из крупных и видных людей. Только придворные швейцары одеты были очень странно: в желтых коротеньких платьях с басонами,<sup>15</sup> в парике весьма бело на пудренном и причосанном в пять

или шесть пуюль одна над другою, с маленькою на голове треугольною шляпою. — Прощай, моя душа, пора спать.

от 30 числа.

Погода здесь стоит прекрасная: дни такие как у нас в июне месяце. Я всякой день хожу раза по два за город: давич поутру был в Неиштаде<sup>16</sup>, то есть в части города лежащей по другую сторону Ельбы. Туда идешь через каменной широкий мост, и такое здесь обыкновение, что те, которые туда идут, должны итти по одну сторону моста, а те, которые оттуда, по другую, дабы не толкать друг друга идучи навстречу. В Неиштад многие ходят прогуливатся, и я долго ходил пользуясь теплотою воздуха, а напоследок зашел посмотреть Курфирштовой охоты, то есть собак, которыми травят диких кабанов. Из них есть очень хорошие, но как я до етова не большой охотник, то и не слишком ими любовался.

от 31 числа.

Севодня проводил я своего Кутайсова с Крепышем, которые отсель поехали на неделю места или дней на десяток, я остался один с лекарем. Обедал я у Местмахера. После обеда наняли мы коляску и поехали гулять: сын Местмахеров, я и лекарь, доехали до местечка Лошвиц, которое лежит отселе верстах в пяти. Входили на высокую гору откуда Эльба далеко в обе стороны видна, также город и многия окрестныя вокруг его места. Прекрасным етим видом долго я утешался. Крутизна гор, на которых мы были, вся обработана под виноградную садку, так что нет ни где сажени невозделанной земли; только лесу здесь мало, и ето отнимает много приятности.

Апреля от 3 числа.

Севодня обедал я во дворце у Курфиршта<sup>17</sup>, и коли хочешь расскажу тебе все происходившее: поехал я туда в час и три четверти. В первой комнате, в которую входишь, расположен фронт солдат с офицером; прошед еще два большие покоя придешь в ту комнату, куда по утрам обыкновенно все собираются, а по вечерам играют в карты. В ней никаких украшений нет, кроме тканых обоев и простых часов в углу стоящих. При дверях, которые ведут во внутренние покои, стоят два поляка, одинакаго стана,

роста и даже лица; толстые и высокие мужичиницы, одетые в турецкое желтое платье. Курфиршт вышел подошел ко мне первому разговаривать, потом к каждому из предстоявших; поговоря откланялся, и пошел назад в те двери, из которых вышел. Мы званные к обеду пошли все наверх в столовую комнату. Мне указали место подле Курфирштши. Через две или три минуты Курфиршт с фамилиею своею пришел к столу. Он сел посредине, по левую руку у него сидела сестра его, а по правую дочь. Против него на другой стороне Курфирштша. Перед ними были золотые приборы, а перед прочими серебряные. За стульями у него и у жены его стояли по два пажа, одетые в серинькие кафтаны с серебряными галунами. За сестрою и дочерью по одному таковых же пажу. За обедом Курфирштша много со мною разговаривала. Встав из за стола вышли в другую комнату, в тронную, где Курфиршт и сестра его подходили ко мне разговаривать: он спрашивал о плавании по балтийскому морю и о кораблях наших, а она подавала мне советы и какой наблюдать диет. После сих разговоров они откланявшись пошли во внутренние свои покои, а я поехал домой. — Ну, душа моя, кажется мне, я довольно тебе всяких историй насказал. Только скучно мне, что давно от тебя не имею писем, а вос्लीбо на будущей почте получу. Прощай и будь здорова.

От 4 числа.

Пора бы уж его письмо и отправить к тебе, но все дожидаясь не получу ли между тем от тебя писем. Погода здесь все стоит прекрасная. Севодни после обеда ходил я прогуливаться по берегу Ельбы, и зашел в один сад известный под именем бань, потому что тут есть ключ, из которого воду употребляют для ванн, почитая ее целительною<sup>18</sup>. В этом саду по воскресениям бывает музыка, и туда собирается разной народ, по большой части ремесленники и мещане, которые тут с женами и детьми ходят, а иные сидят за разставленными столами и попивают пиво из жестяных кружечек. Простой народ одевается здесь не токмо опрядно и чисто, но даже и нарядно; только уж лишней копейки в день не проест. Очень удивительно от чего здесь такое множество уродов. Когда на гулянье много людей бывает, то по крайней мере встретятся с тобою человек дватцать горбатых, карлиц и кривоногих,

а особливо робят; также с зобами на шеях. — Окончал я севодняшней день тем, что идучи из етова сада зашел я к Англинскому посланнику Элиоту, у котораго напился чаю, и прошел к Местмахеру, где остаток вечера проводил игрою в рокомболь.

От 5 числа.

Вчера некто князь Черторижский был у меня с визитом, и так я севодни поутру ходил к нему для возвращения онаго. Обедал дома. Вечеру был у датского посланника Биллоу, у котораго было большое собрание; ужинали на двух столах. Вечер провели игранием в карты. Обыкновенныя игры здесь вист и рокомболь. Игрою занимаются не токмо все мущины и женщины, но даже и девицы. Мы играли в рокомболь четверо: баварской министр граф Шаль, ГанOVERской Бревер, я, и некто гишпанец маркиз де Круа. — Однако со всеми ужинами здешними мне очень скучно, мой друг, что я так давно не получаю от тебя писем. Ежели бы ты после последняго письма своего хотя через две недели отписала, то кажется надлежало бы уже мне ево получить. Не знаю что и думать.

От 9 числа.

Я уж собирался было ето письмо к тебе послать, как вдруг приехал сюда Неплюев, и так как он завтра прямо отселе едет в Россию, то я посылаю оное с ним. Спешу только приписать к тебе несколько строк, и за хлопотами едва слова два сказать успею, для того что вчера он и еще человек десяток у меня обедали, а в вечеру были в гостях у одного Англичанина, от котораго я поздно возвратился. Севодня с самага утра все ездил с ним по городу, что б успеть показать ему здешняя любопытства достойныя места. Также очень поздно возвратился домой, и завтра надобно по ранее опять ездить, для того что он в полдень спешит отселе уехать. — Приложенное при сем письмо отдай Катерине Ильинишне. Посылаю к тебе миниатюрной мой портрет. Списывал его с меня Похман<sup>19</sup>, и хотя он славится етою работою, однако ж кажется меня не потрафил. Может быть есть некоторое сходство, но карактер в лице совсем не мой. Павл. Иван. он лучше написал; тот портрет свой послал с фелдъегерем Беринсом в Берлин, думая что оттуда скорее будет случай его переслать: не знаю, получен ли он в Петербурге. Прощай, моя душа.

Апреля от 10 числа поутру.

Письмо мое уже было запечатано, и уж я проснувшись севодня собирался итти со двора, как вдруг принесли ко мне твое письмо, которому я очень обрадовался. Ты пишешь мой друг, что б я тебя уведомил о моем возвращении, но теперь я тебе еще ничего верного сказать не могу, а еще успею написать об етом из Карлсбада. Очень рад, что вы уже переехали в новой дом, и что Катерине Алексеевне есть легче. Любезнаго Якова Ивановича благодарю за приписку. — Прощай, мой друг, больше теперь писать некогда, спешу запечатать опять письмо, и ехать опять с Неплюевым; так как я вчера назначил ему час, в которой буду, то чаю он меня уже ждет. —

12

Дрезден. Маия 4 числа 1798 года.

Друг мой Дарья Алексеевна! Между последним письмом, которое писал я к тебе с Неплюевым и теперишним ты не получишь от меня никакова известия и может быть будешь скучать. Что делать, моя душа, так случилось, что я отъезжал на короткое время в Леибциг посмотреть ярманки, и очень доволен, что там побывал. Прекрасной городок, и так много всякаго рода хороших вещей, что загляденье. Между тем получил я от тебя два письма и очень обрадовался новости, что брат Дмитрий пожалован в полковники; только для чего ты не уведомила меня, получаешь ли ты от него письма, и там ли он остается, или в другое какое место переведен будет. В последнем письме своем ты скучаешь, моя душа, что я не буду нынешнюю компанию на море. Как же быть, мой друг; двух дел вдруг делать нельзя: очень я и сам сожалею о том, что не буду, но впрочем и здесь я не для собственных нужд своих живу. Сколько для поправления своего здоровья, а больше того за делом и притом очень заботливым, и так почему же должен отчаяваться в милостях? На конец скажу тебе, что я в подобных случаях никогда ничего не ищю, и расчотов никаких не делаю, а полагаюсь всегда на волю божию и что случится, тем и доволен. Советую и тебе также думать. Также изъявляешь ты, что возвращение мое в Россию не так скоро будет, как ты думаешь. Об етом и я, мой друг, очень скучаю; не легко мне жить здесь одному, порознь с тобою, и тогда когда вы все вместе, женитесь,

выходите замуж; веселитесь, и все это без меня; право бы я дорого заплатил, чтоб хоть на один день к вам прилететь, но опять скажу что делать? Даже и времени не могу тебе назначить, когда свободен буду отселе ехать, потому что это не от меня зависит; и теперь только то тебе сказать могу, что через две или много три недели я поеду отсель в Карлсбад, где, как думаю, надобно мне будет выжить шесть недель, после которых бы я тотчас отправился в Россию, ежели б то в моей воле состояло; но как я уже тебе сказал, что я не за одним тем живу здесь, что б лечится, но и по должности или службе, то и не знаю, не потребуют ли того обстоятельства, что б я долее здесь остался. Об этом тогда тебя уведомя, а наперед ничего сказать не могу. — Со стороны здоровья хотя слава богу я чувствую себя гораздо лучше, однако ж не проходит без того, что б иногда меня не прихватывало. Перед отъездом моим в Леибциг дней с пять мне дурно было, но после прошло. — Мне кажется, моя душа, что я тебе говорю о вещах не очень приятных, и так лучше севодня оставляю; почта отправится через три дни, то буду еще иметь время завтра и после завтра с тобою разговаривать. Прощай.

5 числа.

Севодня был здесь праздник. У одного из принцов здешних, то есть Курфирштских братьев, родился сын, которого с большим парадом крестили в католицкой церкви. Курфиршт с супругою своею принесли его на руках к олтарю, при котором крещение совершилось. Потом по окончании действия поднесли его к матери, которая на приготовленном нарочно для нее месте стояла на коленях. Мать приняв от них младенца отдала его штатс-даме своей, которая держа новорожденного на руках села в приготовленные для ней кресла, и потом в провожании многих кресла сии понесли во дворец. — Теперь уже я думаю получила ты письмо мое и портрет, которой послал я к тебе. Не знаю каковым ты его найдешь, но мне казалось, что он мало на меня похож. От Ивана Павловича получил письмо, и к нему на оное отвечал. Безпокойство их о том, что Павел Иванович просил их о позволении остаться в Дрездене, покуда я буду в Карлсбаде, произошло от того, что он не сказавши мне к ним об этом писал; а мне уж после сказал, когда письмо уже послано было. Желание его возбудили в нем в доме у князя Путятина, на сказав

ему тысячи веселостей, какие он иметь здесь может. Но после и сами увидели, и он то почувствовал, что они много наговорили ему ветру: и так охота его остаться здесь прошла, да хотя бы и не прошла, то бы я здесь его не оставил, не только у князя в доме, ни у ково. К Ивану Павловичу я об етом писал, но так как я считаю что его нет в Петербурге, то ты пожалуй в том же и Анну Петровну уверь. — Ну, моя душа, о чем бы мне еще с тобою поговорить? Кажется все сказал. — Здесь все стоит претеплая и жаркая погода; я дожидаясь земляники, которую, как ты знаешь, я очень люблю. — Апропо к земляники: пожалуйста ты не забудь сделать из ней варенья, да и побольше. Я не знаю для чего из ней не делают варенья, для меня оно всех лучше. — Поклонись от меня Муравьеву, и скажи, что я очень рад случившемуся с ним благополучию. Да отпиши мой друг ко мне, что делается с нашим имением<sup>20</sup>; кто нам заплатил, кто остался должен; в разсуждении новаго банка я думаю надобно было согласно с оным все его новым образом основать. Уведомь пожалуйста меня об етом. Прощай, моя душа; будь благополучна и здорова. Верной твой друг А. Ш.

13

Дрезден. Маия от 21 дня 1798 году.<sup>21</sup>

Друг мой Дарья Алексеевна, давно уже я не имею от тебя писем, и ето мне наводит скуку. Хотя я не могу на тебя пожаловаться, чтоб ты редко писала, однако ж желал бы всякой день об тебе слышать. Я по сю пору еще в Дрездене, но собираюсь уже ехать в Карлсбад и думаю, что дни через три или четыре конечно отправлюсь. Ты моя душа можешь теперь надписывать письма свои прямо ко мне в Карлсбад, или хотя и в Дрезден, на Местмахерово имя. Он ко мне их доставлять будет, и разность во времени выдет очень малая. Для того отдаю тебе на волю куда хочешь подписывай, только пиши чаще. Я уже взял от здешняго доктора направление, каким образом себя в Карлсбаде вести должно. Самое трудное нахожу, что надобно в пять часов по утру вставать и пить воду, и вставши так рано после обеда не ходить, не читать и не спать. Покрайней мере доволен тем, что земленику позволяют есть сколько хочешь, и уже с неделю тому назад как она здесь появилась. На етих днях ездили мы смотреть славной здешней крепости называемой Кенигштеин, которая стоит на высо-

кой каменной горе, и много в себе примечания достойного имеет<sup>22</sup>. Взошед на нее открываются такие прекрасные виды, что не хотел бы никогда разстаться с ними. Третьева дни также большою компаниею, человек с дватцать, ездили мы отселе водою в Меисен на фарфоровую здешнюю фабрику, там отобедали и ввечеру сухим путем возвратились назад. Ехавши водою встречаются такие приятныя местоположения, что нельзя на них довольно на смотреться. Часто мой друг мне очень жаль бывает для чего ты не поехала со мною. Ежели б отъезд мой из Петербурга не был такой незапной и скорой, то может быть сие бы и сделалось. — Я в бытность мою здесь достал несколько картинок, но еще не решился, что с ними сделать; с собою ли их привести, или отправить отсель в Любик, а оттуда на судах в Петербург, адресовав на твое имя. Думаю, надобно будет сделать последнее, потому что с собою вести очень громозко. И так может быть я решусь на последнее, и для того за ранее к тебе об етом пишу. В прочем хотя я тогда и буду к тебе обстоятельнее об етом писать, однако ж ты между тем разведай платится ли за них какая пошлина и к кому ето приходит в руки, что б тово человека ты на перед знала и от него наведыватся о присылке их могла. А ето можешь ты сделать, то есть узнать об етом человеке, по прося Якова Ивановича Грезнова, или Василья Александровича Казаринова, или брата Ардалиона. Они проведает к кому ето приходит в руки, и ежели положена с картин какая либо пошлина, то надобно будет се при получении оных заплатить; в числе етих картин будут также мой и Павла Ивановича портреты, то я и не думаю, что б с оных брали пошлину, но в прочем ты обо всем етом наперед наведатся можешь. Когда уже я со всем решусь послать их, то о том, что они уже отправлены, и что именно уведомлю тебя через почту, и тогда уже ты дожидать их будешь. — Ну, прости моя душа. Будь здорова и благополучна. Прежде отъезда моего в Карлсбад еще буду к тебе писать. Поклонись брату Ардалиону и всем нашим. Остаюсь верной твой друг А. Ш.

Дрезден. Маия от 27 дня.

Друг мой Дарья Алексеевна. Письмо сие получишь ты не скоро, потому что человек, которой тебе ево отдаст пробудет несколько времени в Польше, и потом в Петербург поедет. Ето граф Серпonti, с которым я здесь познако-

мился, и с которым чрез сие письмо и тебя знакомяю. Наудачу взялся он отвезти к тебе отсель две соломенные шляпы, но я сомневаюсь, что б оне до тебя доехали. Впрочем потеря не велика, хотя бы он к тебе вместо шляп и простую солому привез. Я не пишу к тебе много для того, что ты прежде етова письма не одно от меня получишь, а ето пишу только с тем намерением, что тебе конечно приятно будет познакомиться с человеком, которой здесь со мной был знаком. Прощай, будь здорова и помни верного своего друга А. Ш.

14

Дрезден Маия от 27 дня 1798 года.

Друг мой Дарья Алексеевна. Севодня я пишу к тебе другое письмо, давич поутру написал к тебе с графом Серпонтием, которой у меня выпросил его, что б в Петербурге с тобою познакомится, но как он не прямо туда едет, а пробудет долго в Польше, то ты и не скоро ево получишь. И так пришед в вечеру домой снова к тебе пишу с тем, что б отправить по почте. Больше уж ты писем из Дрездена от меня не получишь, потому что завтра еду в Карлсбад. Говорят что почта из Карлсбада не очень верна и письма часто залеживаются и теряются, для того хочу оттуда писать через Дрезден, также и тебя прошу моя душа подписывать их по прежнему на имя Местмахера; он ко мне их пересылать будет: ето гораздо вернее. В прежнем письме моем писал я к тебе, что хочу послать отселе через Любик несколько картин, в числе которых некоторые принадлежат Павлу Ивановичу, и на них его имя подписано. Теперь уже я решился его сделать, и для того оставляю их здесь с тем, что б Местмахер без меня отправил их в Любик. Он меня уведомит, когда оне посланы будут, и я тогда пришло к тебе реестр. — Пишешь ты ко мне о перчатках: как скоро будет случай, то я к тебе пришло. С Серпонтием послал я к тебе две соломенные шляпы, он у меня выпросил послать их с ним, но не знаю довезет ли. Радуюсь видя из описания твоего, что молодой наш с молодою живут весело, и думаю что тебе по сие время с ними было нескучно. Всегда вас было много вместе, и очень не желаю чтоб ты осталась одна, для того надеюсь что как они вздумают ехать в деревню, то и ты с ними поедешь, хотя ты ко мне об етом и не пишешь. Одной тебе оставатся конечно будет скучно, и так старайся

быть вместе, препоруча комунибудь письма мои к тебе и твои ко мне пересылать, ежели поедешь из Петербурга. О возвращении моем я ничего сказать не умею: проводи-вай об этом сама, ибо ежели ты можешь это узнать, то конечно узнаешь прежде чем я. Судя по обстоятельствам я опасаясь что б мне долее здесь не пробыть нежели как я полагал или считал при отъезде моем. Одним словом об этом я еще впредь узнаю, а теперь ничего не ведаю. Желая только скорее с тобою увидетца, и со всеми приятностями здешними, о которых я иногда в письмах моих к тебе пишу, очень скучаю о том что не вместе с тобою, и очень обрадуюсь, когда сяду в карету с тем, что б ехать в Россию. Хорошо быть в чужой земле, да не тому, кто оставил дом и разстался с родными своими. — Хотя уж двенадцать часов бьет, и пора бы уже спать ложится, однако ж хочется еще с тобою поговорить. Я очень рад, моя душа, что ты портретом моим довольна. Но тот большой, которой через Любик посылаю, писал искусный здешний живописец Грав<sup>23</sup>, и кажется мне очень похож. Я желаю что б он дошел до тебя скоро и верно. Ну что ж еще тебе сказать? Я слава богу довольно здоров. Погода стоит прекрасная, и среди дня жарко, то я и сию по большей части дома в это время, а по вечерам хожу прогуливатся. Вчера ужинали мы у венскаго посланника Графа Ельста, и в четвером играли в рокомболь: он, Англинской посланник, Князь Плат. Алекс. Зубов<sup>24</sup> и я. Кажется уже я довольно к тебе написал, так что и свечка вся догорела. Завтра же идет почта в восемь часов поутру, и так надобно рано встать, чтоб успеть это письмо отправить. — Кланяйся от меня брату Ардалиону, невестке, и всем нашим. — Также засвидетельствуй мое почтение Ивану Логиновичу и Авдотье Ильинишне; а Логина Ивановича по благодари за его ко мне письмо, на которое теперь не отвечаю. За тем что дело стало в торопях, а напишу к нему из Карлсбада. Впрочем это одно только письмо, которое я от него получил, а тех двух, о которых он упоминает, что прежде писал, я не получал, и не понимаю как они до меня не дошли. Скажи ему что я сердечно радуюсь всем его благополучиям и желаю ему больше и больше. — Да не забудь также поклонится от меня Катерине Ильинишне. Прощай мой друг, будь здорова и благополучна. Верной твоей А. Ш.

Карлсбад. Июня от 4 числа.

Друг мой Дарья Алексеевна! Последний раз писал я к тебе из Дрездена перед самым моим отъездом. Третьяго дни сюда приехал, или лучше сказать притащился, потому что ехал по такой дороге и по таким горам, что лучше было итти пешком нежели сидеть в карете. Один раз мы целыя сутки только дватцать верст переехали. Проезжая Саксонской городок Фрейберг, лежащей милях в четырех от Дрездена мы тут пробыли больше полусуток: ездили осматривать серебряные заводы и рудокопныя мины. Для осмотра сих последних надобно было надеть на себя рабочее платье и опустится сажень дватцать в землю по узкой, темной и крутой лестнице имея на груди у себя фонарь. Мне хотелось было туда сходить, но побоялся слабости ног своих и рук, также и кружения головы, которое у меня не редко случается. Даже и молодова со-товарища своего не хотел пустить, но подумал что в его лета нужно любопытствовать и привыкать к отважности: итак благословясь пустил с Крепышем, лекарем и одним провожатым. Они пошли, и когда уж так глубоко опустились, что мне огня их стало невидно, тогда я струсил, и покудова они там были, то есть около часа времени, по тех пор был я в большом безпокойстве. Наконец очень обрадовался, когда огонь опять стал мелькать, и я увидел, что они оттуда замаранные и запачканные лезут вон. — Ну, душа моя, теперь скажу о здешних приключениях: вчера начал я пить воду, и выпивши шесть стаканов во весь день чувствовал головную боль и дурноту, сказали мне что ето ничево, и что на другой день надобно выпить восемь: севодни я ето и сделал. Голова перестала болеть и дурнота прошла, только действия ета вода надо мною немного сделала, и так завтра велят пить десять стаканов. — Прощай покаместь, здесь долго по вечерам не сидят.

От 6 числа.

Севодня был здесь бал, собрались в шесть часов, а разошлись в восемь. Надобно сделать тебе маленькое описание о здешней нашей жизни. Карлсбад стоит в долине, или лучше сказать в яме, окруженной со всех сторон высокими горами. Сквозь него течет маленькая речка. В одной стороне построены два зала, из которых в одном танцуют, а в другой так ходят, что б по сидеть, или сделать партию в карты, но последнее бывает очень редко. Подле одного

из сих залов не большая роща, в которую все по утрам и вечерам собираются прохаживаться. Поутру должно встать в пять часов и итти с стаканчиком к ключу пить воду, что продолжается часу до осмова; потом ходят еще по улицам с час времени, и расходятся в залы или по домам завтракать; а многие завтракают на улице. Против моего окна деревья, под ними живущие подле меня семьи всякое утро и после обеда сидят и пьют кофий, так что в спальном платье нельзя подойти к окну. Из наших русских здесь немного, граф Орлов с семьею, да еще человека два три. Главное мое упражнение состоит в том, что хожу по горам и играю на билиярде. Изредка хожу в театр. Из иностранцов с не многими познакомился, хотя госпожа Рек и со всеми меня знакомила. Я ласкою етой женщины очень доволен. Она приискала мне наперед дом, и когда я сюда приехал, то уж записка ее у ворот дожидалася, по которой тотчас меня проводили, и хозяева дома встретили меня как знакомаго им человека.

От 9 числа.

Так я привык здесь шататься и бродить, что не нахожу времени подолее с тобой поговорить. Урывками пишу. Питье вод, утренняя и вечерняя ходьба, завтрак, обед, и запрещение ни над чем не сидеть, а особливо скоро после обеда, не оставляют получаса времени. Воды привели меня в некоторую слабость, так что я чувствую себя несколько хуже чем был. Уверяют что это к лучшему, и что действие их обыкновенно тем начинается. Надобно иметь веру и посмотреть что далее будет.

От 19 числа.

По сю пору не мог отправить к тебе етова письма, для того что нехотелось послать по почте, которая как говорят отселе очень не верна, и так дожидался оказии, что б переслать в Дрезден, и завтра едет туда один человек, с которым я оно посылаю. Третьева дни поехал отсель в Ригу некто Шилинг, я послал с ним к тебе дюжину перчаток, не знаю, моя душа, доедут ли оне до тебя. — Вчера отпустил я от себя своего лекаря, и для многих причин очень рад был, что его сжил с рук. — Ты найдешь здесь записочку, от наемнаго с нами человека Андрея к своему брату; отыщи пожалуйста его и отдай ему шесдесят рублей. Он меня об етом просил.<sup>25</sup> Ну мой друг что тебе

еще сказать? от питья вод хотя и чувствую я некоторую слабость, однако ж кажется оне приносят мне пользу. Отсюда после трех еще недель велят ехать в Теплицы и там дней десяток употреблять ванны и Эгерскую воду. О возвращении моем ничего тебе сказать не могу, ожидаю повеления. Крайне мне больно быть с тобою в разлуке, и может быть еще на некоторое время здесь оставатся, но что делать; обстоятельства так велят. Прощай, моя душа, будь здорова и благополучна. Кланяйся брату и всем. Цалует тебя верной твой друг А. Ш.

Посланы ли картины из Дрездена, не имею известия.

От 20 числа.

Письмо уже было запечатано, как получил от тебя письмо, и так распечатав еще приписываю. Очень хорошо, мой друг, что ты намерена ехать в деревню. Что тебе в Петербурге одной делать. Я знаю что ты трусиха и дома сидя всего будешь бояться; вообразится тебе что уже комета проходит и на тебя падает, и особливо на ту пору застучит карета, загремит гром, то и беда. Правда и в деревни можешь с индейками встретится, однако все лучше. — Главная твоя забота о письмах, но об етом ты, моя душа, не должна много сокрушатся. Мы с тобой не так близко друг от друга, то легко может иное письмо замешкаться или совсем не дойти. Мне кажется будто ты иных писем моих не получила. Напрасно ты не начала считать номерами, так бы скорее приметить можно было все ли получены. По крайней мере я теперь начну ето делать. Пусть будет ето первой номер. На других я стану подписывать второй, третий номер и так по порядку. — Делай и ты тоже с своей стороны. В разсуждении распоряжения твоего о денгах, я очень им доволен; конечно лучше упустить нечто из доходов нежели не верно их поместить; а когда я возвращаюсь, тогда увидим что с ними делать; а по тех пор у себя их храни. Барон Местмахер пишет ко мне, что он картинки наши с Павлом Ивановичем, отправил в Любек, а оттуда на купецком судне повезут их в Россию. Павла Ивановича картины: ево портрет и восемь головок, на которых имя его подписано, а прочие все мои. — Ящик етот адресован на твое имя, и так ежели тебя в Петербурге не будет, то по прси тово кто при таможене, что б ежели получена будет на твое имя из Любика посылка, то б отдали ее кому ты поручишь, и всево лучше Ивану Павловичу, а

пошлин сколько следует за мои картины, ты заплатишь, а сколько Павла Ивановича, то он заплатит. Кажется пошлины по рублю с квадратного фута. Ну прощай, моя душа. Судя по твоим словам письмо это получишь ты в деревне. Кланяйся от меня Александру Ивановичу и Катерине Алексеевне, и скажи им чтоб они прислали мне хлеб из той ржи, которую я у них посеял. Также Андреяну Ивановичу и Василью Семеновичу от меня поклонись. Прощай, здесь не велят ни как сидеть, а я как засяду к тебе писать, то и гулянье в сторону. —

Карлсбад июля от 5 числа 1798 году N 2.

Друг мой Дарья Алексеевна, не давно получил я от тебя письмо, по которому считаю, что ты уже теперь в деревне, и как ты писала ко мне, что б письма подписывать на имя Ив. Петр. Баллея, то уж я и послал чрез него одно, а его посылаю другое. Ты говоришь, мой друг, что мне в Карлсбаде весело: правда что по весьма особливому роду жизни, какой здесь ведут, не могло бы быть скучно; потому что здесь и дома и у ключей и на улице и на гулянье и в зале всегда в обществе и на людях; ежели и дома сидишь, то видишь по минутно мимо окон твоих ходящих людей, с которыми почти нельзя не познакомиться, для того что со всяким из них раз пять в день увидишься. Публика здешняя состоит человек из четырех сот или более, из которых всякой день иные уезжают, а другие вновь приезжают. Сие собрание людей всякого звания, всех наций, и простота господствующая в обращении, могут весьма быть приятны для человека любящего быть всегда в обществе. Говорят еще, что нынешней год съезд очень мал и далеко не так весело, как прежде и прошлова года было. В день Петра и Павла граф Орлов давал здесь праздник<sup>26</sup>, которой продолжался три дни: на кануне был концерт; в самый праздник бал с огромным ужином, иллюминациею и феиерверком; а на другой день театр также иллюменованный, и на котором горело вензловое ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА имя, пред коим хор юнош и девиц пели кантату. На бале все были в полном наряде и в брильянтах. Женщины к етому дню так много заказали новых платьев, что здешняя *marchande de mode* со всею своею поспешностию пятнатцати пар заказных платьев не успела сшить. Первенствующая из дам здесь Курляндская герцогиня, женщина премилая и

преласковая<sup>27</sup>. Ну мой друг я отбился от материи, заговорил тебе о том что по всем вышесказанным мною причинам могло бы здесь быть не скучно; однако ж скажу тебе, что для меня не очень весело, первое потому что на верное еще не знаю возвращатся ли мне в Россию или здесь еще поездить должно будет; второе потому, что я от Карлсбадских вод по сю пору не получил ни малаго облегчения, напротив чувствую себя хуже нежели был. Кажется и действие имели оне надо мною такое, которое должествовало бы пособить, и доктор по приезде моем сюда распрося о моей болезни сказал, что он не знает еще примера что б оне в етом недуге кому нибудь не помогли. И так я очень уверен был в их помощи, но теперь начинаю сомневатся. Обыкновенно в таких случаях разные слышишь толки; одни говорят, что оне после помогают; другие, что надобно их сряду два года пить, а без того оне непомогут, и так далее; первое сомнительно, а второе хорошо для тех, которые близко от них живут. Скоро я перестану их употреблять, и хотел отселе ехать в Эгер, пить тамошние воды, которые как говорят укрепляют желудок, но доктор здешний посылает меня в Теплицы, что б там садитя в ванны, и взяв с собою Эгерскую воду употреблять оную вместе с Теплицкими банями. Надобно во всем слушать их, хотя для того единственно, что б после себе не упрекать. Ты знаешь какой я до фруктов охотник, и какое их здесь изобилие, но не велят есть; даже и земленуку запретили. Кроме жаренова мяса и хлеба ничего почти не позволено. Да уж пусть бы говел, и видел от того себе пользу, но того то и нет. — Ну прости душа моя; я много тебе о своей болезни наговорил, но ето больше от скуки, что она неистребляется во мне, нежели от того что б чувствовал ее в себе усиливающуюся. Прощай и будь здорова.

От 6 числа.

Ты пишешь ко мне, что б уведомить тебя на какую контору адресованы посланные из Дрездена картины; я и сам етова не знаю, и что б уведомить тебя о том надобно списаться с Местмахером, да вряд и он знает ли, потому что он послал их в Любик к своему корреспонденту, а того может быть и не знает к кому тот их адресует. И так отпишу к тебе когда сам об етом осведомлюсь. Еще ты пишешь, что брат Ардалион всякой день ездит на биржу и

покупает картины. Жаль мне ежели он употребит на это знатное число денег. Ни в чем так обманутся нельзя, как в етом. Лучше бы он отписал ко мне, что хочет на это употребить известную сумму, и прислал бы денег сюда, так бы я ему и дешевле и хороших здесь достал. Советник его видно мало толку знает, ежели фламандскую нашу оценил в сорок рублей. По таковой ошибке он легко может оценить в сто такую, которая пяти рублей не стоит. Правда и здесь не сыщешь их за безценок, однако все сходнее чем у нас, потому что в Дрездене етова рода художников очень много. Местмахер пишет ко мне, что оне уже посланы, только неизвестно скоро ли корреспондент его в Любике найдет такое судно, на котором их отправить; а потому и времени, когда оне привезены быть могут в Петербург нельзя назначить. Прости, моя душа, я завтра или после завтра собираюсь отсюда ехать. —

Теплицы от 10 числа.

Я вчера сюда приехал, простившись с Карлсбадом и с знакомыми, которых там нажил, в надежде через несколько дней опять с ними увидится, потому что большая часть из тех, которые в Карлсбаде пьют воду, окончавши там, приезжают сюда садится в ванны. Я наехал здесь многих из тех, которых с начала там видел. Также и русских нас здесь довольно число: семья графа Орлова, князь Зубов самтретей, Ильинской с женою и с сестрою, Корсаков, Ширяй, Буасонет и мы; да еще одна русская дама, которая уже сделалась немкою вышед за муж за одного здешняго графа, а была сказывают Апраксина, племянница Натальи Ивановны; с нею я незнаком, а только видел ее на бале. — Здесь не так как в Карлсбаде, нет таких мест куда бы все вместе сбирались, а потому и не так весело. Только здесь сад хорошей и большой, в котором всегда гулять можно, также и окрестныя места очень хороши. Едучи из Карлсбада заезжал я в славный сад графа Чернина называемый Шенгофен; он лежит на половине дороги между Карлсбадом и здешним местом. Правда что очень хорош; строитель онаго воспользовался и горами и буерагами и маленьким лесом и большим: и изо всего етова сделал множество приятных мест; больше всего полюбились мне: во первых ничем не поддерживаемой мост, на подобие нашего Кулибинскаго<sup>28</sup>, которой через весьма глубокий буераг идет с одной горы на другую; во-

вторых высокая каменная беседка, с превеликими окнами составленными из множества разноцветных стекол, так что когда ввечеру освещена бывает люстрами, то кажется быть иллюминированною разными огнями; на самый верх ее можно всходить по идущей во круг ее каменной лесенке, и оттуда во все стороны вид чрезвычайной. Потом представилась нам прямая широкая алея, длиною в две тысячи шагов, при конце которой делают обелиск; сия алея ровная и прямая лежит однако ж не на ровном месте, но на горе, так что идучи по ней всю окрестную сторону под сей горой лежащую далеко видеть можно. Оттуда сошли мы в низ сей горы, где нашли большой пруд с мостиками, омывающий подошву оной; от сего пруда перешед чрез зверинец вышли на прекрасную площадку, с большою круглою беседкою, против которой с крутой очень горы между лесом по обим сторонам спускается каскад. Вода по нем не всегда течет, но только тогда пускают, когда есть зрители. Момент когда ее пустят очень хорош: с такой великой крутизны начинает она падать быстро, пенясь и с шумом; но длина каскада так велика, что он не прежде как через четверть часа весь ею покроеся.

#### От 13 числа.

Я к тебе пишу часто, но чувствую, что ты редко письма мои получаешь, для того что я одно письмо в разные дни долго продолжаю писать. Здесь моя душа весьма запрещают сидеть много над письмом, и я не иначе пишу как урывками, и на то насилиу нахожу время. Вот я какую жизнь здесь веду: надлежало бы в шесть часов вставать, однако я по большей части встаю в семь. С час проодеваюсь и пойду в сад, где прохаживаясь надобно выпить семь стаканов воды, один после друга через четверть часа. Домой возвращаюсь в девять. Через полчаса завтракаю. В десять часов надобно садится в ванну и сидеть полчаса. Потом одевшись должно опять итти, что б с час времени или около того прохаживается в саду или загородом. После того обедать; обедаю же я редко дома, но либо у графа Орлова, либо у князя Зубова, либо у Ильинского. После обеда часа два или более отнюдь не велят низачто приниматься; а часу в пятом опять ходить; тут придет время итти или в театр или на бал; а потом возвратясь домой спать, и на другой день ту же историю начинать с нова. По етим самым причинам как в Карлсбаде так и здесь в Те-

лицах, ничего кажется не делаешь, а минуты не имеешь свободного времени. Вот уж я здесь несколько дней, а по сю пору не собрался сходить к Курляндскому герцогу, к принцу де Линь и к другим некоторым, с которыми в первой самый день приезда моего рекомендовался на бале. — Прости, моя душа, пора бы уже мне отправить к тебе это письмо, а то так живучи в деревне скучать будешь, что от меня давно писем не имеешь. Кланяйся от меня своим хозяевам Александру Ивановичу и Катерине Алексеевне, также Андреяну Ивановичу и Василью Семеновичу, ежели их увидишь. — По письмам твоим брата считаю теперь в его деревне; кто то из них ково станет учить экономии, он ли жену свою или она его? — Как бы обрадовался ежели б в октябре или хоть в ноябре мог к вам приехать и найти вас всех вместе! но етова еще не знаю, а думаю что скоро получу разрешение, возвратится ли мне должно или здесь еще остаются, и тогда тебя уведомя. —

От 15 числа.

Завтра поутру отправлю я сие письмо в Дрезден, с тем что б оттуда по почте его к тебе послали. Ванны здешние и Эгерская вода кажется мне не множок меня поправили, так что я чувствую себя несколько поздоровее, и по утру не с такою тягостию просыпаюсь, как обыкновенно. Посмотрю, что далее будет. — Ну мой друг не знаю уже что более к тебе писать. Кажется и о садах и о жизни здешней и обо всем рассказал. Прощай и будь здорова. Остаюсь верной твой друг А. Ш.

P. S. В прежнем письме моем писал я к тебе что б ты отыскала брата наемного человека нашего Андрея, (я послал записку где его отыскать), дала бы ему шестдесят рублей денег. Ежели его письмо не найдет тебя в Петербурге, а получишь ты его в деревне, то пожалуйста перешли денги и поручи кому нибудь, что б его отыскали и ему отдали. Брат его меня здесь об етом просил, и я обнадежил его что он получит.

№ 4

Тёпллицы от 31 июля 1798 году.

Друг мой, Дарья Алексеевна! Живучи здесь я получил от тебя два письма, последнее от 6 июля, которое третьевадни привез ко мне Дивов. Ты в беспокойстве, что

что за это у ней цалую ручки. Особливаго письма не пишу к ней для того, что севоднишнею почтою не успею отправить, а напишу после. Удивляюсь я, что она в обеих письмах своих ко мне не упоминает получила ли она письмо мое и стихи, а кажется не лъзя не получить, потому что оно послано в твоём конверте с Крепышем. Да скажи ей, что мадам Рек ей очень кланяется. Логина Ивановича от меня поздравь, и попеняй ему, что он на мое письмо ни словечка не отвечал, видно в новом чине за спесивел<sup>8</sup>. Перед сим писал я к тебе письмо, в котором вложено было письмо к Обрескову. Я надеюсь, что ты его скоро получишь, или уже получила. А о том письме, о котором ты ко мне пишешь, что б написать, я подумаю и может быть на будущей почте пришлю. Севодня ничего не успел сделать, а завтра почта идет рано, и для того спешу сие письмо отправить, тем паче что уже пропустил несколько почт, и что ты от меня их ждать будешь и беспокоится. Во вчерашнем письме своим пишешь ты ко мне об издержках своих, об облигациях; видно ты что нибудь писала ко мне об етом в прежнем своем письме, но как я не получил его, то хотя ты и уверяешь меня, что все ясно ко мне описала, однако ж это ясное описание было для меня темно. Ежели есть что нибудь сомнительное мой друг в разсуждении получения своих денег, то ты можешь об етом посоветовать с братом, или с другим кем, какия взять меры что б своего не потерять. — Прощай моя душа. Поклонись от меня брату Ардалиону, также Якову Ивановичу, и всем нашим. Я благодаря бога от болезни своей не чувствую ни каких особливых нападков. Послал бы к тебе миниатюрной портрет свой, которой мне здесь написали, да первое не похож, а другое я боюсь что в письме на почте изломается или пропасть может. — Будь здорова и благополучна, помня вернова своего друга А. Ш.

P. S. Петрушка сказал мне, что ты севодня именинница, но мне кажется это не правда<sup>9</sup>. Я помню что то шестое или дватцать шестое, однакож он уверяет будто севодня. И как я хорошенько не знаю, забыл, то ежели это правда, так я тебя моя душа с тем поздравляю.

10

Дрезден. Марта от 22 дня 1798 году.

Друг мой, Дарья Алексеевна! ты найдешь здесь письмо к Ивану Павловичу, писанное с тем намерением, о каком ты

в письме своем ко мне упоминаешь. Хотя оно запечатано, однако ж так как я полагаю, что ты сама его отвезешь, то и прочитать у них оное можешь. В употреблении сего письма я совершенно отдаюсь на волю Ивана Павловича, как он заблагоразсудит, показать его или нет. Все что в нем написано о здешней дороговизне, есть суцная правда. И хотя щоты мои весьма умеренны, так что я в разсуждении их ни какой нужды оправдывать себя не имею, однако ж желал бы, что б умеренность их, при действительной и не ложной дороговизне здешней, была замечена. Ибо я смело скажу, что ни кто другой не мог их показать умереннейшими. А дабы Иван Павлович не удивился, что я пишу к нему о присылке денег для его сына, то ты пожалуй объясни ему следующее: во первых при отъезде нашем из Петербурга по причине его со мною вояжа нужно было совсем переменить прежнее мое положение: то есть вместо двуместной кареты, в которой я сбирался ехать, купить четверместную, и следовательно везде по дороге брать лишнюю пару лошадей. Нанять для него особливаго человека с немалою платою, которой хотя и дорог, однако служит ему хорошо и он им доволен; наконец собственное его содержание во все время нашего здесь пребывания. Ежели всему етому щот сделать, то он составит около следующей суммы: не считая покупки кареты (которую я уже на себя беру), но только пару лошадей, вся дорога наша до возвращения в Россию станет ему покрайней мере четыреста червонных. На содержание его здесь, то есть за квартиру, на стол, на чай и кофий, на найму иногда карет, и словом на все подобныя издержки, ежели считать по червонцу на день (положение самое малое) то в десять месяцев выдет триста червонных. Человеку на жалованье и на пищу сто дватцать пять червонных. И так вся сумма будет восемь сот дватцать пять червонных. Как ни умеренно полагал я здесь цены, однако ж я всячески стараюсь еще сколько возможно их уменьшить, так что может быть отпущенных с Павлом Ивановичем семи сот тритцати червонных на все это и достало бы до самага возвращения нашего в Россию, ежели б он не издерживал из них не малаго числа на собственные свои расходы и покупки. По сие время, то есть несольшим в три месяца времени, перебрал он у меня на платье и на другия разныя покупки около двух сот пятидесяти червонных, а остается нам жить еще пять или шесть месяцев, и так ежели он в продолжение сего

давно не имеешь от меня писем: по исчислению времени кажется надлежало бы уже тебе получить то письмо, которое писал я из Карлсбада, и после которого сие уже четвертое пишу. Я приехав сюда думал не долее двух недель здесь оставатся, однако ж лекарь настоял в том, что б я четыре недели прожил, и так я через неделю от ныне думаю ехать в Дрезден. Ты пишешь правду, моя душа, что я имею уже повеление возвратится в Россию, однако ж поджидаю еще на мои письма ответа, которой судя по времени надлежало бы уже мне получить, но я не получил еще онаго, и не знаю подтвердится ли в нем или переменится данное мне повеление. А потому и не могу тебе о времени возвращения моего ничего на верное сказать. Ежели не остановят меня, то я в половине или к исходу августа поеду в Берлин, и к концу сентября надеюсь с тобой увидится. Впрочем как бог велит, — и буде противное случится, то я тогда тебя уведомя, где буду, и куда ты ко мне писать можешь. Ежели из теперяшнего расположения ничего не переменится, то я думаю, что застану еще тебя у Александра Ивановича в деревне. — Ты пишешь, что б я письма свои подписывал в Нарву и на почту Поля; ето очень хорошо, и лучше чем проходить в Петербург, и потом опять назад возвращатся в Нарву, но ты не догадалась, мой друг, отписать ко мне об имени Нарвскаго почтмейстера. Всего бы лучше его об етом попросить, я и думаю сделать, хотя не знаю, кто он таковой и как его зовут. — Ну теперь скажу тебе, моя душа, о моем состоянии: по сие время пил я здесь Эгерскую воду, о которой сказали мне, что непременно надобно ее употреблять, потому что Карлсбадская вода расслабляет очень внутренность, а ета укрепляет; однако ж как видно она мне пришла не по натуре, я стал себя гораздо хуже чувствовать, и для того ее оставил, а употребляю одне ванны, только и от тех большой помощи невижу, а разве после какое нибудь добро от них почувствую. — В разсуждении жития здешняго довольно не скучно: сад большой и прекрасной в десяти шагах от дому, другой с версту, также очень приятной; в них всегда встречаешься с людьми, можешь завтракать. Подле меня живет герцог Курляндской, дом очень семьянистой, хозяйка преучтивая и преласковая женщина. Вчера они давали бал, и она сперва напустила на меня старшую свою дочь, а потом и сама подошла усильно звать меня танцовать, однако ж я выдержал свой карактер, и при всей честной публике

начисто им отказал. После того она подошла ко мне и говорит: ежели вы не хотели со мной танцевать, то по крайней мере должны пулю в бостон с играть; тут уже я сказал: это мое дело, коли угодно, хоть две. — Ну моя душа что ж мне еще тебе сказать? Отсель до Дрездена думаю я ехать рекою; сказывают, что берега Эльбы очень хороши, и так хочется их посмотреть; не знаю еще могу ли найти также судно, на котором бы и карету мог взять с собою. Где то теперь мои картины? Может уже плывут по бальтискому морю. Очень бы я желал, чтоб ты о них получила скорее известие. Последнее письмо мое отсель под N 3, писал я к тебе с Петербургским банкиром Буасонетом, и рассказал ему, что б он приехавши в Нарву осведомился не тут ли ты, и буде тут, то бы повидался сам с тобою. Не знаю случится ли это. Ну прости мой друг, пора отправлять почту. Кланяйся своим хозяевам и всем кто обо мне спросит. А о брате ты напишешь, долго ли он с вами пробудет: как бы я обрадовался, ежели б в исходе сентября очутился у вас и всех вас наехал вместе. Добро, что бог велит, то и будет. Цалует тебя верной твой друг А. Ш.

Дрезден. Августа от 12 дня 1798 году.

N 5

Друг мой Дарья Алексеевна. Я три дни тому назад приехал сюда из Теплиц, и по приезде моем получил от тебя письмо июля от 20 числа. Весьма меня удивляет, моя душа, что ты с тех пор как я поехал в Карлсбад ни одного от меня письма не получила, а я между тем уже пятое к тебе пишу, и первому кажется давно бы уже надлежало до тебя дойти, и мне очень жаль ежели ты его не получишь, а это легко может статся вот почему: ты писала ко мне, что б надписывать письма на имя Ивана Петровича Балея; я это и сделал, прося его особливим письмом, чтоб он приложенное на твое имя письмо переслал к тебе. Сие письмо для отправления в Петербург послал я в Дрезден к Местмахеру, а ныне приехавши узнал от него, что он написав к тебе свое письмо, в котором уведомлял тебя о посылке картин, баллево письмо завернул в свой конверт и надписал его на твое имя в тот дом, где ты жила. И так я не знаю, моя душа, остался ли кто к доме такой человек, которой бы письмо это принять и к тебе переслать умел. По расчислению моему ты бы давно уже получить

его должна была. После того надписывал я письма свои к Нарвскому почтмейстеру, котораго имени хотя и не знаю, однако ж просил его что б он письма мои к тебе пере-сылал. Из Любика здесь уже ответ получен, что картины мои в исходе июля оттуда отправлены и адресованы к банкиру Меибому. Ты бы обо всем етом уже известна была, ежели б письмо Местмахерова (в котором и мое как к тебе так и к Баллею вложено было) получила. Но теперь я крайне опасаюсь, что картины привезены будут, а ты об них не узнаешь. Хорошо, моя душа, ежели бы ты взяла такую осторожность, чтоб в доме оставшемуся человеку приказала, что когда на имя твое будут письма или какая посылка, то дали бы об етом знать кому нибудь такому, которой бы и тебя тотчас уведомить и посылку ету выручить и принять до тебя мог. — Я теперь с нетерпеливостью ожидать буду твоих писем, что б узнать, получила ли ты из четырех хоть одно мое письмо. На теперешнее письмо уже ты отвечать ко мне не можешь, потому что я через десять или двенатцать дней отправлюсь отселе в Берлин, и пробыв там неделю или полторы буду пробираться в Россию. До сих пор расположение мое такое, но как я нанекоторыя мои письма ожидаю ответа, то легко статся может, что и остановлен здесь буду; в таком случае я не умедлю тебя уведомить, что б ты знала, куда ко мне писать. — О состоянии здоровья своего скажу тебе, что я после питья Карлсбадских и Эгерских вод, также и после дватцати шести теплицких ванн, все таков же как и прежде был; чувствую и вижу в признаках болезни своей некоторыя перемены, но к лучшему ли оне, время покажет. Однакож теперь я несколько получше, нежели как находил себя во время самага их употребления, и так может быть что действие их сильно меня разстроивало, но что после и принесут они мне хотя некоторую пользу. — Ну мой друг кажется я все то тебе сказал, о чем сказать хотел. Почта пойдет еще после завтра, однако ж я пишу севодня, потому что завтра может быть неудастся, мы рано поутру едем в одно здешнее местечко верст за дватцать отселе, и ежели рано возвратимся, то я еще что нибудь к тебе напишу. Прощай, моя душа. —

От 13 числа.

Мы теперь лишь возвратились: ездили обедать в местечко называемое Таранг, где видели множество прекрасных

окрестностей, гор и долин. Хотя я очень устал, однако ж хочется еще написать к тебе хоть несколько строк. — Теперь я письма свои надписываю к Нарвскому почтмейстеру, прося его что б он к тебе их пересылал; хотя я не знаком с ним, однако ж надеюсь, что он меня этим одолжит, и кажется через него ты их верно получить можешь; но всего бы лучше, мой друг, ежели бы вместо письма я сам приехал. Дай бог что б это мое желание сбылось. — Буде паче чаяния ты получишь это письмо прежде нежели знать будешь о посланных картинах, то поскорее отпиши к Петру Ивановичу Новосильцову, или к кому ты лучше рассудишь, что б справились об них у Неибома, и заплатя сколько надобно пошлины оставили бы их у себя до твоего приезда. — Ну прощай, мой друг. Кланяйся своим хозяевам, и брату с невесткою, коли они еще с вами, также всем нашим знакомым и приятелям. Цалую тебя и остаюсь твой верной друг А. Ш.

Дрезден. Августа от 20 числа 1798 года.

Друг мой, Дарья Алексеевна. Вчера получил я от тебя письмо, в котором ты хотя и не хотела мне пенять, однако ж довольно на пеняла. — Из последних писем моих (ежели получишь) увидишь ты, сколько я беспокоился, считая, что письмо Местмахерова (и мое тут же) до тебя не дошло: теперь очень доволен слыша, что ты его получила, и что есть кому в Петербурге принять посланные картины, когда оне туда привезены будут. Надеюсь что и другие письма мои ты получишь, которая разрешат твое сомнение и вопросы, какие мне делаешь. Ты о возвращении моем в Россию неверно рассчитала, моя душа: сочти что мне шесть недель надобно было выжить в Карлсбаде и с лишком четыре недели в Теплицах; но я еще сократил несколько предписание докторское. Теперь уже я дней с десять в Дрездене и ожидал на некоторые письма мои ответа, которой вчера получил. Ни что меня более здесь не держит, и так я надеюсь через три или четыре дни отправится, и это время остаюсь только затем, что б откланятся Курфиршту. Поеду я отселе через Берлин, где может быть с неделю пробуду. И так рассчитывая путь свой я надеюсь, коли бог велит, в исходе будущего месяца с тобою увидится. Нехудо ежели б мог я тебя (а еще лучше бы всех вас) найти в Нарве, так что бы уже вместе ехать в Петербург; однако ж ежели в етом будет какое затруднение, или на-

добно будет тебе одной ехать в Нарву, то лучше живи в деревне, я мимо вас не проеду, но только надолго заехать мне будет не ловко. Ежели согласитесь приехать в Нарву, то наймите домик и приезжайте туда к двадцатому числу сентября. Впрочем как хотите, только ты сама знаешь, что я в деревню к вам больше не могу заехать как разве на одни сутки. — Ну что ж мне еще к тебе написать? — Ты пишешь ко мне, что перчаток посланных с Шилингом, также и шляп соломенных с Серпонтием не получила; это очень не мудрено, мой друг: тебе трудно их отыскать, да и им тебя нелегко; и так может быть вы и долго друг друга проищите; но беда не велика, я и послал их наудачу. Новости твои обе для меня были приятны; ежели будешь писать в Петербург к Варваре Ивановне, то напиши к ней, что я услышав от тебя о приезде ея в Петербург, очень тем обрадован был. На вопрос твой о белье скажу, что я кажется довольно им запасаю. Ну прости, моя душа; будь здорова и дай бог нам скорее с тобою увидится. Я уже не думаю больше к тебе писать, разве какой особенной случай будет. Из Берлина хотя и мог бы еще написать, но как я не думаю пробыть там больше недели, то кажется и не длячего; однако ж может быть еще напишу. Кланяйся от меня всем нашим. Прости. Цалует тебя верной твой друг А. Ш.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Видимо, имеется в виду граф Эммануил Францевич Сен-При (1776—1814), в будущем генерал-лейтенант и генерал-адъютант, начальник штаба армии Багратиона, смертельно раненый в бою под Реймсом (его портрет помещен в Военной галерее Зимнего дворца). Его отец — известный французский дипломат, посредник при заключении Кучук-Кайнарджийского мира, военный министр при Людовике XVI — эмигрировал в 1791 г. Россию. Гр. Э. Ф. Сен-При, блестяще образованный молодой человек, вступил в русскую службу в 1793 г. В 1795—99 гг. был офицером Семеновского полка. Его брат граф Карл Францевич Сен-При (1782—1848) был отцом известного карикатуриста, упомянутого в «Евгении Онегине».
- 2 *Курфюршт* — Фридрих Август (1750—1728), Саксонский курфюрст под именем Фридриха Августа III Справедливого (1763—1806), затем король Саксонии под именем Фридриха Августа I (1806—1827). По польской конституции 1791 г.

стал наследственным польским королем. В 1769 г. женился на Марии-Амалии-Августе, дочери пфальц-графа Ф. Пфальц-Цвейбрюкенского. Имел от этого брака только дочь, поэтому наследником престола считался его брат Антон, с 1827 по 1836 гг. — король Саксонии. Курфюрст Фридрих Август III ревниво относился к своей власти и не допускал ни принца Антона, ни другого своего брата Максимилиана, ни мать (Марию-Антонию Баварскую, дочь императора Карла VII) к вмешательству в государственные дела. Не обладал большим государственным умом, однако провел в Саксонии полезные преобразования (отмена пытки, упорядочение судопроизводства, финансов и др.).

В 1806 г. Фридрих Август вступил в союз с Наполеоном, перед которым преклонялся; получил от Наполеона титул короля Саксонии и великого герцога Варшавского. Союз пагубно сказался и на судьбе Саксонии, которая была разорена континентальной блокадой и войной, и на судьбе самого Фридриха Августа: после Лейпцигской битвы он попал в плен, а вице-королем Саксонии был назначен князь Репнин. По решению Венского конгресса, Фридрих Август был освобожден, но утратил титул герцога Варшавского, а также часть территории Саксонии, отошедшей к Пруссии.

- 3 Календарь на 1798 г. сообщает о Саксонии и о саксонской династии следующие сведения: «Саксония [*<в примеч.:>* Столичный город Дрезден, на реке Елбе, в Мейсенском Маркграфстве. Географическая онаго широта 51 град. 2 мин. 54 сек., долгота 31 град. 21 мин. Число жителей простирается до 40 000. Разстоянием от С. Петербурга 1634 версты] (*Римско-Католич. Зак., Албертинской или Курфюрстской линии*). Курфюрст: Фридрих Август, 48 лет, родился 12 Декабря; в супружестве имеет Фальц-Графиню Цвейбрикскую, Марию Амалию Августу, 46 лет, род. Апреля 29. У них: Принцесса Мария Августа Антония, 16 лет. *Братья и Сестры*: 1) Принц Антон, 43 лет; в супружестве имеет Марию Терезию Ердгерцогиню Австрийскую, 31 год. 2) Принц Максимилиан Еммануил, 39 лет; в супружестве имеет Каролину Марию Терезию Принцессу Пармскую, 28 лет. У них: Принц Фридрих Август Алберт, 1 год. Принцесса Мария Амалия Фридерика, 4 л. Принцесса Мария Фердинанда 2 лет. 3) Принцесса Мария Амалия, 41 год *<...>* 4) Принцесса Мария Анна Антония, 37 лет. *Дяди и Тетки*: 1) Принц Франциск Ксаверий, 67 лет. 2) Принц Албрехт Казимир, Герцог Саксен-Тетенской и Императорский Генерал-Фельдмаршал, 60 лет; в супружестве имеет Марию Христину Ердгерцогиню Австрийскую, 56 лет. 3) Принц Климент Венцель, 59 лет *<...>* 4) Принцесса Мария Елисавета, 62 лет. 5) Принцесса Кунигунда, Абтисса в Ессене и Торне, 58 лет» (Краткое родословное показание ныне здравствующих и владеющих

Высоких Государей и Княжеских фамилий, сочиненное по алфавиту на 1798 год // Месяцослов на лето от Рождества Христова 1798... СПб., 1797. С. 117–119).

- 4 В конце XVII в. саксонский курфюрст Фридрих Август Сильный, стремясь к польской короне, перешел в католичество, а с 1717 г. вся династия стала католической, что осложнило ее отношения с монархами других протестантских государств. При католическом дворе великий пост, начавшийся в 1798 г. 8 февраля, разумеется, соблюдался. Пасха в 1798 г. и в католической, и в православной церквях приходилась на 28 марта (однако в православной — 28 марта по ст. ст.). Дату православной Пасхи см.: Месяцослов на лето от Рождества Христова 1798... С. 127. Вычисления даты католической Пасхи произведены с помощью таблиц в кн.: *Каменцева Е. И. Хронология*. М., 1967; *Климишин И. А. Календарь и хронология*. М., 1990.
- 5 Петр Алексеевич Обресков (1752–1814) — один из любимцев Павла I, сделавший при нем быструю карьеру: коллежский советник в конце екатерининского царствования, в 1797 г. он был произведен в действительные статские советники, назначен статс-секретарем, начальником походной канцелярии Павла, казначеем императорских российских орденов, а в 1798 г. произведен в тайные советники и сенаторы. Осенью 1800 г. впал в немилость, был уволен со службы; при Александре был главноуправляющим Межевой канцелярии.
- 6 Соломенные картины (панно) — мода 1790-х гг. Ср. описание комнаты в доме Державина, прозванной «диванчик», отделанной такими панно, вышитыми М. А. Львовой (*Глинка Н. И. Державин в Петербурге*. Л., 1985. С. 110).
- 7 Григорий Григорьевич Кушелев (1754–1833) — одноклассник Шишкова по Морскому кадетскому корпусу. Один из ближайших к Павлу I людей, никогда не подвергался опале, командовал флотилией на озерах в Гатчине. В 1798 г. был назначен вице-президентом Адмиралтейств-коллегии, ему было пожаловано графское достоинство, чин вице-адмирала, в следующем году — адмирала, а также богатые земельные владения и орден Св. Андрея Первозванного. Автор ряда сочинений по морскому делу.
- 8 Логин (Лонгин) Иванович Голенищев — Кутузов (1769–1845) — сын директора Морского кадетского корпуса Ивана Ло(н)гиновича (см. примечание 36 в I части публикации). С 1785 г. служил волонтером во флоте, с 1788 г. был капитаном Морского корпуса, а в конце 1790-х гг. — его фактическим директором. Как и Шишков, участвовал в кампании против Швеции в 1790 г., за что был произведен в подполковники и награжден орденом Св. Георгия 4-ой степени. В 1798 г. произведен в генерал-майоры. В будущем — генерал-лейтенант,

- член Российской Академии и с 1827 г. — председатель Ученого комитета Морского министерства; много переводил и писал по морскому делу, издавал некоторые сочинения Шишкова.
- 9 Память мученицы Дарии празднуется в православной церкви один раз в году — 19 марта по ст. ст.: крепостной слуга гораздо лучше знал церковный календарь, чем его господин. Хотя С. Т. Аксаков в своих воспоминаниях упоминает о том, что Дарья Алексеевна была лютеранка, ее именины в доме явно отмечались, причем по православному календарю. Соотнеся упоминание об именинах Д. А. Шишковой с двойной датой, поставленной в предыдущем письме, мы можем заключить, что Шишков, живя в Германии, не переводил праздники со старого стиля на новый. Он ассоциировал их (например, Пасху, о которой пойдет речь в 11-м письме, или тезоименитство императора) с определенными числами и отмечал их, не заботясь о разнице грегорианского и юлианского календарей.
- 10 Об отношении Шишкова к казенным деньгам и о финансовых отношениях с Кутайсовыми упоминается и в его мемуарах. Описывая свое возвращение из Германии, Шишков в «Записках» пишет следующее: «Я представил отчеты путевым моим издержкам и подал также счет Кутайцову, состоящий в двух тысячах рублях, которые сын его забрал у меня сверх отпущенных с ним собственных его денег. Он заплатил мне их, и хотя благодарил меня за сына, но последствие показало мне, что благодарность сия была не совсем чистосердечная; ибо я за посылку свою не получил никакой награды, кроме того, что государственный казначей, граф Васильев, объявил мне, что государь император, при разсматривании моих отчетов, удивился малому числу издержанных мною денег и приказал изъять мне свое благоволение. <...> Из отпущенных со мною осмидесяти тысяч рублей казенных денег на все расходы, издержано было не с большим девятнадцать тысяч; остальные возвращены в казну» (Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова. Берлин, 1870. Т. 1. С. 61. Далее: *Записки*). Ср. также письмо из Дрездена от 3/14 марта 1798 г.
- 11 Прогулки Шишкова по Дрездену и его окрестностям можно проследить по плану “Grundris von der Ckurfürslich-Sächsischen Hauptstadt Dresden, 1799”, а также увидеть понравившиеся ему пейзажи в изображениях немецких художников конца XVIII века (в частности, Плаунскую долину и мост через Weiseritz: J. Ch. Klengel. “Brücke im Plaunschen Grund”) в изданиях: Dresden. Alte Ansichten. Ausgewählt aus den Beständen der Sächsischen Landesbibliothek / E. Neef. Dresden, 1980. Ср. также: Dresden und seine Umgebung um die Mitte des 19. Jahrhunderts / S. Nickel. Leipzig, 1989.
- 12 Предместье Friedrichstadt находится на западном берегу реки Вейзеритц, к западу от Цвингера — комплекса зданий (шесть

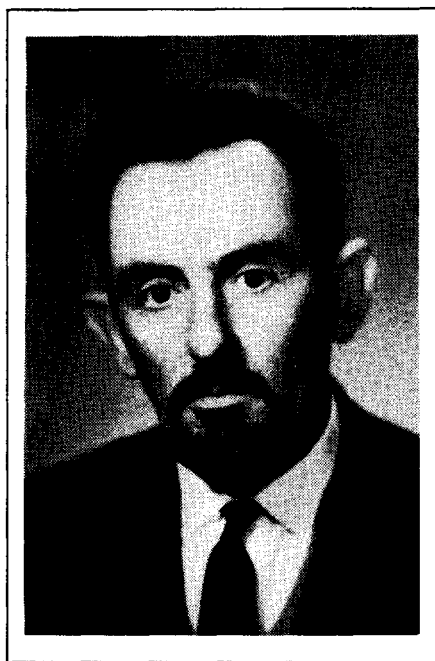
павильонов, соединенных галереей), выстроенных в начале XVIII в. архитектором М. Д. Пеппельманом, где уже в XVIII в. располагались знаменитые музеи: картинная галерея, кабинет гравюр, кунсткамера (затем преобразованная в ряд музеев — зоологический, антрополого-этнографический, минералогический, физико-математический салон). К Цвингеру прилегал сад, славившийся своими оранжереями. См.: Первый русский иллюстрированный путеводитель по Дрездену. Дрезден, 1906. С. 27 — 30.

- 13 Имеется в виду Prz. Maximilians Palais.
- 14 Характерно, что Шишков не находит ничего предосудительного в том, чтобы вместо православной заутрени отправиться слушать орган («огромная музыка») в католическую церковь. Видимо, дело не только в любопытстве, но и в отсутствии для него напряжения по отношению к католицизму и, вообще, в достаточно спокойном отношении к церковному быту. Все это приобретает особый смысл в свете последующей эволюции мировоззрения Шишкова.
- 15 Басон (с франц.) — шерстяная тесьма «для нашивок на служительскую одежду». См.: *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. Т. 1. С. 53.
- 16 Neustadt — часть города, расположенная на правом берегу Эльбы, еще в XVI в. соединенная с более старой частью Дрездена.
- 17 Дворец (или замок) курфюрста — большое здание, много раз перестраивавшееся ко времени, когда его посетил Шишков. Перестройка началась в XVI в., в XVII в. к нему была пристроена высокая башня, после пожара 1701 г. дворец был вновь перестроен и богато отделан.
- 18 Имеется в виду Linckesches Bad на правом берегу Эльбы. В конце 1770-х гг. в саду был летний театр, где дирижировал К. М. Вебер.
- 19 Pochmann Traugott Leberecht (1762—1830) — портретист и исторический живописец, ученик А. Графа. Окончил Дрезденскую Академию. В конце 1780-х гг. копировал по гравюре «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи для русской посольской церкви в Дрездене; в 1790 г. писал семейный портрет русского посланника кн. А. М. Белосельского-Белозерского. О нем см.: *Thieme Ulrich, Becker Felix.* Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler. Leipzig, 1933. Bd. 27. S. 169.
- 20 Имение, пожалованное Шишкову императором Павлом I в 1797 г. См. об этом в примеч. 29 в I части публикации. В 1820-е гг. у Шишкова возникли сложности с Межевой канцелярией в связи с тем, что в имении оказались излишки земли, которые было решено отобрать в казну. См. протесты Шишкова: Записка о несправедливом отобрании в казну ча-

- сти земель Шишкова // РГИА (С.-Петербург). Ф. 1673. Оп. 1. Ед. хр. 7.
- 21 Письма 13 и 14 написаны на бумаге с траурной каймой.
- 22 В мемуарах Шишков приводит исторический анекдот, связанный с этим местом. См.: *Записки*. С. 53.
- 23 Graff Anton (1736—1813) — известный портретист, миниатюрист и гравер. С 1766 г. до конца жизни работал в Дрездене. Рисовал Виланда, Шиллера, Гердера, Лессинга, Геллерта и мн. др. известных деятелей культуры; писал портреты курфюрста и его семьи. См. о нем: *Thieme Ulrich, Becker Felix. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler. Leipzig, 1921. Bd. 14. S. 480—482.*
- 24 За вполне мирным и бытовым упоминанием имени П. А. Зубова стоят достаточно драматические обстоятельства встречи бывшего подчиненного с всесильным когда-то временщиком (см.: *Записки*. С. 53). Кроме того, Шишков был обязан следить за Зубовым.
- 25 См. вступительную заметку к I части публикации (С. 218).
- 26 29 июня — день памяти Св. Первоверховных апостолов Петра и Павла — тезоименитство императора Павла. Дополнительные сведения о празднике, данном в честь русского императора в Карлсбаде см.: *Записки*. С. 54—56. А. Г. Орлов-Чесменский был одним из тех людей, к которым Павел I должен был испытывать личную ненависть как к одному из убийц Петра III и фавориту Екатерины II. Орлов прожил все время павловского царствования за границей. Праздник в Карлсбаде, данный Орловым, видимо, растрогал императора, во всяком случае он счел необходимым написать ему следующее: «Граф Алексей Григорьевич! Узнав о празднестве, сделанном вами по случаю прошедшего дня моих именин, и судя из онаго, что вы хотели дать мне лично знать о вашей ко мне преданности, я изъявляю вам мою благодарность, яко о деле, персонально ко мне относящемся, пребывая вам впрочем благосклонном. Павел» (*Шильдер Н. К. Император Павел Первый. Историко-биографический очерк. СПб., 1901. С. 314.*)
- 27 Анна Шарлотта Доротея, урожд. Медем, с 1779 г. — жена графа Петра Бирона (1724—1800), герцога Курляндского и Семигальского, владетеля Вартерберга (Силезия) и Находа (Чехия), сына известного фаворита Анны Иоанновны. Правда, в 1798 г. он уже не был курляндским герцогом, поскольку в 1795 г., когда Курляндия была окончательно присоединена к России, подписал отречение от герцогства, за что получил от Екатерины II денежную компенсацию и ежегодную пенсию. Анна Шарлотта Доротея была третьей женой герцога, который развелся с двумя предыдущими из-за их бездетности. От третьего брака родился сын, рано умерший, и 6 доче-

рей. Герцогиня, в отличие от герцога, была популярна среди курляндского дворянства, в 1780-е гг. даже предлагавшего ей взять правление Курляндией в свои руки. Анна Шарлотта Доротея пыталась уладить конфликт герцога с подданными с помощью своей подруги фон дер Рекке (ее тоже упоминает Шишков). Уже в 1780-е гг. чета Биронов долго путешествовала по Европе, а с 1795 г. все время жила в Германии.

- 28 Кулибинский мост, точнее — знаменитая модель моста, за которую механик-самоучка Иван Петрович Кулибин (1735—1818) получил в 1776 г. большую золотую медаль Академии Наук и 2 тыс. рублей. Сконструированный им мост без свай состоял из свода (дуги), которая упиралась концами в берега реки.



ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ РУДНЕВ  
27.03.1925 – 23.11.1996

Ушел из жизни Петр Александрович Руднев, один из столпов русского стиховедения, преподаватель нашей кафедры в 1968 – 1972 гг.

Парадоксы современной связи таковы, что эта грустная весть достигла Тарту по компьютерной почте из Новой Зеландии, через стиховеда И. Лилли. Добраться в Петрозаводск на похороны не было никакой возможности, хорошо еще, что благодаря счастливому стечению обстоятельств успели передать цветы. Так связь П. А. Руднева с Тарту, тесная и живая до конца его дней, не прервалась и за могильной чертой.

22 апреля 1969 г. в Тартуском университете происходило знаменательное научное событие — защита диссертации «Метрика Александра Блока» — одной из первых

специально-стиховедческих диссертаций в отечественной филологической науке, диссертации, долго и трудно пробивавшей дорогу к «искомой степени» (как было принято говорить) кандидата филологических наук. Несколько десятилетий стиховедение в СССР было в загоне, фактически под запретом как опасный пережиток формализма. В 1960-е гг. оно стало возрождаться, однако и тогда официальные круги относились к нему с недоверием и занятий такого рода не поощряли. Нужны были смелость и бескорыстная преданность науке, чтобы избрать теорию стиха предметом своих исследований. Тогда, почти тридцать лет назад, перед Ученым советом историко-филологического факультета Тартуского университета стоял именно такой рыцарь теории стиха, зрелый мастер и известный ученый, не изменивший стиховедению, несмотря на бесконечные мытарства с защитой давно написанной диссертации, на трудности с публикацией статей и на происходившие от этого житейские невзгоды. Это был Петр Александрович Руднев. Оппонентами же на той защите были академик В. М. Жирмунский и М. А. Гаспаров, тогда кандидат наук, а ныне — академик. Петр Александрович неизменно повторял, что только благодаря Тарту он смог защититься, и преданно любил Тарту и свою тартускую кафедру.

П. А. Руднев, работавший до этого в Коломенском пединституте, приехал в Тарту по приглашению Юрия Михайловича Лотмана в 1968 г. и сразу стал одним из самых любимых преподавателей кафедры русской литературы. Он читал нелегкие для студентов курсы: «Стилистику и стихосложение», «Теорию литературы», спецкурсы по стиху русских поэтов, кроме того «Историю русской литературы середины XIX в.» и был — мало сказать — требователен, он был строг и педантичен в своих требованиях. Но студенты его любили даже за эту требовательность, т.к. ощущали за ней нетерпимость к невежеству и халтуре, многостороннюю эрудицию, а также всегдашнюю корректность и коллегиальность Петра Александровича, его неподдельный интерес к студентам и к их занятиям. А еще любили за общительность, остроумие и доброту. Вместе с Рудневым в Тарту появился и стиховедческий семинар, который быстро набирал силу, став престижным и многочисленным по составу. П. А. Руднев руководил и литературоведческим кружком СНО (Студенческого Научного Общества), был редактором студенческих сбор-

ников и вдохновителем студенческих конференций, где появилась даже специальная стиховедческая секция!

В 1972 г. П. А. Рудневу пришлось из Тарту уехать (он был взят на временную ставку, срок которой закончился). Однако в истории русской филологии Тартуского университета Петр Александрович Руднев как ученый и педагог оставил о себе глубокую память. Итогом работы его стиховедческого семинара являются публикации метрических справочников по стиху Фета, Тютчева, Пушкина, Катенина, Востокова, Баратынского, И. Анненского, ряда научных исследований по теории русского стиха и создание прочной традиции стиховедческих исследований в научной работе нашей кафедры. Неопубликованные данные по метрике русского стиха, подготовленные участниками стиховедческого семинара, использовались как сравнительный материал и также вошли в научный оборот. В 1989 г. в Тарту вышла книга П. А. Руднева «Введение в науку о русском стихе», прекрасное учебное пособие для студентов, которое автор посвятил своим ученикам.

Свою научную традицию П. А. Руднев возводил к стиховедческим трудам А. Белого, Б. Ярхо, М. Штокмара, К. Тарановского. Он обогатил теорию стиха описанием таких явлений стихосложения, как «полиметрическая композиция», «переходная метрическая форма», уточнениями в определении классов русского стиха, опытами монографического анализа стихотворного текста. История русского стиха обязана ему основательными исследованиями метрического репертуара А. Блока, В. Брюсова, Н. Некрасова. Однако, говоря о значении в науке П. А. Руднева, мало перечислить его труды и идеи. Нужно отдать должное тому стимулирующему воздействию, которое он оказал на формирование целого поколения русских стиховедов. Выпускники Тартуского университета, которым посчастливилось учиться у Петра Александровича, и его бывшие студенты, ставшие теперь преподавателями кафедры, не забудут его преподавательского и человеческого обаяния и всегда будут благодарны ему за науку.

*Кафедра русской литературы*

ГОТОВЯЩИЕСЯ К ПЕЧАТИ  
ИЗДАНИЯ КАФЕДРЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

1. **Русская филология 8:** Сборник научных работ молодых филологов. Материалы студенческой научной конференции, состоявшейся в Тарту в 1996 году. В конференции принимали участие молодые филологи из Эстонии, России, Финляндии, Польши.

2. **Блоковский сборник XIV:** К 70-летию З. Г. Минц. Статьи и публикации А. В. Лаврова, А. Хансена-Леве, Р. Тименчика, В. Паперного, Т. Никольской, В. Каменской, Л. Пильд, Г. Пономаревой и др.

3. **Культура русской диаспоры: саморефлексия и самоидентификация.** Сборник материалов международного семинара, проходившего в Тарту—Таллинне в сентябре 1996 года. Сборник готовится совместными усилиями кафедр русской литературы Таллиннского педагогического университета и Тартуского университета.

ИМЕЮЩИЕСЯ В ПРОДАЖЕ ИЗДАНИЯ КАФЕДРЫ

1. **Классицизм и модернизм.** Сборник статей. Тарту, 1994. — Сборник, подготовленный совместно кафедрой русской литературы Тартуского университета и Институтом славянских и балтийских языков Стокгольмского университета. Включает статьи Ю. М. Лотмана, М. Гришакковой, Е. Погосян, Л. Киселевой, М. А. Гаспарова, П. Торпыгина, Г. Пономаревой, А. Данилевского, П. А. Енсена, С. Витт, П. А. Бодина, А. Юнгрен, М. Лотмана.

2. **Труды по русской и славянской филологии.** Литературоведение. I (Новая серия). Тарту, 1994. — Том, продолжающий «Труды по русской и славянской филологии» (1958—1990), включает статьи Ю. М. Лотмана, М. Гришакковой, В. Беспрозванного, И. Булкиной,

Л. Вольперт, И. Пильщикова, П. Торопыгина, П. Рейфмана, Л. Пильд, В. Гехтман, Е. Горного, С. Исакова, А. Кретова, а также публикации Л. Киселевой и Р. Лейбова.

3. **Русская филология 6:** Сборник научных работ молодых филологов. Тарту, 1995. — Сборник материалов международной студенческой конференции, проходившей в Тарту в апреле 1994 года с участием молодых филологов из Эстонии, России, Латвии, Финляндии.

4. **Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia IV:** «Свое» и «чужое» в литературе и культуре. Тарту, 1995. — Сборник материалов международного семинара, проходившего в Тарту в июне 1993 года. В семинаре принимали участие ученые Финляндии, Швеции, Дании, Италии, Эстонии и России.

5. **Русская филология 7:** Сборник научных работ молодых филологов. Тарту, 1996. — Материалы студенческой научной конференции, состоявшейся в Тарту в 1995 году. В конференции принимали участие молодые филологи из Эстонии, России, Финляндии, Голландии, Польши.

6. **Блоковский сборник XIII:** «Русская культура XX века: метрополия и диаспора». Тарту, 1996. — Труды международного семинара, состоявшегося в Тарту в октябре 1994 года. В семинаре принимали участие ученые США, Франции, Англии, Италии, Чехии, Финляндии, России, Латвии, Эстонии. Статьи: Л. Иезуитовой, К. Кумпан, Г. Пономаревой, Л. Пильд, И. Белобровцевой, С. Доценко, К. Постоутенко, Т. Гланца, Г. Слобин, Э. Гаретто, А. Кочного, Ю. Абызова, А. Арсеньева, Т. Цивьян, Р. Хьюза, О. Раевской-Хьюз и др.

#### **Информация и заказы:**

Tartu Ülikooli Kirjastus / Tartu University Press,  
Tiigi 78, Tartu, EE-2400, Eesti/Estonia/Estland  
Fax (372-7) 430 061,  
e-mail: tyk@psych.ut.ee

ГОТОВЯЩИЕСЯ К ПЕЧАТИ  
ИЗДАНИЯ КАФЕДРЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

1. **Русская филология 8:** Сборник научных работ молодых филологов. Материалы студенческой научной конференции, состоявшейся в Тарту в 1996 году. В конференции принимали участие молодые филологи из Эстонии, России, Финляндии, Польши.

2. **Блоковский сборник XIV:** К 70-летию З. Г. Минц. Статьи и публикации А. В. Лаврова, А. Хансена-Леве, Р. Тименчика, В. Паперного, Т. Никольской, В. Каменской, Л. Пильд, Г. Пономаревой и др.

3. **Культура русской диаспоры: саморефлексия и самоидентификация.** Сборник материалов международного семинара, проходившего в Тарту—Таллинне в сентябре 1996 года. Сборник готовится совместными усилиями кафедр русской литературы Таллиннского педагогического университета и Тартуского университета.

ИМЕЮЩИЕСЯ В ПРОДАЖЕ ИЗДАНИЯ КАФЕДРЫ

1. **Классицизм и модернизм.** Сборник статей. Тарту, 1994. — Сборник, подготовленный совместно кафедрой русской литературы Тартуского университета и Институтом славянских и балтийских языков Стокгольмского университета. Включает статьи Ю. М. Лотмана, М. Гришакковой, Е. Погосян, Л. Киселевой, М. А. Гаспарова, П. Торпыгина, Г. Пономаревой, А. Данилевского, П. А. Енсена, С. Витт, П. А. Бодина, А. Юнгрен, М. Лотмана.

2. **Труды по русской и славянской филологии.** Литературоведение. I (Новая серия). Тарту, 1994. — Том, продолжающий «Труды по русской и славянской филологии» (1958—1990), включает статьи Ю. М. Лотмана, М. Гришакковой, В. Беспрозванного, И. Булкиной,

Л. Вольперт, И. Пильщикова, П. Торопыгина, П. Рейфмана, Л. Пильд, В. Гехтман, Е. Горного, С. Исакова, А. Кретова, а также публикации Л. Киселевой и Р. Лейбова.

3. **Русская филология 6:** Сборник научных работ молодых филологов. Тарту, 1995. — Сборник материалов международной студенческой конференции, проходившей в Тарту в апреле 1994 года с участием молодых филологов из Эстонии, России, Латвии, Финляндии.

4. **Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia IV:** «Свое» и «чужое» в литературе и культуре. Тарту, 1995. — Сборник материалов международного семинара, проходившего в Тарту в июне 1993 года. В семинаре принимали участие ученые Финляндии, Швеции, Дании, Италии, Эстонии и России.

5. **Русская филология 7:** Сборник научных работ молодых филологов. Тарту, 1996. — Материалы студенческой научной конференции, состоявшейся в Тарту в 1995 году. В конференции принимали участие молодые филологи из Эстонии, России, Финляндии, Голландии, Польши.

6. **Блоковский сборник XIII:** «Русская культура XX века: метрополия и диаспора». Тарту, 1996. — Труды международного семинара, состоявшегося в Тарту в октябре 1994 года. В семинаре принимали участие ученые США, Франции, Англии, Италии, Чехии, Финляндии, России, Латвии, Эстонии. Статьи: Л. Иезуитовой, К. Кумпан, Г. Пономаревой, Л. Пильд, И. Белобровцевой, С. Доценко, К. Постоутенко, Т. Гланца, Г. Слобин, Э. Гаретто, А. Кочного, Ю. Абызова, А. Арсеньева, Т. Цивьян, Р. Хьюза, О. Раевской-Хьюз и др.

#### **Информация и заказы:**

Tartu Ülikooli Kirjastus / Tartu University Press,  
Tiigi 78, Tartu, EE-2400, Eesti/Estonia/Estland  
Fax (372-7) 430 061,  
e-mail: tyk@psych.ut.ee



ISSN 1024-3968